Алексей Першин

ЧЕЛОВЕК С КРЕСТОМ

Алексей Першин

ЧЕЛОВЕК С КРЕСТОМ

Роман

ОРЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1962

Алексей Николаевич Першин родился в крестьянской семье в Воронежской области, рано начал трудовую жизнь (пас деревенское стадо, работал кочегаром на железной дороге, чернорабочим в депо). Учился вечерами.

Закончив в 1942 году среднюю школу, А. Н. Першин добровольцем ушел на фронт, был несколько раз ранен.

После демобилизации долго лечился в госпиталях, потом сдал экзамены в вуз и успешно закончил Московский педагогический институт имени В. И. Ленина.

С 1951 года Алексей Першин сотрудничает в центральных органах печати, выступает как очеркист.

Газетная работа, частые поездки по стране дали ему много жизненных впечатлений. Он написал повесть «Побеждает тот, кто прав», которая была издана «Молодой гвардией».

Роман Першина «Человек с крестом» — это книга о человеческой совести, о том, как этой совестью спекулируют церковники, как они продают ее, покупают, калечат.

Автор разоблачает в своей книге коварные происки корыстных деятелей православной церкви, он показывает, как религия губит людей, унижает их человеческое достоинство, калечит морально и физически, а иногда приводит их к гибели.

П Р О Л О Г



«УБИТ ПО ДЬЯВОЛЬСКОМУ НАУЩЕНИЮ...»

Солнце едва лишь выбралось из-за сверкавших позолотой куполов церкви, как над районным центром Петровском поплыл вкрадчивый колокольный звон. Постепенно он становился настойчивым, едким и проникал, кажется, в каждую щель. Он будил, тревожил, взывал...

Никто, однако, не спешил на этот призывный клич. Дремлющее спокойствие прочно держалось в домах с закрытыми ставнями; не нарушалось оно и на пустынных, пыльных улицах.

Но как только солнце стало заметно пригревать, на улице, ведущей к церкви, показался человек. Сначала он шел медленно, потом ускорил шаги и наконец побежал. Он ворвался в церковь, и колокола будто захлебнулись.

Звон прекратился. Не прошло и пяти минут, как тот же человек выскочил обратно. За ним вышла женщина в черном, и они пустились бегом. На перекрестке мужчина остановился, осторожно осмотрелся и скрылся в подъезде дома.

Женщина в черном осталась на улице. Она наклонилась и долго возилась с туфлями, однако все ее внимание было сосредоточено совсем на другом. Она настороженным взглядом окинула пустынную улицу сначала влево от себя, потом тихонько перевела взгляд вправо и заметно успокоилась.

В это же самое время в районной прокуратуре раздался резкий телефонный звонок. Следователь Павел Иванович Лузнин поднял трубку.

— Слушаю!

— Срочно пригласите прокурора, — зарокотало в трубке. Человек часто дышал видно, бежал, как невольно отметил про себя Павел Иванович.

— Я исполняю обязанности прокурора. Моя фамилия Лузнин. Что случилось?

— Полчаса назад убит священник Десятков. Убит злодейски, по дьявольскому наущению...

Убийство! Давно уже Лузнин не слышал этого страшного слова. Года три-четыре не слышал. За хорошую организационную работу, предупреждающую преступность в районе, Павел Иванович получил не одну благодарность в приказе от областного прокурора. И вдруг этот звонок...

— А кто говорит? — спросил Лузнин.

На другом конце провода молчали.

— Вы можете назвать убийцу?

— Убил тот, кто ненавидит церковь и господа бога...

Лузнин поморщился.

Пожалуйста, выражайтесь конкретней. Вы звоните в прокуратуру. Если хотите помочь, назовите — кто убил Десяткова?

Ответа не было. Некоторое время Лузнин держал трубку, выжидая, что последует дальше. Но телефон молчал.

— Странно.

Павел Иванович взглянул на часы. Стрелка показывала ровно семь. Лузнин оказался в прокуратуре случайно. Он только что возвратился из командировки, намеревался хоть немного днем отдохнуть. И вот — отдохнул...

Было ясно — надо немедленно начинать расследова-

ние, притом ему лично, потому что поручить дело некому: в прокуратуре Лузнин остался один, если не считать секретаря и уборщицы.

Убит священник! Убит человек, в глазах верующих почти святой. И убит он теми, «кто ненавидит церковь и господа бога». Звучит как-то подозрительно. Священника церковники могут объявить мучеником, чтобы привлечь на свою сторону сочувствующих из среды колеблющихся.

Лузнин схватился за телефон и попросил старшего лейтенанта милиции Соловейкина выехать на квартиру Десяткова и быстро проверить, что там случилось.

Коротко рассказав о странном телефонном разговоре, Павел Иванович добавил:

— Дело необычное, надо быть настороже.

— Врача нужно, Павел Иванович?

— Пока нет. Вдруг провокация?

Ровно через полчаса раздался телефонный звонок.

— Что так долго? — с заметным раздражением спросил Лузнин. — Что там? Говори скорее.

— Действительно, умер поп. Народу собралось уйма. Судачат, шумят. Говорят, убили.

— Ты как, официально?

— Нет, зачем же! Просто удостоверился в смерти — и к телефону.

— Хорошо, Виктор Яковлевич. Бери врача. Нужна срочная экспертиза. Дело придется вести вдвоем. Я отправлюсь в церковь, а ты — к Десятковым.

Он одернул пиджак, пригладил волосы и надел фуражку. Надел и задумался:

«Нет, не годится»,— и положил фуражку на стол.

В церкви он бывал еще в детстве, с бабушкой, и даже представить не мог, каков сейчас «храм божий». Чувствовал он себя весьма неловко. Визит к настоятелю был ему неприятен.

Можно бы, конечно, вызвать священника в прокуратуру официально, но этот вызов сорвал бы церковную службу.

Представив себе нарекания и недовольство верующих, Лузнин отказался от этого намерения.

Был и другой выход: отложить разговор на вторую половину дня, когда священник свободен. Однако задерживать расследование было нельзя.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ

Лузнин шагал по улице неторопливой походкой, ничем внешне не выдавая своей обеспокоенности. Сказывался профессиональный навык — следователем Павел Иванович работал десять лет. Предстоящий разговор со священником очень волновал его. Ему еще ни разу не приходилось сталкиваться с подобным делом. Церковники в его глазах принадлежали к какому-то иному миру, миру, давно забытому. Во всяком случае таково было ощущение. Человек, захвативший старое время, когда священник в обществе был чем-то незыблемым, обязательным, может быть, и удивится подобным ощущениям, но ведь Лузнин родился и вырос при Советской власти. Ему от роду не было и сорока лет.

...Служба еще не началась, когда Лузнин вошел в церковный двор, огороженный массивной чугунной оградой на каменном фундаменте. Было такое чувство, что он попал к рачительному хозяину. Сама церковь блистала новизною и свежестью красок. Двор был устлан битым камнем, подметен—ни соринки, словно его вылизали. Яркая зелень на фоне серовато-желтого камня еще больше подчеркивала чистоту.

По слухам, распространившимся в городе, на ремонт и отделку церкви епархия выделила несколько миллионов рублей.

Церковь в сущности не отремонтировали, а почти выстроили заново.

Это богатство поразило Лузнина. Откуда столько средств? Одна ограда чего стоила!

Такая еще нужда в жилье, а тут миллионы уходят. И на что!

Лузнин издали заметил настоятеля церкви Проханова. Он стоял в окружении старушек, одетых в черное. Настоятеля Лузнин видел второй раз и второй раз не мог определить его возраста. Крепок был на вид священник и силой, видимо, обладал недюжинной, судя по его широким плечам, чуть сутуловатой спине и могучей короткой шее.

Проханов не стоял на месте. Задержавшись на минуту около одной группы женщин, он переходил к другой, ловко лавируя между ними. Походка у него была уверенная, твердая и далеко не старческая. Священник обла-

дал подвижностью мужчины, который находится в расцвете сил.

Лузнин подошел к нему сзади и, чуть прикоснувшись к его плечу рукой, вполголоса произнес:

— Можно вас на одну минуту?

Проханов медленно обернулся.

— Чем могу служить, сын мой?

Мягкий, отшлифованный баритон звучал ласково, а прищуренные глаза, улыбавшиеся мягкой, поощрительной улыбкой, располагали к разговору, который мог стать сердечным. Все это еще больше углубило неловкое состояние Лузнина. Стараясь поскорее покончить с этим неприятным визитом, Павел Иванович еще тише представился:

— Я исполняю обязанности районного прокурора...

Он не договорил, заметив, как отшатнулся Проханов. Отшатнулся так, будто его ударили. Проханов бросил косой быстрый взгляд на старушек, которые навострили уши, стараясь уловить, о чем говорит батюшка, и, шагнув в сторону, сухо спросил:

— Чем могу служить?

— Извините, что беспокою вас в такой ранний час и здесь, но, к сожалению, у меня нет другого выхода. Могу я задать вам два-три вопроса?

— Я слушаю, слушаю!— с нетерпением ответил Проханов, плохо скрывая досаду.

— Где находится второй священник?

— Не могу сказать точно. Дома, вероятно. Больше находиться ему негде.

— Вы когда его видели в последний раз?

— В последний раз? — удивился Проханов и с недоумением взглянул на Лузнина.— Вчера видел, в полдень. А в чем дело?

— Только что позвонили в прокуратуру и сообщили: священник Десятков сегодня утром убит.

— Убит! Господи, спаси мя и помилуй!— воскликнул Проханов и стал мелко-мелко креститься. — Прими, господи...

— Вам что-нибудь об этом известно?— перебил его Лузнин, не спуская глаз со священника.

Проханов бросил на Лузнина взгляд исподлобья и словно опалил им. Павел Иванович только теперь рассмотрел глаза отца Василия. Они глубоко ушли под

брови и мерцали каким-то фосфорическим блеском, очень черные, влажные, странно подвижные. В них была и властность, и фанатическая жесткость; они могли вызвать трепет и подчинить себе.

Брови Проханова сошлись на переносице, и он с едва сдерживаемым гневом сказал:

— Гражданин прокурор! Я совсем не обязан следить за Десятковым. Я знать ничего не знаю и знать не желаю. Во имя отца и сына и святого духа я служу богу и в мирские дела не вмешиваюсь.

Это был выпад. Ответ последовал немедленно.

— Извините, это совсем не мирские дела. Вы — настоятель церкви и, полагаю, обязаны знать о людях, вам подчиненных. Меня привело к вам не праздное любопытство. Речь идет о жизни человека, о преступлении. В данном случае оба мы должны быть заинтересованы в его быстрейшем расследовании. На этом основании я и задаю вам вопросы.

Священник как-то очень заметно одернул себя. Он шикнул на какую-то старушку, пытавшуюся поцеловать ему руку, истово перекрестился, обернувшись к алтарю, и глухим, чуть вздрагивающим голосом произнес:

— Вы должны понять меня, уважаемый. Мне показалось, что вы обвиняете меня в какой-то непредусмотрительности. Это мне, старику, обидно слышать. И потом,— священник развел руками, — прокуроры не часто посещают храм божий. Это вы знаете, наверное, лучше меня.

Проханов потер лоб, будто собираясь с мыслями. Павел Иванович видел, как на этом высоком лбу выступают крупные капли пота. Священник волновался.

— Поймите и другое, сын мой... Простите, что так называю вас. Я как-то не могу даже поверить. На самом ли деле преставился отец Иосиф? Вчера он был в добром здравии. И такой веселый, бодрый. Может быть, тут ошибка?

— Нет, ошибка исключена. В доме священника по моему заданию побывал старший лейтенант милиции Соловейкин. Он официально доложил о смерти Десяткова. Около дома народ собрался. Верующие, надо полагать...

— Почему же только верующие?— мягко возразил Проханов. — Если действительно отец Иосиф умер

не своей смертью, — по моему разумению, это чрезвычайное происшествие...

Лузнин понял, что допустил ошибку, но не сразу сообразил, как ее исправить. Он видел, в каком напряжении находится священник и с каким трудом дается ему этот ровный тон.

— Вы совершенно правы. Простите, не знаю, как ваше имя, отчество.

— Василий Григорьевич...

— Вы совершенно правы, Василий Григорьевич. Видимо, около дома не только верующие. Меня все-таки удивляет: как могло случиться, что о смерти священника настоятель церкви узнает последним? Тем более, у вас столько помощников, — он обвел глазами старушек. — И потом, если я не ошибаюсь, два или полтора часа тому назад я слышал какой-то тревожный колокольный звон. И он так внезапно оборвался. Всегда он продолжается по крайней мере с полчаса, если не больше. А сегодня — минут десять...

Павел Иванович умолк, заметив смущение Проханова. Священник сделал непроизвольное движение рукой, будто от кого-то защищаясь.

Но Проханов отогнал поднятой рукой большую муху и заговорил спокойным голосом.

— Это вы правильно изволили заметить, гражданин прокурор. Наш звонарь последнее время просто безобразничает. Вчера до такой степени напился, охальник, что и поныне пьян. Что ты возьмешь с него, нехристя. — Проханов снова развел руками. — Он сегодня мне службу чуть не сорвал. Придется рассчитать его.

— Василий Григорьевич, а нельзя ли повидать вашего звонаря?

— Сделайте одолжение, гражданин прокурор. Только он спит. Я его прогнал. Пьяный, на ногах не держался. Могу, если прикажете, послать за ним кого-нибудь из певчих.

— Так он же идти не может?

— Если нужно, волоком доставим!— с преданной готовностью ответил священник.

— Нет уж, волоком не следует. Пусть отдыхает. Поговорить с ним, если понадобится, и позже успеем.

— Совершенно с вами согласен. Можно и позже. Если хотите, я пришлю его, когда образумится.

— Нет, нет, зачем же. Присылать не следует. Я совсем не намерен включать звонаря в свидетели. Просто к слову пришлось. Да и дела еще нет никакого.

— Что ж, воля ваша. И прошу поверить мне. Я очень удручен. Скорблю об усопшем. Печальную весть вы принесли мне. Даже не знаю, как так могло случиться. Батюшка умер, а я, старый пень и слуга господень, стою здесь и разглагольствую. Грех это. Не по-божески, не по-людски, уж вы меня простите, старика. Придется службу отменить, если такое несчастье постигло приход наш. Отец Иосиф был преданным человеком святой церкви, и мы должны отдать ему все почести. — Священник с достоинством поклонился. — Я должен покинуть вас.

— Да-да, я понимаю вас, — деликатно ответил Лузнин.

Настоятель медленно повернулся и зашагал к амвону плавной, величавой походкой.

Лузнин поспешил в прокуратуру.

ТЕТЯ ПАША ПОДОЗРЕВАЕТ...

— Павел Иваныч!— поднялся навстречу Лузнину Соловейкин. — Разрешите доложить. Вместе с врачом мы установили: никто Десяткова не убивал.

— Как? — удивился Лузнин. — Ты же сам утверждал...

— Ничего особого я не утверждал. Передал, что слышал, и удостоверил, что Десятков на тот свет определился.

Павел Иванович поморщился.

— Что за тон? Давай по существу.

— Так я ж и говорю по существу, Павел Иваныч. Умер Десятков. Сердечник он. Его удар хватил.

— С кем говорил об этом?

— С соседкой. Гунцева ее фамилия. Так она со всей определенностью утверждает: сердечник, мол, от разрыва сердца умер.

— А что врач говорит?

— И он того же мнения держится. При первом осмотре никаких телесных повреждений не обнаружено. Поглядим, говорит, что покажет экспертиза, но пока он не видит ничего подозрительного, что бы говорило о насилии... — Соловейкин облегченно вздохнул.

— Да-а... История...

Лузнин потер широкой ладонью крутой подбородок и в глубоком раздумьи зашагал по кабинету.

А Соловейкин уселся за прокурорский стол и, положив ногу на ногу, следил за Лузниным улыбающимися глазами. Коренастый, плотный, лысоватый. Внешность, как говорится, без особых примет, если б не лицо. Работникам его профессии как-то уж «по штату» положена некоторая резкость и жесткость во всем облике, а у Лузнина и намека на это не было. Глаза добродушные и к тому же мягкая округлость лица, ямочки на щеках и подбородке...

Ходьба в раздумьи продолжалась довольно долго. Наконец Соловейкин не выдержал:

— Я, Павел Иваныч, определенным образом не пойму тебя. Такая гора с плеч, а ты опять что-то затеваешь.

Соловейкин хорошо знал Лузнина. Все, кажется, просто, ясно, а он перевернет все шиворот-навыворот и копается потом, ищет.

— Говоришь, умер своей смертью? — спросил Лузнин.

— Не я говорю. Врач так предполагает.

— А ты знаешь эту женщину, которая утверждает, что Десятков умер от разрыва сердца? Она что — тоже врач?

Соловейкин вспыхнул: ему даже в голову не пришло узнать подробности об этой Гунцевой.

— Нет, не врач. И, кажется, нигде не работает.

Павел Иванович с удивлением взглянул на Соловейкина. Мальчишка он, что ли? Ведь уже не одно преступление было раскрыто вместе с Соловейкиным, но старшего лейтенанта слишком часто приходилось то подстегивать, то сдерживать, а еще чаще поправлять, хотя разницы в годах у них почти не было.

— Ты, Виктор, кажется, упрощаешь дело. Вдумайся в факты. Кто звонил в прокуратуру и, главное, зачем? Это первое, что меня смущает. И второе. Экспертизы пока нет. Утверждать что-то категорическое у нас нет оснований. Мы можем лишь предполагать. Есть и третий довод, не очень, правда, существенный, но, однако, его нельзя оставлять без внимания. Я хоть и ругал себя, что пошел сам в церковь, но кое-что все-таки получил от встречи с настоятелем.

Соловейкин, с интересом слушавший Лузнина, подался вперед.

— А что... Что выяснил?

Однако ответить Павел Иванович не успел: в кабинет без стука вошла маленькая, сухонькая женщина лет пятидесяти. То была уборщица Павлина Афанасьевна, или тетя Паша, как ее все звали в прокуратуре. Была она быстрая в движениях, имела характер решительный, независимый, прокурора Афимова звала запросто «сынок», хотя по возрасту была всего на два года его старше. Все другие также ходили у нее в рангах «сынков» и «дочек», кто бы ни пришел и ни приехал в прокуратуру.

Павлина Афанасьевна приостановилась у порога, по очереди оглядела обоих живыми, не утерявшими блеска карими глазами (когда-то она слыла красавицей) и небрежно поздоровалась, будто сердилась на них:

— Здрасте вам!

Она строго взглянула на Соловейкина, пытавшегося что-то сказать Павлу Ивановичу, досадливо махнула на него рукой, словно это был не старший лейтенант милиции, а так просто, мальчишка школьного возраста. Тетя Паша давно уже недружна была с Соловейкиным, да и тот ее не жаловал, хотя связываться с уборщицей побаивался.

— Дело у меня, сынок, — глухо сказала тетя Паша, обращаясь к Лузнину. — Может, оно и враки, кто его разберет. Рассуди-ка сам, на то и есть прокурор. У нас, у верующих, несчастье. Отец Иосиф помер...

Лузнин насторожился, но не подал виду, что заинтересован в разговоре.

— А какое это имеет отношение ко мне? Ведь смерть — не преступление.

Павел Иванович всем корпусом повернулся к Павлине Афанасьевне и встал перед ней в нетерпеливой, выжидательной позе.

— Не спеши, не спеши, сынок. Ты сядь и меня усади рядком. Вот так. А теперь о деле. Как услышала о несчастье-то — я к матушке. Убивается горемычная, горюет. Нас у матушки много собралось. Поплакали мы вместе с ней, погоревали, а потом, слово за слово, разговорились: отчего да почему помер отец Иосиф? Ну, вот я и... Словом, за что купила, за то продаю. Будто бы дело-то нечистое.

Павел Иванович слегка развел руками.

— Тетя Паша, не понимаю. Виктор Яковлевич, может, вы уразумели?

Соловейкин лишь досадливо поморщился.

— Батюшка-то не своей смертью на тот свет преставился. Будто убили его.

— Та-ак, — произнес Лузнин. — А еще что говорят?

— Разное говорят, — неохотно ответила женщина.— Все разве упомнишь.

Лузнин мягко коснулся руки Павлины Афанасьевны.

— Тетя Паша, новость для нас вы сообщили очень важную. Уж вы, пожалуйста, ничего не скрывайте. Кого подозревают, не слышали? Поймите, это очень серьезно.

— Нехристи убили, вот кто! Больше ничего не знаю. С матушкой потолкуйте, скажет, ежели захочет.

И уборщица двинулась к выходу. У самой двери она остановилась.

— Да, чуть не забыла. Тебя тут спрашивали, — сказала она, обращаясь к Павлу Ивановичу. — Соседская девчонка играла у нас во дворе. Какой-то человек попросил ее постучать и спросить, в своем ли кабинете прокурор.

Лузнин пожал плечами.

— А какой он из себя? Девочка не рассказывала?

— Вот уж чего не ведаю, того не ведаю. Сама бы я, конечно, разглядела. А то девчонка... Что с нее возьмешь?

Лузнин улыбнулся.

— Спасибо, тетя Паша. Уж извините, но мне сдается, что-то вы от нас скрываете.

Женщина ничего не ответила, пожала плечами и вышла.

— Немедленно экспертизу, Виктор Яковлевич, поторопись, — сказал Лузнин.

Соловейкин одернул темно-синюю гимнастерку и направился к двери.

ГОРЕ ИЛИ ЦЕРЕМОНИЯ?

Было около двенадцати дня, когда Лузнин вышел из прокуратуры. Солнце палило нещадно.

На улицах городка стояла тишина. Был обычный рабочий день недели. Люди трудились. Прохожих совсем

почти не было. Не увидел Павел Иванович и детей. Зной загнал всех в дома, в тень.

По улицам бродили только собаки. Одни, высунув длинные, влажные языки, дрожавшие от частого, прерывистого дыхания, тихо трусили по дороге, другие лениво выглядывали из-под ворот и лишь по привычке тявкали вслед редким прохожим.

Павел Иванович чувствовал себя очень уставшим. Давала себя знать бессонная ночь. Хотелось спать, но спать было нельзя. Дело усложнялось.

Когда Лузнин вошел во двор Десятковых, он заметил Соловейкина, который что-то рассказывал Белякову, старшему лейтенанту уголовного розыска.

Павел Иванович торопливо поздоровался с Беляковым и с недоумением спросил Соловейкина:

— В чем дело? Десятков разве не отправлен на экспертизу?

Соловейкин и Беляков молчали, будто и не слышали вопроса. Во дворе скопилось много женщин в черной одежде. Они заглядывали в отворенную дверь дома, откуда доносилась заунывная мелодия, и настороженно переговаривались. Вдруг толпа женщин зашевелилась.

Павел Иванович заметил двух монахинь, властно раздвигающих толпу пренебрежительным движением рук. Эти белые руки будто покрикивали властно: «Эй! Сторонись!» Лица обеих монахинь поражали своей исступленностью и полным пренебрежением к тому, что делалось вокруг.

Монахини остановились, о чем-то пошептались между собой и, медленно обернувшись, с тем же величавым неприятием окружающего удалились в глубь комнаты.

— Видали! — воскликнул Соловейкин. — Явление Христа народу...

— Тс-с... — Беляков приложил палец к губам. Обернувшись к Лузнину, он пояснил:— Невозможно подступиться. Обряд начался. Хотели очистить двор, только разве можно сейчас? Шуму потом не оберешься. Ждем вот.

Павел Иванович кивнул головой в знак согласия, вошел в тень ветлы и стал рассматривать людей, собравшихся во дворе Десяткова.

Лузнин не заметил ни одного молодого лица.

Это открытие обрадовало Лузнина: может быть, среди молодежи не так уж много верующих и не стоит преувеличивать влияние религии на людей? В самом деле, проводить в последний путь священника пришли в основном только пожилые женщины. Ну и пусть их. К церкви их приучили с детства, их религиозность стала привычкой.

Но тут же в памяти возникла другая картина. Утром в церкви он видел не только старух, но и женщин с детьми, с подростками. Вспомнились растерянные, испуганные лица ребят, жавшихся к матерям. И уж, конечно, дети были в «храме божьем» совсем не по доброй воле. Их привели силой. А если так повторится раз, другой, третий? Если из дней сложатся недели, месяцы, годы? За это время вполне можно искалечить детскую душу.

Припомнилось еще одно немаловажное обстоятельство. Если действительно храм посещает не так уж много богомольцев, откуда же берутся в церковной кассе миллионы? Ведь это же народные средства, заработанные горбом и потом.

Вдруг в толпе кто-то резко вскрикнул.

— Ох, ох, ох! — стонала женщина, а потом дико, с надрывом завыла.

Слушать этот вой было жутко.

— Кто это?— удивился Соловейкин.— Родственница, что ли?

— Крикуха, — ответил Беляков. — Есть такой сорт нервных особ. Истерички. Больше притворства, чем болезни.

Как раз в эту минуту во дворе снова появились монахини. Они строго и даже требовательно оглядели толпу и все с тем же исступленным видом стали прочесывать ее каждая в отдельности. Святые девы шевелили губами, но слов не было слышно.

Первую крикуху поддержала одна из старушек С другого конца запричитала еще одна. Было видно, как старушка стала рвать на себе седые волосы. Но даже отсюда, на расстоянии, все трое заметили, что глаза ее совершенно сухи, а на лице застыла маска плаксивости.

Вопли крикух заставили дрогнуть остальных. Стенания постепенно усиливались. И вдруг плотину сдержанности прорвало. Столпившиеся у двери старушки

сначала тихо застонали, потом плач усилился и наконец перерос в сплошной вой.

У Лузнина поползли мурашки по спине. То, что он видел и слышал, было отвратительно. Никто в сущности не горевал, не чувствовалось и простой человеческой печали. Женщины плакали не от жалости к умершему человеку, а, скорее, чтоб не отстать от других.

— Что будем делать? — вполголоса спросил Лузнин. — Наблюдателями быть не очень приятно.

— Н-да, — неопределенно буркнул Беляков, и вдруг лицо его оживилось. — Смотрите! Тетя Паша!

Беляков обернулся, заговорщицки подмигнул товарищам и тут же извлек из толпы Павлину Афанасьевну.

— Тетя Паша! Христом-богом просим вызвать к нам жену Десяткова, — заговорил Беляков.

— Замолкни, нехристь, — сурово оборвала его маленькая женщина. — Не произноси имени богова.

— Хорошо, хорошо, тетя Паша. Все выполним. Только уж, пожалуйста, позовите.

Уборщица перевела вопрошающий взгляд на Лузнина, которого она уважала и с чьим мнением считалась. Тот согласно кивнул головой.

Павлина Афанасьевна замешалась в толпе.

...Минут через пять все трое беседовали с полной, рыхлой женщиной лет шестидесяти. У нее было дряблое белое лицо, суровые складки около губ, на лбу и суровые глаза.

Потерять мужа — огромное горе, но как раз этого горя и не было заметно.

Только позже Павел Иванович понял, насколько ошибочно бывает первое впечатление. Марфа Петровна оказалась куда сложнее, глубже, чем показалась на первый взгляд. Неутешное горе этой женщины не могли выразить ни слезы, ни причитания, ни душераздирающие стоны, которые были бы так естественны в ее положении. Горе ее ушло вглубь, натянуло до предела ее нервы, натянуло, как стальные струны, которые могли вот-вот лопнуть.

Жена священника держалась на редкость мужественно. Лузнин заметил, как с досадой морщилась она от истерического бабьего воя.

Марфа Петровна сразу догадалась, чего хотят от нее эти незнакомые люди, и кивнула головой в сторону огра́ды.

Все трое последовали за вдовой и оказались в небольшом садике. Лузнин объяснил, кто они такие и зачем пришли.

Марфа Петровна усадила их за столик, вкопанный в землю, на такие же, вкопанные в землю, скамейки и, сурово оглядев каждого из посетителей, глухим голосом сказала:

— Ну, что ж... спрашивайте.

И она рассказала довольно странную историю, в правдивости которой, однако, никто из них не усомнился.

...Отец Иосиф привык вставать рано. Чуть свет поднялся он и в это утро, когда солнце только-только взошло. Он пошел в огород, принес овощей к столу — батюшка любил сам приносить овощи с огорода — и собрался почитать в ожидании завтрака.

Потом они позавтракали. Отец Иосиф прилег отдохнуть после еды. Марфа Петровна вышла подышать воздухом. Утро выдалось на редкость благодатное. Она с детства очень любила утро, когда роса еще не сойдет с травы. До шестидесяти лет дожила, а пройтись по росе босыми ногами для нее истинное наслаждение.

Так поступила Марфа Петровна и на этот раз. И вдруг сзади ее кто-то ударил камнем по голове.

Когда она падала, мельком заметила соседского мальчонку, сына Делигова: мальчишка был очень доволен, что с одного броска угодил ей в голову. Он смеялся...

На какое-то время она потеряла сознание.

Очнувшись, Марфа Петровна увидела склонившегося над ней отца Иосифа. Это он привел ее в чувство. Муж спросил, кто ее ударил. Марфа Петровна ответила, что соседский мальчишка и, наверное, пробил ей голову.

...Марфа Петровна осторожно раскрыла голову, покрытую черным платком, и, наклонившись, показала рану, залепленную пластырем. Волосы вокруг раны были выстрижены.

— Кто вас осматривал? — спросил Павел Иванович.

— Фельдшерица приходила из больницы. Она уколы делала мужу. Прибаливал отец Иосиф последнее время. Утром фельдшерица зашла со своей дочкой Светланой и перевязала меня...

— А что было дальше?

...А дальше события развертывались так.

Отец Иосиф помог жене встать, усадил ее на стул и бросился к мальчишке. Тот сидел на заборе и скалил зубы. Десятков стащил его оттуда, но мальчишка, не ожидавший неожиданного на себя нападения, слегка оцарапал себе руку, когда отбивался от мужа, — она видела это своими глазами.

Отец Иосиф повел мальчишку к соседу Делигову.

Марфа Петровна не знает, что случилось у Делиговых, только минут через десять отец Иосиф вернулся оттуда бледнее полотна. Он едва волочил ноги.

На лбу у него были крупные капли пота.

В то время, когда отец Иосиф ходил к соседу, пришла фельдшерица с дочерью, откуда-то узнавшая о ее ранении.

Когда эти женщины собирались уходить, вошел муж. Он по очереди обвел их мутным взглядом и сказал одну лишь фразу:

— Вы тут сидите, а меня чуть не убили, — и схватился за сердце.

Сердце у него и раньше пошаливало, поэтому отец Иосиф всегда наготове держал валидол. И на этот раз он успел принять лекарство, но как ни спешил, помочь себе был уже не в силах. Он вдруг как подкошенный упал в кресло. Фельдшерица с дочерью захлопотали, засуетились вокруг него, но все было напрасно. Пока Светлана бегала за скорой помощью, отца Иосифа не стало.

Марфа Петровна умолкла. Некоторое время она сидела в недвижимой позе, уставившись в одну точку бессмысленным взглядом. Молчали и трое ее слушателей.

Рассказ Марфы Петровны произвел на них сильное впечатление. На первый взгляд — случай самый обычный. Внешне все просто. Но Павла Ивановича все-таки не покидало тревожное чувство неудовлетворенности; даже не сразу и определишь, откуда это чувство.

Вывел Лузнина из задумчивости довольно сильный толчок в бок. Он с удивлением оглянулся. Соловейкин показал глазами на калитку. Около нее, наверное давно уже, стояла Павлина Афанасьевна. Ей, видимо, хотелось подойти к говорившим, но она не решалась. И только увидев, что ее заметили, она направилась к ним. Не обра-

щая на троих мужчин внимания, маленькая женщина тронула Марфу Петровну за плечо.

— Хватит, хватит убиваться-то. Уж лучше поплачь, слезы-то омоют горе. Слышь, что говорю, матушка?

Марфа Петровна очнулась, с недоумением взглянула на Павлину Афанасьевну и спросила:

— Ты что-то сказала?

— Каменная ты, что ли? Поплачь, говорю, легче станет.

Марфа Петровна вздохнула, но не ответила.

Павел Иванович, с удивлением наблюдавший за этой сценой, вдруг спросил:

— Не знаете ли, Марфа Петровна, кто такая Гунцева?

Вдова неохотно ответила:

— Есть тут одна церковная приживалка...— и запнулась. — При церкви она...

Руки у Марфы Петровны задрожали; дрогнули и плечи ее. Павлина Афанасьевна бросила на Лузнина осуждающий взгляд и сделала знак глазами:

«Хватит».

Павел Иванович покорился.

— Спасибо, Марфа Петровна. Извините нас. Вопросов у нас хоть и много, но разговор, пожалуй, отложим.

Марфа Петровна тяжело поднялась и, опираясь на плечо Павлины Афанасьевны, ушла в дом.

— Останьтесь оба здесь,— сказал Лузнин, обращаясь к Соловейкину и Белякову. — Я пойду к Делигову. Когда будет удобно, вызовите скорую помощь и доставьте Десяткова на экспертизу.

— Не дадут, Павел Иванович, — с сомнением отозвался Соловейкин.

— Придется убедить. Жена священника, по-моему, разумная женщина. Это в ее же интересах.

Я — ДЕЛИГОВ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дом Делигова стоял почти вплотную к забору Десятковых. Этот забор был высок со стороны Десятковых, хотя стоял ниже соседского дома.

Особенность здешних поселений заключалась в том, что они, как правило, размещались вокруг оврагов или в них самих, а также в лощинах и низинах, где было

невозможно пахать и сеять. Пожилые люди рассказывали, что помещики не разрешали крестьянам селиться на удобных равнинных местах.

Так было и в Петровском. Улицы его, особенно окраины, где жили Делиговы и Десятковы, тянулись вдоль оврагов.

Дом Делиговых стоял на возвышении. Со двора было хорошо видно, что делалось у Десятковых. Забор со стороны Делиговых был довольно низок, и не удивительно, что мальчишка мог легко забраться на него и упражняться в метании камней.

Все это невольно отметил про себя Лузнин, когда вошел в делиговский двор. Был он широк и просторен и наводил на мысль, что здесь живут довольно состоятельные люди. Дом был недавно срублен из крупных круглых бревен. На высокое крыльцо вела широкая лестница.

Павел Иванович хотел подняться на нее, но не успел. Из дома вышел человек с непокрытой головой, с потными, прилипшими ко лбу негустыми волосами. У него было длинное и жесткое лицо с хмурым, пристальным взглядом.

— Кого надо? — отрывисто спросил он.

— Делигова. Якова Андреича, — ответил Павел Иванович, с любопытством рассматривая не очень-то гостеприимного человека. Сам не зная зачем, Павел Иванович взглянул на толстые подошвы тяжелых ботинок хозяина. Почему-то пришла мысль: задумай Делигов ударить его ногой по голове, отстраниться, пожалуй, и не успеешь. Павел Иванович непроизвольно отошел на шаг от крыльца.

Это движение не укрылось от хозяина дома. Губы его дернулись в усмешке.

— Я — Делигов. Что дальше?

— Хочу с вами поговорить.

— А я не очень. Некогда мне.

— Нет уж, уважаемый Яков Андреич, поговорить нам все-таки необходимо. Я следователь, исполняющий обязанности прокурора.

— Ах, вот в чем дело! — нисколько не смутился хозяин дома. Он спокойно сошел вниз по лестнице, направился к деревянной скамейке, вкопанной, как и у Десятковых, в землю, уселся сам и пригласил Лузнина. — Документы проверять не стану. Верю на слово.

— Нет, зачем же. Прошу проверить.

Павел Иванович достал удостоверение и предъявил его Делигову. Тот взял документ, долго разглядывал его, потом возвратил Лузнину.

— Ну, что ж, давайте разговаривать. — Делигов вздохнул. — Чем скорей, тем лучше. Знаю, с чем пришли. Задавайте вопросы.

Самообладание у этого человека было завидным. А может, ему и волноваться-то было не из-за чего? Во всяком случае, первое впечатление Делигов произвел вполне благоприятное.

— Это, пожалуй, лучше, если знаете, о чем разговор. Прошу вас, Яков Андреич, рассказать, как было дело с Десятковым?

— Дело? — удивленно переспросил Делигов. — Я никаких особых дел с попом не имел.

— Никаких особых, говорите? А меня, собственно, и особые и не особые интересуют. Если уж вы хотите, чтоб я сформулировал вопрос точнее, — прошу вас рассказать подробно, что у вас сегодня утром произошло с Десятковым?

Делигов удовлетворенно кивнул головой.

— Вот это другой разговор. А то я знаю вашего брата, следователя. Мелочи не заметишь, а вы уж для себя картину рисуете...

— Откуда у вас такой опыт, Яков Андреич?

— Да ведь прожил-то я уже пять десятков лет. А чего за эти годы не насмотришься, кого не повидаешь?

— Это резонно. — Лузнин улыбнулся. — Ну, что ж, давайте ближе к делу.

— Будете записывать?

— Зачем? Просто выслушаю. Не в записи дело. Правду узнать можно и ничего не записывая, а для меня главное — установить истинную картину происшествия.

— Ладно. Это ваше дело. С соседом, надо прямо вам сказать, мы жили неважно...

Павел Иванович поднял глаза и с удивлением взглянул на собеседника: он почему-то не ждал, что Делигов с первых слов сделает такое признание. Однако Делигов не обратил внимания на этот взгляд.

— Почему неважно — это уж статья особая, она для вас не очень интересная.

— Почему же не интересная? Говорите, я слушаю.

— С мелочей началось. Сначала жены повздорили, потом мы ругнулись.

— Из-за чего?

— Из-за божественных людей. Ходили тут к нему всякие, песни пели. Я и сказал, чтоб они службу в церкви справляли, а не дома. А попу слова мои пришлись не по вкусу. С этого и началось.

— И давно началось?

— С год примерно. Да-а, не меньше года цапаемся. А вообще-то я точный счет не вел. Сами понимаете: когда что-то начнешь, не думаешь, чем это кончится. И не считаешь дни. Катятся и катятся...

— Хорошо, Яков Андреич. Я понял. Что же утром-то случилось?

— Подождите, я сам подойду к этому утру. Так вот, не ладили мы с Десятковыми. А сорванец мой знал об этом. От них ведь ничего не скроешь. То жена крепкое слово скажет, то я ругнусь, а он ведь слышит. Мальчишка взял нашу сторону и сегодня, как вы наверняка знаете, взял да и запустил камнем в матушку.

— Вы имеете в виду жену священника Марфу Петровну Десяткову?

— Конечно, в Десяткову. В кого ж еще? — удивился Делигов.—Так вот. Запустил в нее камнем и попал в голову. Я сам-то не проверял, мне Десятков говорил, а я поверил: чего ему врать-то?

— Согласен. Врать ему не пристало.

— Поймал он сорванца моего за руку — и ко мне. Мне, правда, вначале не очень понравилось, что он сынишке руку раскровянил. Я маленько вспылил, а когда узнал, в чем дело, тут же всыпал мальчонке перцу, чтоб другой раз сволочуге неповадно было камнями бросаться.

— Вы что же, побили сына?

— А что, я богу молиться на него должен? Ремнем на этой самой скамейке дал ему жару в то самое место, откуда ноги растут. Другой раз побоится камень в руки взять.

— А что же Десятков?

— А что ему оставалось делать? Посмотрел, посмотрел, да и ушел.

— И слова не сказал?

Недоверчивый тон Лузнина насторожил Делигова.

— Вот уж чего не помню, того не помню.

— Позвольте, Яков Андреич. Вы упомянули, что вам не понравилось, что Десятков, как вы выражаетесь, «руку раскровянил» вашему сыну.

— А кому понравится?

— Я не об этом. Вы, надо думать, сказали что-нибудь резкое Десяткову?

— Ну да. По матушке пустил его. Рука-то у сынишки вся в крови была.

— А Десятков на это что?

— Говорит, не он виноват. Мальчонка будто бы сам, когда на заборе сидел, руку-то оцарапал.

— Вы ему поверили, Десяткову?

— Ну... это я не помню. И не в том дело. Не пристало мне защищать сорванца, когда он кругом виноват!

— Так. А Десятков? Он что же, ушел, когда вы кончили наказывать сына, или не заметили, когда удалился?

— Опять не помню. Хотя нет. Мальчонка вырвался из рук и удрал. А я еще и скажи попу: этот пострел получит у меня на орехи.

— И вообще-то основательно всыпали сыну?

— Рубцы с недельку поболят, да еще добавлю. Я, товарищ прокурор, институтов педагогики не кончал, у меня на этот счет своя линия. Напроказил — получай по заслугам. Так меня уму-разуму родители учили, так и я учу своих детей. И тут я царь, бог и воинский начальник. Даже прокуратура мне не указ.

Лузнин пожал плечами.

— Я, правда, не сторонник воспитания с помощью кнута, но указывать и учить вас, как воспитывать детей, не намерен. Вам жить, вам же и отвечать за сына, если он что натворит. Это дело вашей совести.

Павел Иванович снова взглянул на Делигова и первый раз поймал настороженный взгляд его зеленых глаз. Этот взгляд как-то не вязался с рассказом и с суровым, простодушным тоном рассказчика, но спрашивать было уже нечего.

Лузнин поднялся.

— Ну, вот, пожалуй, все. — Но тут же Павел Иванович поправился: — Пока все.

— Это почему «пока»? — не понравилась последняя фраза Делигову.

— Причина смерти Десяткова полностью не выяснена, поэтому и говорю «пока». Впрочем, вам-то что беспокоиться, если вы ни в чем не повинны. До свидания, Яков Андреич.

— Прощайте.

«ДЯДЬКА С ИГОЛКАМИ»

Когда Лузнин вышел за ворота, он сразу же заметил Павлину Афанасьевну. Она стояла на улице, беспокойно озираясь.

— Тетя Паша! — окликнул Павел Иванович свою сотрудницу. — Вы кого ждете?

— Вот тебе и фрукт! — резко отозвалась Павлина Афанасьевна. — Или память у тебя дырявая, или смеешься надо мной, старой?

Павел Иванович всегда удивлялся этой маленькой женщине. Отчитает, и не поймешь за что. Он порой откровенно робел перед ней, опасаясь ее острого языка, и старался разговаривать как можно мягче. Наверное, поэтому своевольная женщина и благоволила к нему.

Прокурор Афинов однажды пытался уволить уборщицу за резкость и попрание всех и всяких авторитетов, но Павлина Афанасьевна рассмеялась ему в лицо:

— Меня, милый мой, нельзя уволить, — с достоинством сказала она. — Нельзя, понимаешь? Так же нельзя, как Левушку Толстого от церкви отлучить. Меня от прокуратуры даже отодрать невозможно. Попробуй, если хочешь. Я тут мыкаюсь с первого дня Советской власти. Таких, как ты, пережила не меньше сотни... За меня, милок, вся Советская власть встанет. Во как оно получается. Все законы наперечет знаю. Так что не ерепенься попусту, потому что я крепко стою на земле.

«Попробовать» Афинов действительно не решился, а потом даже отругал себя: тоже нашел на ком силу показывать!..

— Так в чем, собственно, дело? Что вас так взволновало? — спросил Лузнин.

— А ты, Паша, погляди во двор батюшкин. Погляди, погляди, зенки не вылезут.

Лузнин, поднявшись на носки, заглянул во двор Десятковых. Он был пуст.

— Что случилось?

— А ничего не случилось. Сам же отдал приказ и туда же, удивляется. А я, дура, везде треплю языком: добрый человек у нас Паша, душевный, не чета остальным. А он вишь что отмочил.

— О чем вы, тетя Паша?

— Зачем послал батюшку резать?

— Ах, вот в чем дело! Очень нужна экспертиза. Сами же навели меня на подозрение. Да и мне сдается: здесь преступление кроется.

У Павлины Афанасьевны появилось выражение испуга в глазах. Павел Иванович даже не сразу поверил, что эта женщина может пугаться.

— Стало быть, поверил? О господи! Оттого-то сердце мое тревожилось. И слухи всякие.

— А что за слухи?

— На карандаш хочешь, в протокол? — насторожилась уборщица.

— И в протокол можно, если сообщение стоящее.

— Не стану я говорить.

— Это вы зря, Павлина Афанасьевна. Если не хотите говорить — я скажу. Слухи слухами, а вы чувствуете и даже уверены, что совсем не нехристи помогли вашему батюшке на тот свет попасть. Совесть вас мучает, поэтому вы и решили поговорить со мной.

— Свят, свят, свят! — Павлина Афанасьевна стала мелко-мелко креститься.

— Да что случилось-то?

— Я и в самом деле дожидалась тебя. Вот тут у меня камень, Паша, — Павлина Афанасьевна прижала сухонький кулак к груди. — Душа горит, не могу больше молчать. Только ты-то откуда знаешь о моих мыслях?

— Догадываюсь, тетя Паша. С людьми живу, приглядываюсь к ним, прислушиваюсь, оттого и кое-что знаю.

— Выходит, и к верующим прислушиваешься? — Голос Павлины Афанасьевны прозвучал недоверчиво.

— Выходит, так.

— Так вы их не любите, верующих-то.

— Не любим верующих? Да кто вам сказал об этом?

— Кто, кто!.. Батюшка говорил, вот кто.

— Десятков?!

— Какой Десятков! — Павлина Афанасьевна с досадой поморщилась. — Отец Иосиф и мухи боялся обидеть. Мог ли он такие слова говорить!

— Кто ж тогда?

— Есть кому.

Лузнин понял, что он нашел, пожалуй, единственно правильную дорожку к душе этой женщины.

— Павлина Афанасьевна, я сейчас домой на часок загляну, потом в прокуратуру приду. Очень вас прошу, зайдите ко мне. Потолковать надо, посоветоваться. Я ведь в самом деле ничего не понимаю в делах церковных. А вы можете помочь, я это чувствую. Можете помочь, если, конечно, захотите.

Лицо маленькой женщины смягчилось.

— Отчего же? Зайду. Хватит в молчанку играть. Намолчалась...

Павел Иванович шагал по улице и думал над тем, что увидел и услышал. Особенно сильное впечатление на него произвел священник. Почему Проханов был так резок вначале? И как он быстро перестроился! Вот уж кто в совершенстве владеет своими чувствами. Только почему он так отшатнулся, когда узнал, с кем разговаривает?

Впрочем, что тут странного? Проханов прав, прокуроры не так уж часто посещают церковь. Сам Лузнин был там впервые. Да и другие официальные лица в церкви не появлялись, разве только с комиссией для ремонта. Павел Иванович помнил, что такую комиссию однажды составляли в райисполкоме по заявлению, кажется, того же Проханова, который пожаловался, что ему не хватило строительных материалов для ремонта храма божьего. Пришлось создать комиссию и провести обследование. Комиссия установила, что строительных материалов больше чем достаточно.

Люда заметила отца в окно. Ее забавное и не по возрасту смышленое личико было перепачкано вареньем. Павел Иванович улыбнулся.

С криком «Папа! Папа пришел...» девочка выскочила отцу навстречу, потешно, как-то по-утиному переваливаясь с ноги на ногу по ступенькам крыльца.

— Какие новости, Люда? — серьезным тоном спросил Лузнин. Девочка, казалось, только и ждала этого вопроса. Сегодня она знала нечто чрезвычайно интересное, и ее просто распирало от нетерпения.

— Папа! А у нас дядька какой-то был.

— Это что за дядька?

— А такой... с иголками. — Люда указательными пальчиками, приставленными к вискам, показала, что значит «с иголками».

— М-м... Действительно интересно. Оля, слышишь? Кто у нас был?

Из кухни выглянула жена, высокая, статная, всегда чуть возбужденная молодая женщина с быстрыми, суетливыми движениями человека, обремененного множеством домашних хлопот. Ее лицо было усеяно мелкими золотистыми веснушками.

— Явился наконец? — укоризненно спросила она, но, тут же забыв упрек, поцеловала мужа в щеку. — Ты спросил что-то?

— Этот звонок говорит, что кто-то меня спрашивал...

Девочка захлопала в ладоши, запрыгала на месте.

— Не у мамы! Не у мамы! У меня спрашивал. У меня...

Ольга ничего не могла понять.

— Кто у тебя спрашивал? Когда? Ты что-то путаешь, егоза.

— И не путаю. Не путаю. Я на улице в мячик играла, а дядька с иголками подошел и спрашивает: «Пришел твой папа?» Я говорю: не пришел. А он бегом ушел. И оглядывался долго.

— Ага... Значит, ушел бегом? А почему ж он все-таки с иголками?

— Не слушай ты ее, — вмешалась жена. — Умывайся, Паша. Пора завтракать.

— Постой. У нас с Людой деловой разговор... Ну, Людочка, выкладывай. Что за иголки у того дяди? Или ты все придумала?

Девочка досадливо сморщила вздернутый нос.

— Ну, па-апа... Вот так он смотрит, — Люда сделала страшные глаза и опять в ход пошли пальцы.

В комнату возвратилась жена и поставила на стол завтрак.

...Ноздреватые, пропитанные маслом блины, распространяющие искусительный аромат, совсем разморили Павла Ивановича. А тут еще Ольга подложила два поджаренных цыплячьих крылышка, истекавших жиром. Да еще, ко всему прочему, поставила на стол кринку молока.

Завтрак получился на славу. Павел Иванович расправился с ним с решимостью проголодавшегося человека и, еще не совсем поверив, что он насытился, все же твердо сказал себе: «Хватит. Так и лопнуть можно».

Он уселся поудобней, далеко вытянув ноги, взял в руки газету и... вдруг заметил в дверях высокого человека с острыми горящими глазами.

Павел Иванович догадался: Людочкин знакомый. Он почему-то держал в руках кадило, небрежно опирался плечом о косяк двери и ласковым женским голосом спрашивал:

— Ну что, Паша, наелся? Может, подложить курятинки? — и протягивал ему крылышко цыпленка, наполовину покрытое перьями.

— Вам что... кого вам нужно? — удивленно спросил Павел Иванович. Он хотел подняться, но, странное дело, ноги его не послушались.

— Ты ложись, я тебя бревном одену, — говорил между тем странный человек с острыми глазами.

«Глупости-то какие говорит! — равнодушно подумал Павел Иванович. — Сумасшедший, что ли? Надо Соловейкина позвать».

— А нахал этот Проханов, — доверительно склонившись к нему, начал шептать ему на ухо незнакомец. — Обвел вокруг пальца исполком... И куры на базаре сегодня дешевые, — и человек стал совать ему в рот крылышко цыпленка.

— Да вы с ума сошли! — крикнул Павел Иванович и проснулся.

Люда, от удовольствия подпрыгивая на месте, заливалась смехом. Она пыталась положить спящему отцу в рот конфету, а он смешно фыркал носом, мотал головой и говорил что-то непонятное.

— Кто совал мне крыло в рот? — грозно спросил Павел Иванович, глядя сонными глазами на развеселившуюся девочку.

— Не крыло, не крыло. Конфету...

— Что у вас происходит? — заглянула в комнату Ольга.

Павел Иванович окончательно пришел в себя. Он вздохнул и брезгливо сказал:

— Гадость какая-то приснилась.

— А ты не спи сидя. Ложись по-человечески.

Павел Иванович встал, шагнул к жене и коснулся ладонью ее плеча.

Не могу, Оля. С ног валюсь, но спать нельзя. Убийство у нас, понимаешь?

РАЗГОВОР НА ОТКРОВЕННОСТЬ

Когда Лузнин пришел в прокуратуру, там уже сидела Павлина Афанасьевна. Она была сильно взволнована.

Начала разговор сама Павлина Афанасьевна.

— Ну что, сынок, трудно?

— Нелегко, Павлина Афанасьевна.

А ты меня напугал до смерти. Правильно сказал: сама больше не могу молчать. И скажу тебе по всей правде — по той дорожке идешь. По правильной. Ты уж поверь мне, старой. Нюх у тебя — дай бог каждому.

У Павла Ивановича взволнованно застучало сердце. Он не ожидал, что похвала этой простой женщины так его обрадует. Будто школьник, получивший пятерку.

— Пожалуйста, не перехвалите. Могу и зазнаться, — и, согнав улыбку, круто изменил разговор: — Тетя Паша, вы верите слухам, что отец Иосиф не своей смертью умер?

— Еще бы не верить. Отец Иосиф пострадал от злодейской руки.

Павел Иванович вышел из-за стола и уселся напротив уборщицы.

— Я слушаю, Павлина Афанасьевна. Слушаю. Говорите.

— А ты спрашивай. Отвечать стану...

— Кого вы подозреваете?

Уборщица вдруг вскочила с места. К лицу ее прилила кровь.

— Супостата сивого. Вот кого подозреваю. Угробил человека! Сжил со свету!

Павлина Афанасьевна дрожала от гнева и возмущения.

— О ком вы говорите?—Лузнин сделал шаг первым.— О священнике Проханове?

— Какой он священник! Бабник он, развратник. Лиходей он, вот что я тебе скажу!

— Ну что вы, тетя Паша! Святой отец — и вдруг такие слова о нем? — Лузнин говорил решительно не то,

что думал, но ему надо было выразить откровенное недоверие, усомниться в словах самолюбивой собеседницы, чтобы заставить в горячке выложить все, что знала. А знала эта женщина не так уж мало.

Как и ожидал Павел Иванович, слова его будто хлестнули Павлину Афанасьевну. Она встала, горделиво выпрямилась. Узкоплечая, с остренькими чертами лица, крошечная, а столько достоинства.

«Вот это темперамент!» — подумал Лузнин.

— Не веришь? Думаешь, заболталась баба, наговорила сто коробов? Да ежели хочешь знать, я в жисть не видала такого поганца, как этот, прости господи, святой отец. Знаешь ли ты, скольких он баб перепортил? Нет, милок, ничего ты не знаешь. Да и где тебе знать, тихоне да скромнику! Кроме своей Оли, на чужую бабу-то, поди, и посмотреть стесняешься. А ты не красней, не красней. Я тебе в матеря гожусь. Я сквозь вас-то будто в стеклышко смотрю. Рюмку водки выпьете, и то с оглядкой, боитесь, как бы пальцем не показали. Может, оно так и нужно, только в нашей стихее не так это делается. Не так, милок. И вообще мы, верующие, на отшибе. Что у нас творится — никому дела нет. А я вам скажу, гражданин прокурор, неправильная это линия.

— Подождите, подождите, Павлина Афанасьевна. Вы что-то сильно обобщать начали.

— А ничего не сильно. Давно надо такого, как наш отец Василий, за ушко да на солнышко.

— Вы что же, предлагаете, чтоб советская власть плохих попов снимала, а хороших ставила?

— Ничего мы не хотим. Только нельзя вот так сквозь пальцы смотреть.

— Не то говорите, Павлина Афанасьевна. Не то. Советская власть не мешает верующим справлять ваши религиозные обряды, хотя решительно отрицает религию и считает ее духовной отравой. Так что власть тут ни при чем.

— Я, милый, не сильна в политике, только больно я не люблю нечестивцев. Мне, батюшка мой, Павел Иваныч, совестливые люди по душе, чтоб жили они правильно, людям на пользу. А кому от такого вот брехуна, как наш батюшка, польза?

— В том-то и беда, дорогая тетя Паша, что нет ни одного служителя культа, который бы приносил человеку

пользу. Все они отравители душ, тянут людей по старой дорожке, не дают человеку расти. Мало того, что церковники воздвигают глухую стену, чтобы отделить людей, на которых они имеют влияние, от культуры и науки, — они еще выкачивают из народа миллионы и миллиарды рублей. Палец о палец не ударят, чтобы помочь людям, а живут в роскоши. Разве не так?

Павлина Афанасьевна молчала. Ей хотелось что-то сказать, но она подавила в себе это желание.

— Вы колеблетесь, а зря. Вы честный человек и сердцем чувствуете, что я прав. Разве священник в церкви грамоте вас учит? Даже смешно. Он учит господу богу поклоняться. А где он, этот бог?

— Ты, Паша, брось меня агитировать. Я на всю жизнь сагитированная. А бог наш на небе живет. Жил и будет жить.

Павел Иванович мягко улыбнулся.

— На небе, говорите? А как же спутники? А как же Гагарин и Титов? Они же враги бога. Не признают, отрицают, разоблачают церковников, доказывают, что нет в небесах никакого бога.

— Ну... н-не знаю. Откуда мне знать? Я женщина темная, грамоте не обученная. Мне с детских лет говорили, что бог есть на небесах. Раз говорят, значит и в самом деле есть.

— Говорят, говорят. А кто говорит? Вы вот сами ругаете отца Василия, что нет у него ни чести, ни совести. Как же вы можете ему верить?

— А на нем свет клином не сошелся. Он-то плохой, но есть и хорошие. Почему это я им не могу верить?

— Вот видите! Вы делите священников на хороших и плохих. А ведь и хорошие, и плохие попы говорят одно и то же: бог есть. Кому же верить? Ведь правда одна...

Павлина Афанасьевна растерялась.

— Не знаю, Паша. Супостату нашему я ни в чем не верю.

— А в церковь все-таки ходите?

— Ну а как же!

— Это называется — заехать в тупик. Что делать? И хорошему, и плохому попу надо жить, хлебом питаться, семью кормить. Если он не будет говорить, что бог есть, он же подохнет. Вы уж извините за резкое слово, не могу я об этих людях спокойно говорить.

— Ладно уж, чего там извиняться. Я тебе верю. Только как же мне без бога-то? Всю жизнь верила. А сколько я свечек поставила ему, сколько денег да всяких подарков батюшкам передавала! Что же это выходит? Я дура? Нет уж, Паша, ты мне голову не морочь. Не сбивай меня с пути истинного.

— А где, где он, этот ваш истинный путь? Куда он вас привел? Что полезного дала ваша вера лично вам? Эта вера, если хотите, всю жизнь вас грабила. Ведь вы, пожалуй, четверть заработка отдавали попу.

— Не попу, а богу.

— Как это богу? Разве на ваши деньги не поп, а бог водку пьет? Яйца, кур, мед не поп, а бог ест?

— Тьфу тебе, богохульнику! Разве можно такие слова говорить о всевышнем?

Павел Иванович развел руками.

— Вы же сами говорите, что не попу, а богу несете приношения.

— Ах, не запутывай ты меня. Один у меня бог остался в жизни. Если и его отнимешь, с чем я буду? — У Павлины Афанасьевны выкатились из глаз две крупные слезы.

— Вам, выходит, не бог нужен, а утешение на старости лет. Сами вы себя обманываете. Сами ругаете попов, а идете к ним. Но я верю, тетя Паша, верю: не может быть, чтобы, увидев истинное лицо вашего батюшки, вы не разглядели ложь, которой он вас учит. Истина все-таки одна, и она восторжествует. Не может такого случиться, чтобы правда гнила под лавкой, а ложь царствовала. Вы сами, верующие, когда-нибудь разоблачите попов.

— Я его, гниду поганую, в сей момент могу донага раздеть. Я всю его мерзкую жизнь знаю.

— Ну уж!

— А что ты думаешь? Или я напрасно в прокуратуре работаю сорок лет?

— А как это вы можете знать всю его жизнь? Ему уже под семьдесят, наверное, а вам и шестидесяти нет.

— Ну и что с того? Все равно знаю. Вот тут все прятала. — Сухонькая рука ее легла на грудь. — Тетка Паша никому в жизни не врала. Никому! Ни разу! Ни на боже мой! Но уж если я замечу, что мне брешут в глаза, я в жисть не прощу. Я по правде жила и по правде буду жить.

Павел Иванович нахмурился. Потом встал.

— Тетя Паша. Вы уж меня извините. Сколько раз за сегодняшний день мы начинаем этот разговор, а вы только по губам мажете. «Я знаю», «Мне известно». У меня складывается впечатление, что вас отец Василий чем-то обидел, вот вы и говорите о нем плохо. А на самом-то деле вам мало что известно.

Павлина Афанасьевна, глубоко задетая, кажется, не верила своим ушам. Лузнин почувствовал, что хватил лишку, но было уже поздно.

— Вот ты как со мной. Тебе хвакты нужны, — рассердилась Павлина Афанасьевна. — Ладно. Я тебе дам эти хвакты. У меня их во сколько! — Она провела маленькой ладонью по подбородку.

— Не сердитесь на меня...

— Ты уж молчи. И сиди тут. Я тебе за руку приведу один хвакт. Пусть он сам говорит, а я, старая, помолчу да погляжу на тебя. Вот так вот.

Павлина Афанасьевна появилась через полчаса. И не одна. Вслед за ней шла женщина лет тридцати восьми-сорока. Была она среднего роста, небрежно одета во все черное, и только голову она повязала сереньким платком.

Лицо ее было округлое, с высоким, слегка выпуклым лбом и красивым разлетом бровей. Вздернутый носик, полные чувственные губы с грустно опущенными уголками и мягкий подбородок делали бы это лицо милым и привлекательным, если бы не его болезненная бледность. Уже давно потухли глаза и появились отечные мешки под ними, а неприятная одутловатость щек грубо нарушала созданную природой гармонию красоты.

Бросалось в глаза и другое. Хотя эта женщина и казалась испуганной, чем-то травмированной, но на нее нельзя было смотреть равнодушно. Она вызывала сочувствие, необидную жалость к себе. Павел Иванович поймал себя на мысли, что ему хочется помочь ей, встряхнуть, ободрить.

— Вот тебе, Паша, первый хвакт. Любуйся на голубушку! — Павлина Афанасьевна живо повернулась к женщине. — Ты у меня всю правду, как есть, выложи. Я те из беды вытянула, все сделала, так уж тут не финти. Слышь, Марья?

— Слышу, тетя Паша,— шепотом ответила женщина, даже не взглянув на Павлину Афанасьевну. Гостья

почему-то глаз не могла оторвать от лица Лузнина, она испуганно таращила их, будто ожидала от него чего-то, очень для себя страшного.

— Да вы садитесь, не знаю, как величать,— как можно мягче сказал Павел Иванович, придвигая женщине стул. — Садитесь, прошу вас.

— Марьюшкой ее зовут. Иль просто Марья. Чего вам всякие отчества. Мы люди простые, и разговаривай с нами попроще.

Павел Иванович улыбнулся.

— Ну, проще так проще. Разговор-то с чего начнем, тетя Паша? — осведомился Лузнин.

— Говори ты, Марья. А я, коли понадобится, тоже вставлю словечко.

Мария Ильинична Разуваева, так полностью именовали эту женщину, рассказала удивительную историю. Она-то и заставила Лузнина глубоко и всесторонне изучить жизнь церкви и ее служителей. Правда, трудился не один он: сроки следствия были довольно жесткими.

Постепенно в руках Лузнина сосредоточился обширный материал, который и взят за основу этого повествования. Материал имеет многолетнюю историю. Но мы начнем эту историю не от Адама, а изложим в той последовательности, в какой двигалось следствие.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ



Глава первая

БОГ УМЕЕТ МСТИТЬ

Жизнь Марии Ильиничны сложилась несчастливо. Когда-то у нее был любимый человек. Они жили, не регистрируя брака, потому что первая жена ее суженого не хотела давать развода. Детей у Андрея от первого брака не осталось, поэтому ничто его около той женщины не удерживало. Но Андрей и Мария пожили вместе всего полгода. Началась война. Андрея призвали в армию. Он сразу же попал на фронт и погиб. Так ей сообщили. Она не верила, но поверить пришлось.

Осталась Мария Ильинична одна. Был у нее в деревне под Петровском небольшой домик, но его сожгли немцы. Без нее сожгли, потому что она была в то время в эвакуации. Когда кончилась война, Мария Ильинична в деревню не поехала — никого у нее там не осталось. Пришлось снимать углы в Петровске.

На небольшую зарплату жилось трудно, но одной все-таки прокормиться не так уж тяжело. И все было бы хорошо, может, со временем и семья бы сложилась: за Марией Ильиничной ухаживал бравый парень, в прошлом

фронтовик — только она вдруг заболела. Стали ей сниться дурные и страшные сны, она кричала, обливалась потом, просыпалась с бешено колотившимся сердцем, а потом ни с того ни с сего вдруг стала удариться в слезы и кричать до изнеможения. И что с ней случилось — она понять не могла.

Пошла к врачу. Тот прописал ей лекарства и посоветовал поскорее обзавестись семьей. Врач сказал, что нервы у нее истрепались; все это от одиночества, от постоянного угнетенного состояния, от тяжелых дум и неудовлетворенности в личной жизни.

«Обзаводись семьей...» Это ведь легко сказать. Сколько таких, как она, одиночек осталось после войны!

Правда, встретился и ей хороший человек. Первое время он будто бы и не прочь был жениться на ней. Но, когда узнал о странной ее болезни, тут же отвернулся. Известное дело: жена мужу нужна здоровая.

Как-то Мария Ильинична поделилась своей бедой с одной из женщин на сушильном заводе, где тогда работала. Та ей посоветовала пойти к священнику, отцу Василию: он будто бы как рукой снимал такие болезни.

Одного слова, оказывается, было достаточно, чтобы всколыхнуть чувства, годами дремавшие где-то в самой глубине ее души. Мать и отец Маши, и особенно бабушка, были людьми религиозными, но дочь не приняла веру отцов близко к сердцу. Она училась в те годы, когда особенно бурной была деятельность комитетов безбожников.

Учась в школе, где процветал воинствующий атеизм, нельзя было оставаться равнодушным к тому, что там происходило. Но с другой стороны — семья. В церковь Маша ходила изредка, по большим престольным праздникам.

Нельзя сказать, чтоб она тогда не верила в бога. И верила, и не верила. В детстве Маша бывала в церкви только потому, что боялась строгой бабки, а когда церковь закрыли — забыла о боге, как ни старалась внушить ей страх перед гневом господа бога сердитая бабка. Старая вскоре умерла, а вместе с нею кончилась и пора принудительного обращения к богу.

И вот, когда началась война, когда Андрей ушел на фронт, Мария Ильинична, кажется, потеряла рассудок. Андрей может погибнуть. Ее Андрей! Любовь их была

выстрадана. Они сквозь муки прошли, прежде чем стали близкими.

И тут-то Мария Ильинична вспомнила о боге. Она ночи напролет простаивала перед строгим, почти жестоким ликом, умоляла возвратить ей Андрея. Она ожидала чуда, а бог молчал. И не только молчал, он отнял у нее мужа. Так, во всяком случае, она считала.

И она возненавидела бога. Выплакав все слезы, она садилась на лавку, глядела на икону и с гневом бросала:

— Ты жестокий. Я тебя ненавижу! Плюю на тебя! — Она вставала и действительно плевала в угол.

Жить ей тогда не хотелось. В ответ на страшный свой вызов богу она ожидала столь же страшной мести. Но месть не наступала, небо на нее не обрушивалось, громы небесные на ее голову никто не ниспровергал. Она хохотала, глядя на образа, и выкрикивала:

— Ну, что же ты? Карай! Я не боюсь тебя! Ты — животное! Ты хуже тигра. Тигра хоть можно насытить кровью, а ты льешь реки людской крови, а тебе все мало, мало, мало! У-у, ненавижу тебя!

В те годы Мария Ильинична, хоть и проклинала бога, но верила, что он есть. Просто он злобен, и душа у него черная.

А потом пришла усталость. Руки ее опустились. Она не знала, куда их приложить, за что взяться, чтобы заполнить в душе зияющую пустоту. Годы текли, а серое ее существование не улучшалось и ничем не скрашивалось. Она уже больше не пыталась воевать с богом. Мария Ильинична просто о нем забыла, даже икону выбросила вон, а вслед за ней и все книги священного писания, которые много раз читала и перечитывала.

И вот теперь, когда Мария Ильинична заболела, она опять вспомнила о боге. Вспомнила и смертельно испугалась.

«Вот когда он карает меня. Это месть, месть его».

Семнадцать лет прошло с той поры, когда Мария Ильинична осмелилась бросить вызов богу. Что она видела за эти семнадцать лет? Ничего хорошего. Пустая жизнь одинокого человека. А ведь она была молода, хороша собой. При желании она бы сумела себе выбрать человека по душе.

Чем, например, был плох Анатолий Стогов, старший мастер на заводе? Он любил ее. Она не сопротивлялась, когда он позвал ее. Но она всегда видела в нем Андрея и часто ошибалась, называя Анатолия именем любимого человека. Как он выходил из себя, ругался, сколько раз бросал ее, но все же возвращался. А потом наступил разрыв.

— Я не могу забыть Андрея, Анатолий, — сказала она Стогову. — Ты хороший человек, я верю тебе, но не могу ничего с собой поделать. Я до сих пор люблю его. Не могу, Анатолий. Тебе нужна другая жена.

Ей тогда было двадцать шесть лет. Двадцать шесть! И уже тогда она чувствовала себя старухой.

Что ж, счастья ей не видать никогда. Бог ее наказал, но теперь он хочет пожалеть ее. Не может же быть, чтоб он мучил и преследовал ее всю жизнь. Это уж слишком жестоко.

Она пойдет к богу, она покорится, она сделает все, что бы он не ниспослал ей.

В ближайшее воскресенье, прихватив с собой три десятка яиц и сто рублей, Мария Ильинична отправилась в церковь.

Тот день запомнился ей на всю жизнь. Май уже кончался. Лето выдалось раннее, теплое. Очень парило. Удрученное ее состояние рассеялось, когда она вышла на улицу. Зарумянились щеки, заблестели глаза. Эту свою особенность мгновенно реагировать на окружающую обстановку она знала за собой с детства. Хотелось радости, хотелось улыбаться. Славный день. Она совсем забыла о своей болезни.

Но в церкви Мария Ильинична, смирив разгорячившуюся кровь, усердно и горячо отбивала поклоны. Она молила бога вернуть ей здоровье, единственное богатство, которого ей хотелось.

Всю обедню она простояла на коленях. Когда в церкви никого не осталось, Мария Ильинична подошла к отцу Василию. В тот день он ей показался просто могучим человеком. Ростом высок, в плечах широк, руки сильные, крепкие. Но особенно поразили Марию Ильиничну глаза священника. Они будто сковывали ее и подчиняли. И такая сила в них!..

Она приблизилась к нему сбоку и тихо сказала:

— Здравствуйте, батюшка.

Отец Василий живо обернулся и долгим, пристальным взглядом оглядел ее.

— Здравствуй, здравствуй, дочь моя, — весело ответил священник. — С чем пожаловала?

Мария Ильинична, краснея и запинаясь, рассказала о своей беде, не забыла упомянуть и о своем разговоре с врачом.

Священник ласково потрепал ее по плечу, а потом поднял двумя пальцами ее подбородок.

— Э, да мы совсем красавицы...

Мария Ильинична вся затрепетала. Она никак не ожидала, что отец Василий так просто и так ласково станет разговаривать с ней. Это было хорошим предзнаменованием. Ей казалось — это бог смотрит ей в душу и дарит ей ласку.

В порыве бурной благодарности Мария Ильинична схватила его большую, тяжелую и очень белую ладонь, пахнущую ладаном, и горячо поцеловала ее.

— Ну, ну, дочь моя. Успокойся, — мягко произнес он и, как отец в детстве, взмахом пальца снял со щеки слезу.— Хорошо сделала, что пришла к богу. Чистое сердце, обращенное к господу, всевышний наполняет радостью.

— Батюшка, что мне делать? — с жаром воскликнула она. — Посоветуйте. Направьте... — Мария Ильинична проглотила слезы. — Я так страдаю, так мучусь!

Отец Василий строго посмотрел на нее, взял за обе руки и, не выпуская их из своих ладоней, властно сказал:

— Роптать в храме божьем — большой грех. Смирись, дочь моя. — Тут он заметил узелок с яйцами. — Что это у тебя в руках?

Мария Ильинична не сразу сообразила, о чем ее спрашивают. Впрочем, отец Василий ответа и не ждал. Ловким, но в то же время мягким движением он не взял, а выхватил у нее узелок.

— Тощий, дочь моя. У Христа помощи ищешь, а дар твой ничтожен.

Мария Ильинична вспыхнула и, запинаясь, промолвила:

— Там есть... В узелке посмотрите.

Отец Василий поднял к глазам узелок и заглянул в щелочку. Когда он вскинул на нее глаза, Мария Ильинична увидела повеселевший взгляд, и оттого у самой на душе полегчало.

— Благодарствую, дочь моя. И помни: бога нельзя забывать. — Он снова пристально взглянул на женщину. — А давно ли ты, дочь моя, исповедовалась?

Мария Ильинична хотела сказать, что ни разу этого не делала, но язык у нее не повернулся признаться в этом. Почему-то было стыдно, и она промолчала. А когда подняла глаза — встретилась со странно светившимся взглядом священника. Потом отец Василий придал им ласковое выражение и подошел к ней вплотную. Он погладил ее по плечам своей большой, мягкой и горячей ладонью — она это чувствовала сквозь тонкое платье — и сказал:

— Пойдем, дочь моя, в сторонку. Все мне и расскажешь.

Они зашли за какую-то перегородку. Мария Ильинична почувствовала запах чеснока и ладана. У нее чуть закружилась голова и стало отчего-то страшно.

Батюшка погладил ее по голове.

— Успокойся, дочь моя. Пусть тебе будет хорошо, а на душе светло, как в это божье майское утро. С этой минуты, дочь моя, начинается твое исцеление. Иди сюда, поближе к евангелию. Вот так. — Батюшка накрыл ее голову чем-то черным и строго сказал: — Рассказывай!

— Что? — дрогнувшим голосом спросила Мария Ильинична.

— Все рассказывай. Кайся в грехах своих. В эту минуту ты говоришь с богом, с господом богом нашим.

— Не знаю... Я не знаю, о чем, — лепетала она.

— Господь поможет тебе моими руками. Только слушайся, не гневи бога, и я изгоню беса из твоего грешного тела. Чем грешна, дочь моя? Ругала ли кого?

— Нет, батюшка.

— Обидела кого?

— Не знаю. Квартирную хозяйку, если...

— Ты бесприютна, живешь одна?

— Одна, батюшка. И давно уже.

— Почему так? Бог тебя наградил приятной внешностью, добрым сердцем. Отчего же ты, дочь моя, отталкиваешь от себя людей с добрыми намерениями?

— Я люблю, и люблю только одного хорошего человека на земле.

И опять руки отца Василия дрогнули. Он даже, как показалось Марии Ильиничне, слегка отшатнулся от нее.

— Ты любишь чужого мужа, дочь моя? — грозно вопросил отец Василий. — Кайся, кайся, дочь моя.

— Да нет же, нет, батюшка. Какого там чужого. Андрей мой погиб на фронте. Не могу забыть его. Кто бы ни был рядом, а я все думаю — Андрей. Пусто у меня на сердце, батюшка.

— Бог простит прегрешения. Бог всемилостив. Часто грешишь и с кем грешишь, дочь моя?

— Как это? — не поняла Мария Ильинична.

— Ты же не замужем. С кем живешь?

Мария Ильинична вспыхнула, потупилась.

— Были у меня... Только уходят, когда узнают, что больна.

— Прелюбодействовала с ними?

— Что?

— Какая ты непонятливая. Спала с теми мужчинами? — спросил он снова.

Мария Ильинична вздрогнула. Все в ней запротестовало. Почему он спрашивает о таких вещах?

— Ты смущена, дитя мое. Ты ропщешь. Ты забыла, что находишься в обители господа, в святая святых ее. Говори, говори, не смущайся, ничего в том плохого нет.

— Спала, батюшка.

— Много раз?

— Не знаю... Я не знаю, батюшка.

— Бог простит, дочь моя. Ну, ну, спокойней. Сколько тебе лет?

— Тридцать восемь скоро исполнится.

— И как же ты живешь?

— Работаю.

— В бога-то не веришь?

— Верю, батюшка.

— Истину говоришь?

— Да, батюшка.

— В чем еще грешна?

— Ни в чем не грешна. Живу я смирно, одиноко.

— Сколько зарабатываешь, дочь моя?

— Когда как. Бывает, четыреста, бывает, и пятьсот.

— Мало, мало. Не хватает тебе. А не ропщешь на жизнь?

— Ну что вы, батюшка! Как можно? Одна я, много ли мне надо...

— Ладно, дочь моя. Я помогу тебе. И болезнь твою излечим. Только требую строгого послушания. Слышишь меня, раба божья?.. Тебя как нарекли?

— Марией, батюшка.

— Ты меня поняла, раба божья Марья?

— Поняла.

— Обещаешь быть послушной?

— Обещаю, батюшка. Все сделаю. Все, что захотите, — горячо заговорила Мария Ильинична. — Только вызвольте из беды. Век буду благодарить...

— Хорошо, хорошо Марьюшка. — Отец Василий снял с ее головы епитрахиль, но руку с плеча не убрал. Рука у него сильная, тяжелая, крепкая. — Священные книги читать надо. Ты грамотная?

— Десять классов кончила. Потом немного в учительском институте занималась.

Священник о чем-то думал некоторое время, и вдруг лицо его посветлело.

— Хорошо, дочь моя. Я приближу тебя, если проявишь усердие.

— Все сделаю, батюшка.

— Хорошо, хорошо, Марьюшка, — мягким движением руки остановил ее отец Василий. — Я верю. Только... Приходилось ли тебе, Марьюшка, читать священное писание?

— Да, батюшка, читала, когда бабушка жива была. Потом читала, когда Андрей на фронт ушел. Много читала. Дни и ночи. И по многу раз перечитывала.

Отец Василий весь как-то возликовал.

— А ты не забыла язык священного писания?

— Нет, нет, батюшка! Старославянский я хорошо знала. А если и забыла что — вспомню.

Священник облегченно вздохнул, глубоко, всей грудью, как будто огромная тяжесть свалилась с его плеч.

— Ах, как ты порадовала меня, Марьюшка!

Отец Василий мягким движением привлек ее к себе и поцеловал в голову. Но губ не отнял. Мария Ильинична замерла, почувствовав, как тяжелые, властные ладони сжали ее плечи. Но отец Василий отстранился, широким взмахом правой руки осенил ее крестом и тихо сказал:

— Бог простит.

Что простит ей бог, Мария Ильинична так и не поняла. Но услышав, как батюшка снова вздохнул, она упала на колени, схватила руку отца Василия и с жаром, со слезами на глазах стала целовать ее. Священник не отнимал руки. Он только сжал обе ее горячие ладони и тихо гладил другой рукой ее голову.

— Встань, дочь моя. И — с богом. Придешь ко мне сегодня же. После полудня. Я тут неподалеку живу. Дам тебе библию, вразумлю, что делать. А теперь иди, и пусть в сердце твоем будет благодать. Иди, иди, дочь моя...

На том исповедь окончилась.

Глава вторая

«ХОЧЕШЬ БЫТЬ С НАМИ?»

Мария Ильинична с трудом вышла из церкви и пошла к воротам, спотыкаясь о камни, которыми был выстлан церковный двор. Но в ворота Мария Ильинична долго не могла попасть. В голове у нее мутилось, перед глазами прыгало, как бывало всегда перед припадком. И она боялась, что он случится тут же, в церковном дворе.

Как Мария Ильинична дошла домой, она плохо помнит. Но зато в ее память врезался чей-то насмешливый мужской голос:

— Ну времена пошли. Смотри, смотри, как нализалась. Ай да баба!

Мария Ильинична машинально обернулась, чтобы посмотреть на пьяную женщину, но никого не заметила. И вдруг поняла: это о ней говорят. Мария Ильинична споткнулась и едва не упала.

Ее стало тошнить. Она вошла в какие-то ворота и, заметив чугунную тумбу-кран, с жадностью напилась, а потом, смочив платок водою, долго растирала себе виски, шею, лицо.

Стало легче. Она почувствовала, что уже в состоянии добраться до дому.

К счастью, хозяйки квартиры дома не оказалось. Сбросив с себя кофточку и туфли, Мария Ильинична свалилась на постель. Долго лежала с открытыми глазами.

«Неужто бог простил?» Но уже одно то, что припадка

не случилось, хотя она была близка к нему, казалось ей хорошим предзнаменованием.

Уснула Мария Ильинична не скоро и спала мало, но встала отдохнувшей, бодрой.

Через полчаса она уже подходила к дому священника.

Этот дом поражал размерами: не меньше, пожалуй, пятидесяти метров в длину. Дом казался новым. Его не так давно перебрали заново — кругляки даже потемнеть не успели.

Мария Ильинична нерешительно стала подниматься по ступенькам резного крыльца. Над его отделкой трудился, видно, опытный мастер. Замысловатый узор был вырезан и на деревянной опоре крыши.

Тот же мастер на совесть поработал и над наличниками. Восемь окон украшал тонкий рисунок в старинном стиле: петухи, цветы, деревья и Конек-Горбунок...

Дом был высок, покрыт свежими цинковыми листами; цинковые желоба для стока дождевой воды спускались почти к самой земле. Достаточно одного взгляда на дом, чтобы понять: живет здесь человек не рядовой и уж, во всяком случае, не с тощим карманом.

Она вспомнила свою покосившуюся набок халупу в деревне, на которую вдруг разъярились фашисты и спалили, а затем небольшой, с низкими потолками домик своей хозяйки, и у нее отчего-то засосало под ложечкой. Зависть? Удивление? Кто его знает... Она только подумала:

«Вот как они живут, попы-батюшки!» — и сделала первый шаг по крыльцу, но едва не поскользнулась. Пол был устлан линолеумом; его так старательно начистили, что он блестел, как лакированный.

Когда она приводила одежду в порядок, дверь вдруг открылась. На пороге стоял отец Василий в каком-то странном одеянии.

Мария Ильинична много раз видела портреты Льва Толстого в длинной рубашке из грубого холста; он был опоясан ниже талии тонким витым шнурком с бахромой и обут в грубые сапоги. Примерно такая же одежда была и на священнике: толстовка из тонкой белой шерсти, черные шерстяные брюки навыпуск старательно отутюжены, туфли из хорошей мягкой кожи.

— Добро пожаловать, дочь моя, — вполголоса и както по-домашнему сказал Проханов. Он пропустил ее впе-

ред и закрыл дверь. — Проходи, проходи, Марьюшка, и будь гостьей. Бобылем живу, не обессудь, но гостей не обижаем.

Мария Ильинична смутилась и не нашлась что ответить. Она переступила порог комнаты и оказалась в просторной и уютной прихожей. На полу был разостлан ковер, он занимал почти всю комнату. В левом углу висели большие иконы, а перед ними мерцала лампада. Слева от двери — вешалка, направо — дверь на кухню. Дверь была и прямо перед ней.

— Дай, Марьюшка, шляпку. Вот здесь ее повешу, — сказал отец Василий все тем же ласковым домашним голосом, совсем не похожим на тот, что она слышала в церкви. — Я сейчас, Марьюшка. Ты устраивайся.

Он удалился в другую комнату, видимо, давая ей возможность прийти в себя и освоиться с обстановкой.

Мария Ильинична облегченно вздохнула и с благодарностью подумала: «Какой он, однако...» — но не могла подобрать подходящего определения. Она улыбнулась и, поискав глазами зеркало, стала не торопясь приводить себя в порядок.

Когда послышались шаги священника, Мария Ильинична торопливо отошла от зеркала.

— Пойдем, Марьюшка.

Вторую, более просторную комнату с двумя окнами на улицу и со столькими же во двор они прошли не останавливаясь. Мария Ильинична рассмотрела на окнах светлые дорогие шторы, спускавшиеся почти до пола, увидела картины на стенах, широкую ковровую дорожку.

А в третьей, угловой комнате с наглухо закрытыми ставнями ярко горел свет. Мария Ильинична даже зажмурилась от неожиданности, а когда открыла глаза, увидела очень дорогую люстру, на которой светилось множество матовых лампочек. Комната оказалась богато обставленной. Два дивана, несколько кресел, большой овальный стол, почему-то закрытый газетами, вокруг него несколько массивных стульев с мягкими бархатными сиденьями. Справа под стеной вытянулся большой шкаф с посудой, сверкавшей и переливавшейся всеми цветами радуги. В левом углу стоял роскошный приемник. И в довершение всего — рояль.

В комнате Мария Ильинична насчитала шесть окон: три на улицу и три во двор. Справа виднелась еще одна

дверь, но она была закрыта и привалена большим, тяжелым рулоном ковра.

— Вот это и есть моя хижина, — не без внутреннего довольства произнес Проханов. — Нравится?

Мария Ильинична улыбнулась.

— Очень.

Мягкий тон священника действовал на нее умиротворяюще.

Но когда он пригласил ее сесть, она притулилась на краешке стула и сидела в напряженной позе.

Хозяин взглянул на нее и тоже улыбнулся.

— Не надо, Марьюшка, стесняться. Я простой человек, и пришла ты не в церковь, а в дом. Чувствуй себя как дома — мы же русские люди, — ласково сказал он, снимая газеты со стола.

Мария Ильинична сидела потупившись, боясь взглянуть на стол.

— Ну вот, гостьюшка, прошу. Угостимся чем бог послал.

А бог, кажется, жаловал этот дом. Широкий стол, покрытый белой скатертью, ломился от блюд. Масло, красная и черная икра, колбаса и дорогая рыба разных сортов, толстое розоватое сало, целая курица, аппетитно подрумяненная, маринованные грибы, свежие огурчики, помидоры, зеленый лук, моченые яблоки... Посредине возвышался графин с водкой, настоенной лимонными корками, и бутылка красного вина.

Проханов окинул взглядом дело рук своих и аппетитно поцокал языком. Глаза его замерцали, весь он как-то преобразился и стал походить на хищную взъерошенную птицу.

Мария Ильинична во все глаза смотрела на него и не могла понять: куда девался домашний, добродушный вид отца Василия?

В свою очередь и Проханов заметил растерянность гостьи; он незаметно отодвинул от себя тонкий стакан, в который намеревался налить водку, и придвинул рюмки — гостье и себе. Себе он налил из графина, Марии Ильиничне, не спрашивая, — вина.

— Восславим, дочь моя, христово воскресение и выпьем за твое драгоценное здоровье.

Пил он маленькими глотками. А Мария Ильинична, едва пригубив, поставила рюмку обратно.

— Э-э, нет, матушка моя. В христово воскресение, да еще за твое здоровье. Грех на душу не бери.

Мария Ильинична напряженно улыбнулась и попыталась пошутить:

— А если пить грех и вы его не отпустите?

Проханов, однако, не принял шутки. Он сказал наставительно:

— Коль батюшка поднимает рюмку — бог его благословляет. Пей, Марьюшка!

И гостья выпила.

Закусывали молча, лишь изредка перебрасываясь незначительными фразами. У Марии Ильиничны кусок застревал в горле. Она никак не могла подавить в себе волнение; чтобы успокоиться, выпила еще три полных рюмки вина, но хмеля так и не почувствовала.

Потом Проханов усадил ее в кресло, и началась беседа. Началось именно то, чего с таким напряжением она ожидала. Мария Ильинична понимала, что она не просто гостья: слишком невелика персона, чтобы ее запросто пригласили в этот дом.

— Я, Марьюшка, позвал тебя для дела, угодного богу. Я отношусь к тебе с полным доверием и уповаю, что ты оправдаешь мои надежды.

— Я все сделаю, если это в моих силах! — воскликнула Мария Ильинична.

— Конечно, в силах. Но прежде чем изложить тебе дело, во имя которого мы с тобой встретились сейчас, я должен спросить тебя, дочь моя: готова ли ты верой и правдой служить православной церкви?

— Служить? — удивленно переспросила Мария Ильинична. — А что я должна делать? Как и чем я должна служить?

— Не спеши, Марьюшка, всему свое время. Я жду ответа. Это весьма важно, потому я и вынужден брать с тебя слово.

— Я все готова сделать, батюшка. Все, что в моих силах.

— Перекрестись, дочь моя. И поклянись собственным здоровьем.

Мария Ильинична выполнила это требование. Проханов удовлетворенно кивнул головой.

— Видишь ли, Марьюшка, я, может, и не имею права говорить с тобой, не посвященной в таинства церкви, но мне кажется, само провидение послало тебя в наш приход. Ты можешь оказать православной церкви неоценимую услугу. — Он помедлил некоторое время и спросил:—Ты читала библию, дочь моя. Всю ли ты прочла ее?

— Ой, нет! — испуганно прошептала Мария Ильинична. — Новый завет весь читала, и не один раз, а в Ветхом... Очень там много... Всего-то и не было у бабушки.

— Хорошо, хорошо, дочь моя. Я тебе верю.

Он пристально посмотрел на нее, словно не решаясь сказать что-то.

— Я хочу сказать, что тебе, дитя мое, может быть, придется покинуть работу. Церковь и приход наш полностью возьмут на себя всю заботу о тебе... Мы накормим, напоим, оденем, а если заслужишь—и угол свой будешь иметь.

Мария Ильинична едва сдержала крик — так были неожиданны для нее эти слова. Покинуть работу! А что ее удерживает? У нее руки отсохли от лопаты. Разнорабочая! Что она, собственно, теряет? Сколько раз ей предлагали поехать на курсы, получить какую-нибудь определенную специальность, но она или отказывалась, или же ее после двух-трех месяцев учебы «отсеивали» за неуспеваемость. Ни к чему у нее не лежала душа, поэтому и не хотела учиться.

Конечно, она согласна.

— А что мне делать, батюшка?

— Тут кое-что понять нужно. Условия жизни церкви сейчас совсем не те, что были в старину. Приходится приспосабливаться, крутиться, находить всякие предлоги, чтобы своего добиваться. Всякие болтуны треплют имя богово, поносят его, кощунствуют. Но мы тоже не лыком шиты.

Вера христова, религия,— с воодушевлением продолжал Проханов, видя, как сияют глаза молодой собеседницы, — сдерживает человека, укрепляет нравственность, смиряет порывы. Ты, наверное, слышала об атомах и всяких водородных бомбах. Вот тебе пример, куда может привести наука, если она не сдерживается религией. Будь в силе христово слово — никогда бы церковь не допустила развития физики, химии, биологии и прочих бо-

гопротивных наук. Тебе, может быть, не очень все это понятно, но ты не печалься, я тебе потом, постепенно растолкую. Я вижу, ты понятливая и слова мои доходят до твоей души, чему я, дочь моя, несказанно рад.

Мария Ильинична зарделась от похвалы, хотя она не очень-то понимала, о чем говорит батюшка и, главное, чего он хочет.

— Так вот, слово богово должно доходить до сердца простого человека. А твоя, Марьюшка, задача будет в том заключаться, чтобы ты еще раз прочла все книги Нового завета и хотя бы Бытие из Ветхого и стала бы помогать мне в распространении мудрости христовой среди паствы, в народе и где придется. У тебя светлая головка, ты молодая, привлекательная, к тебе должны тянуться, прислушиваться. Надо звать к себе народ, а не дожидаться, пока он придет к нам. Если мы это сделаем, милость патриаршая вознесет нас так высоко, что наши усилия сторицей окупятся. Ты понимаешь, Марьюшка, о чем я толкую?

— Не-ет... — честно призналась она. — Какая милость, от кого?

— Конечно, тебе сразу трудно понять. Словом, из простого настоятеля я могу стать в самое ближайшее время при епископе, при архиерее. А уж коль это случится, — я осыплю тебя своею милостью. Пусть тебе порукой будет святой крест.— Проханов повернулся к иконостасу и осенил себя широким крестом.

— Ой, да что вы, батюшка! И ничего мне не нужно, кроме здоровья. Я так настрадалась...

— Ох, глупышка ты. Здоровье твое мы с божьей помощью в один год подправим, о том, голуба моя, не печалься. Только иди за мной, слушайся меня, выполняй по совести все, о чем я тебя буду просить, — и ты сама увидишь, какая благодать снизойдет на тебя. Ты теперь понимаешь, Марьюшка, что я хочу и о чем прошу?

— Понимаю.

— Уйдешь ли ты с работы?

— Хоть завтра же.

— Завтра не следует. Надо все по-умному сделать. Два-три дня поработай, приболей маненько...

— Как приболеть? Я и так мучусь.

— Ну, ну, не волнуйся. Я растолкую, пошлю тебя к верным людям. Они тебе дадут освобождение, бюллетень,

другими словами, а потом ты подашь заявление: в связи с тем-то и с тем-то прошу меня уволить.

— Хорошо, батюшка. Я так и сделаю.

— Вот и славно. А чтобы никакого у тебя не было страху, прими эту нашу христианскую помощь.

Священник поднял скатерть и достал из-под нее несколько сотенных бумажек.

Мария Ильинична в испуге замахала руками, когда он протянул ей деньги.

— Что вы, что вы, батюшка! Разве могу я...

— Можешь, можешь, дочь моя. Бери. Это святые деньги. — Проханов три раза окрестил их. — Они на пользу святой церкви пойдут. Господу богу служить будут, потому и святые. Бери и впредь не заставляй себя уговаривать. Есть-пить надо, стало быть, о чем разговор. — И он властным жестом вложил ей в руки деньги.

— Но, батюшка... Как же я... как мне быть? С чего я начну? — Мария Ильинична говорила и с растерянным видом озиралась.

Отец Василий добродушно рассмеялся. Он встал, привлек ее к себе и снова, как в церкви, поцеловал в голову.

— Прежде спрячь деньги. Вот так. А теперь иди за мной. Бери ковер за тот конец, отодвигай в сторону. Хорошо. Я тебе буду давать книги, ты их прочтешь и мне потом расскажешь. У тебя как с памятью?

— Не жаловалась, батюшка. Только вот когда прибаливать стала, ослабела память немного.

— Ничего, Марьюшка. Это все поправимо.

Отец Василий обнял ее за плечи, и они вошли в следующую комнату, которую освещало лишь одно окно, выходившее во двор. Но в комнате было достаточно света для того, чтобы рассмотреть полки с книгами. Их было очень много. Стеллажи от пола до потолка были забиты книгами.

— Это все надо прочесть? — ужаснулась она.

Отец Василий весело рассмеялся.

— Что ты, что ты, Марьюшка! Тут почти все о светских делах написанные. Все это беллетристика.

— Романы?

— Романы. И кое-какие другие сочинения.

— И вы их все прочли?

— А как же. Надо же знать, что на свете делается. Если не будешь знать — как богу служить? А священные

книги у меня стоят в особом месте. Вот здесь, — батюшка откинул в сторону занавеску и указал глазами на стеллажи, уставленные книгами в черных и коричневых переплетах. — Вот эти и будем читать.

Глава третья

ЛОЖЬ ИЛИ КОЗНИ ДЬЯВОЛА?

После того памятного воскресенья жизнь Марии Ильиничны круто изменилась. Через две недели, как и предписывал Проханов, она, не закрывая бюллетеня, подала заявление об уходе. Впрочем, никто и не думал чинить ей препятствия. Никто даже не поинтересовался, почему она уходит, куда, что будет делать дальше. На ее заявлении молча была поставлена резолюция «Не возражаю», молча подписан приказ, молча расписывались в «бегунке» и так же молча возвратили трудовую книжку.

Все! Была рабочей, стала вольной птицей. Лети на все четыре стороны. Мария Ильинична прошла проходную, сделала несколько шагов от ворот и вдруг разрыдалась. Хоть бы одно слово кто сказал. Она еще колебалась, раздумывала. Поговори с ней начальник цеха, расспроси он ее о жизни, узнай причину ухода, посочувствуй ей — и она бы могла остаться. К тому же завод строил большой многоквартирный дом, где Марии Ильиничне была обещана комната.

Обидно. Было очень обидно. За семнадцать лет труда на заводе теплого слова не заслужила. Что же она, мошка незримая?

Мария Ильинична шла по улице, закрыв лицо руками, спотыкалась и плакала. Потом где-то сидела и тоже плакала. С заводом все было покончено.

Мария Ильинична взялась за церковные книги. Она с жадностью прочла первое из евангелий Нового завета от Матфея. Нового для себя она в сущности ничего не почерпнула, все это было и раньше ей знакомо, но сейчас, как это ни странно, она получала удовольствие от чтения.

Пришлось много раз обращаться за помощью к священнику.

Он, кажется, души в ней не чаял. На квартиру к ней зачастили незнакомые старушки с полными корзинами «земных плодов, даруемых всевышним». Старушки были

словоохотливы, ласковы, любопытны, но узнать им ничего не удавалось — Проханов самым строжайшим образом запретил ей делиться об их уговоре с кем бы то ни было. Старушки уходили не солоно хлебавши, что не мешало им приходить снова и снова начинать расспросы.

Священник довольно часто беседовал с ней о прочитанном. Мария Ильинична сначала смущалась и терялась во время этих импровизированных экзаменов, но под воздействием ласковых взглядов, одобряющих улыбок, нежных отеческих увещаний и наставлений довольно быстро усвоила прочитанное.

Она еще в школе отличалась хорошей памятью. Стихи заучивала без всякого труда. Прочтет три раза стихотворение — и без единой ошибки повторит его наизусть. «Феноменально!» — восклицал преподаватель литературы, седенький старичок с трудным и смешным именем Авраам Дормидонтович.

Но Маша обладала неровным, порывистым характером. Впечатлительная, нервозная, она жила настроением, поэтому неровными были у нее и оценки. Она получала или пятерки, или двойки.

Все это и наложило отпечаток на знания и воспитание Марии. Обладая отличными способностями, она получила далеко не блестящее свидетельство об окончании средней школы.

Попади Маша к талантливым и внимательным педагогам, из нее в конечном счете мог бы получиться специалист какой-либо отрасли хозяйства, науки или культуры. Все могло быть. Но, к сожалению, Маше не встретился такой педагог.

А тут еще слишком рано пришла любовь. Любовь мучительная, сжигающая. Эта любовь подчинила себе всю ее последующую жизнь. Маша пыталась поступить на работу в ту же школу, которую только что окончила, чтобы быть вместе с Андреем Николаевичем, в которого она влюбилась еще в девятом классе. Маша просила любую работу, но ей отказали. Тогда-то она и бросилась в учительский институт.

И вдруг случилось непредвиденное. Андрей Николаевич ушел из ее родной школы. Маша была в курсе всей его жизни, потому что зорко следила за ним. Андрей Николаевич не ладил с женой, о чем знали и ученики и учителя. Последняя их ссора заставила Андрея Николае-

вича добиться перевода в другое село, где к тому же оказалось вакантное место учителя первого класса.

Маша тотчас же перешла на заочное отделение и добилась назначения в ту же школу.

Потом они уже вместе переехали в город Петровск, куда раньше уезжали для тайных встреч, чтобы не привлекать к себе взоры любопытных.

Так сложилась жизнь Марии Ильиничны. Неровное воспитание в школе и дома, ранняя любовь, война, гибель любимого человека, шараханье в библейскую премудрость, вызов богу, жизнь с опустошенной душой и, наконец, болезнь — все это в конце концов и создало из Марии Ильиничны то, что она собой представляла сейчас.

Удивительными были ощущения Марии Ильиничны. Будто все тридцать восемь прожитых ею лет она копила энергию, чтобы истратить ее именно сейчас. Теперь она не просто читала, но, по совету священника, кое-что выписывала в толстую тетрадь. Мария Ильинична читала с жадностью, самозабвенно отдаваясь новому для нее делу. Она даже поздоровела после того, как пошла по пути, указанному ей Прохановым. Мария Ильинична спала как убитая, без сновидений, без внезапных пробуждений, без кошмаров, доводивших раньше ее до исступления. У нее появился аппетит, которого она, пожалуй, не знала даже в голодные военные годы. Корзины с провизией, посылаемые священником, опустошались молниеносно. Заметив, как посвежела и округлилась его подопечная, он добродушно посмеивался:

— А я-то, старый пень, начал подумывать: не заневестилась ли Марьюшка, не завела ли она сердцееда?

Мария Ильинична в ответ только рассмеялась: настолько потешными показались ей эти слова.

Она была счастлива оттого, что болезнь ее стала исчезать. Мария Ильинична теперь меньше сталкивалась с людьми, меньше раздражалась, много читала в тихой комнате или в крошечном садике хозяйки. А когда надоедало находиться дома, брала с собою фолиант в дорогом кожаном переплете, тетрадь, карандаш и уходила в лес.

Быть в лесу в летний жаркий день — удивительное удовольствие. Такого наслаждения она давно не знала.

Она избегала проезжих дорог, любила ходить полем или по небольшой полоске залежей, неудобной для пахоты или оставленной для пастбища. Шла она обычно медленно, дышала всей грудью, смотрела по сторонам и насмотреться не могла. Неужто всего этого раньше не было?

Мария Ильинична будто заново открывала мир.

Вот стоит одинокое дерево с обвислыми от жары листьями; они были грустные, вялые и почему-то походили на уши дворняжки. Мария Ильинична проходила сто-двести метров, оглядывалась, и вдруг дерево прыгало в небо и висело в воздухе, испуганно вздрагивая вместе с полоской земли, как будто боялось упасть в синюю пропасть.

И как-то не сразу приходило в голову: да это же марево! А воздух между тем дрожал, нежная зыбь крошечных волн бежала и бежала куда-то в небо и незаметно таяла на недосягаемой глазу высоте.

А то вдруг полыхнет слева золотая полоса, и такая яркая, жгучая, что в первую секунду Мария Ильинична зажмуривала глаза, с недоумением спрашивала себя: «Что это?» — и всматривалась в искрящуюся солнечными брызгами полоску, волновалась, не понимая, откуда взялась эта дрожащая в земном курении позолота. А потом сама же смеялась над собой: «Подсолнечник!.. Надо же богу подарить земле такое чудное украшение!»

Мария Ильинична глаз не могла оторвать от сверкающей игры красок. Мысли становились ленивыми, на солнце ее размаривало, но не настолько, чтобы подавить в ней чувство удивления окружающим миром.

И сама не замечала, как начинала улыбаться, особенно когда легкий ветерок обвевал ее разгоряченное тело. Хорошо! Мария Ильинична мурлыкала себе под нос песенку без слов, потому что все песни она давным-давно перезабыла. Довольно часто случалось, что она вдруг припускалась бегом в лес. В чащу не углублялась, устраивалась где-нибудь на опушке и, с немалым трудом оторвав себя от сказки, которую рисовал ей лес, погружалась в другую.

А другая сказка обостряла все ее чувства, заставляла забыть об окружающем ее чудесном мире, собирала в единый комок и волю, и страсть, и особенно внимание. С первыми абзацами Мария Ильинична, кажется, сливалась с пожелтевшей древней книгой, из памяти ее немед-

ленно улетучивалось все, чем она только что жила, перед чем восхищенно замирала.

Мария Ильинична стала больше задумываться над прочитанным, пыталась представить все это в картинах, причем в картинах реальных, привычных ее воображению, ее жизни. И стоило вот так подойти к содержанию этих роскошных фолиантов, как она чувствовала: что-то было не так, что-то не укладывалось в ее сознании.

Это неясное «что-то» рождало сомнение, заставляло проверять прочитанное, сопоставлять с тем, что говорилось раньше, раздумывать, искать, по многу раз спрашивать и переспрашивать своего наставника. А тот отвечал сначала с улыбкой на устах, потом серьезно и, наконец, уже с тревогой.

А когда она уже усвоила не только евангелие Нового завета, но и многое из Ветхого завета, Мария Ильинична пришла к такому выводу, который привел ее в трепет и вызвал ужас.

Она читала евангелие от Луки о детстве Иисуса Христа. По этой книге, первые дни своей жизни Иисус провел в Вифлееме.

Мария Ильинична прочла и пожала плечами. Память у нее что ли сдает? В евангелии от Матфея говорится совсем другое: он провел свое детство в Египте.

«Как же так? — дивилась Мария Ильинична.— У Луки нет даже упоминания о Египте... Вот же... — она сравнила текст от Луки и решила наконец: — Наверно, неправильно записала».

Так как евангелие от Матфея она уже возвратила священнику, Мария Ильинична поспешила к нему на дом и, не скрывая волнения, попросила снова дать ей книгу.

— Зачем тебе, Марьюшка? — поинтересовался он.

Она смутилась, но решила пока не говорить о своих сомнениях.

— Если можно, батюшка... Я проверю. Подзабыла несколько мест...

— Бери, бери, голуба моя. На второй полке снизу.

Мария Ильинична схватила книгу и стала торопливо разыскивать нужное место. Наконец нашла, впилась глазами.

Нет, она не ошиблась. Действительно, по Матфею свое детство Иисус провел в Египте.

— Чепуха какая-то! — вслух выразила она сомнение.

— О чем ты, Марьюшка? — донесся голос из другой комнаты.

— Непонятно!

Она стремительным шагом направилась из библиотеки к креслу, в котором сидел ее учитель.

— Отец Василий! Не знаю, что думать...

— Марьюшка! Я просил не звать меня отцом Василием. В церкви так меня именуют. В церкви. А здесь я дома. И ты сама, душа моя, стала почти родной в этих стенах. Для тебя я Василий Григорьич. Не надо обижать меня, голуба моя.

— Простите, Василий Григорьич, — рассеянно ответила она. — Не разберусь я никак. Послушайте. Вот здесь — от Матфея, а тут—от Луки. У Матфея получается, что Иисус детство провел в Египте, у Луки написано: бегства в Египет не было. Лука пишет, что Иисус жил в Вифлееме, потом его перенесли в Иерусалим, откуда он вместе с родителями возвратился... в Назарет. Не получается что-то... Или я не поняла?

Проханов слушал ее с ошеломленным видом. Все, что угодно, но он никак не мог предполагать, что у пригретой им женщины, которую он принял за полуграмотного человека, окажется такой пытливый ум.

Эти сомнения могут увести слишком далеко. Надо немедленно предпринимать решительные меры, если он не хочет потерять ее как помощника.

— Ай да Марьюшка! — с деланой веселостью воскликнул он. — Все-таки усмотрела кочки... Иди-ка сюда, надо поговорить. Вот сюда садись, рядышком. И слушай. Библия, Марьюшка, создавалась как раз теми, от имени которых ведется речь. Это истина. И тут никак нельзя сомневаться, если не хочешь взять тяжкий грех на свою душу. Но ты вдумайся сама. Мог ли тот же Лука написать миллионы, а то и миллиарды книг, чтобы обеспечить ими все поколения?

— Не мог, — согласилась Мария Ильинична.

— А если не мог, то множество поколений из века в век переписывали евангелия и ошибались.

— Как же им бог-то не подсказал: не ошибайтесь?

— Я не могу тебе ответить, почему всевышний сделал так, а не эдак. На то он и бог, чтобы делать все по своему разумению. Я только могу предполагать, что грехи люд-

ские, непослушание вынудили всевышнего отвернуть от них свой лик.

— Лик-то бог мог отвернуть, но ведь он заранее знал, что будут делать переписчики.

На какой-то миг Проханов пришел в замешательство. Что ответить этой остроглазой и остроязыкой ученице? Но долго молчать нельзя, опасно. И он ответил первое, что ему пришло в голову.

— Я тебе сказал, Марьюшка, что могу только предполагать. Может быть, я и ошибаюсь. Вполне возможно, что всевышний наказал людей. Возможно, у господа бога были и другие намерения. Откуда мне знать, червяку земному?

— Но вы же наместник бога на земле!

— Наместник—это вроде губернатора. А какой же я губернатор? Простой слуга бога. Знаю азы и тем обхожусь. Но тебе я хочу дать знаний куда больше, чем имею сам. Помнишь пословицу: плох тот учитель, которого не обгонит ученик. А я не хочу быть плохим учителем. Ты мне веришь, Марьюшка?

— Ну, конечно, верю. — Она улыбнулась. — Но все-таки мне непонятно, почему по-разному писали Матфей и Лука.

— Опять ты за свое, дочь моя? — уже с некоторой досадой отозвался отец Василий. — И Матфей, и Лука писали одно и то же; путали переписчики. А почему они путали — одному богу известно. Каждый семинарист на этих местах спотыкается, хочет узнать, отчего и почему, когда он молод. А когда проходят годы и появляется мудрость, он без сомнений и ропота верит в предначертанное всевышним. Верит и тем счастлив бывает, как счастлив, к примеру, я. По тому же пути я и тебе советую идти. Верь, Марьюшка, и будешь всю жизнь в довольстве проживать. Ты еще много можешь встретить всяких кочек в священном писании. Но подосадуй на червяков, а слову божьему верь.

На том и закончилась их беседа. Она ни в какой мере не убедила Марию Ильиничну. Как же это так? Бог наперед все знает, переписчики занимаются в сущности святым делом, от которого зависит и вера, и спокойствие людей, и многое другое, что не так-то легко выразить

словами, а всевышний видит ошибку и не обращает внимания. Почему? Зачем это ему? Нет, здесь что-то не то.

Отец Василий лишь в одном оказался прав: «кочек» в священном писании было очень и очень много. На их выписки ушли две толстые тетради. Она даже не знала, зачем делает это, но все-таки вносила в тетрадь все, в чем сомневалась. Она же готовится нести слово божье людям! А как она понесет его, если сама сомневается?

...И снова Мария Ильинична взялась за фолианты, записи в тетради все росли и росли.

В евангелии от Матфея говорилось, что от Авраама до Иисуса прошло сорок два поколения. Между тем в евангелии от Луки родословная Иисуса была совсем другая. Лука утверждал, что от Авраама до Иисуса прошло уже пятьдесят шесть поколений. Только отец Иисуса, плотник Иосиф, в обоих писаниях именуется одинаково.

Остальные предки Иисуса разные.

У Матфея: Иаков, Матфан, Елеазар, Елиуд, Ахим, Садон, Азор, Елиаким. Всего сорок два, по числу поколений. У Луки же: Илия, Матфат, Левия, Мелхия, Ианнай, Иосиф, Маттафия...

«Какие же все-таки настоящие предки Иисуса?» — записывала в тетради Мария Ильинична.

По учению Матфея и Марка, Иисуса крестил Иоанн Креститель, а по Луке выходит, что в то время, когда крестили Иисуса, Иоанн сидел в тюрьме...

Матфей, Лука и Марк утверждали, что вся жизнь Иисуса до его проповеди прошла в Галилее, а по евангелию Иоанна выходит, что Христос жил в Иерусалиме. Опять, выходит, несоответствие. Но почему так?

Не совсем правдоподобной оказалась история с предательством Иисуса Христа Иудой.

Мария Ильинична рассуждала просто. Если понадобились услуги Иуды, который указал врагам на Христа, то выходит, что Иисуса никто не знал. Но Иисус ранее путешествовал по Палестине, совершенно открыто и открыто проповедовал свое учение. За несколько дней до своего ареста Иисус с триумфом въехал в Иерусалим. Народ, как рассказывается в евангелии, с восторгом принял его. Ясно, что каждый из встречающих должен был хорошо знать Христа в лицо. Но Иисуса почему-то знал лишь один Иуда.

Путаница в жизнеописании Иисуса Христа наблюдалась не только в разных евангелиях, но даже в одном и том же. Например, Лука противоречиво описывает арест и казнь Христа. Народ, присутствовавший при казни, вначале был на стороне Христа, поэтому враги его, первосвященники и книжники, хотели расправиться с Иисусом тайно. Потом выясняется, что народ ненавидит Христа. Пилату, который намеревается спасти арестованного, не удается выполнить свои планы, потому что народ кричал: «Смерть ему!», «Распни его!»

Но вот Иисус Христос воскрес из мертвых. Куда он направляется? В евангелии Иоанна сказано: Иисус прежде всего явился Марии Магдалине, а потом уже апостолам. А в евангелии от Луки картина другая: Иисус явился двум неизвестным и лишь после этого — апостолам. Совсем иначе говорится об этом в евангелии от Марка. Иисус первоначально является Марии Магдалине, затем — двум апостолам, а после этого—всем другим апостолам. У Матфея же сказано: Иисус после воскресения из мертвых явился не только Марии Магдалине, а какой-то другой Марии.

Мария Ильинична сделала еще одну запись:

«Было ли вообще воскресение Иисуса Христа из мертвых?»

Вскоре очередь дошла и до Ветхого завета. Но и здесь нелепостей оказалось не меньше.

Из книги Бытия в первой главе следовало, что бог создал мужчину и женщину одновременно, но уже во второй главе той же книги утверждается, что бог сотворил сначала Адама, а потом Еву.

Когда Мария Ильинична прочла о всемирном потопе, она снова взялась за карандаш.

«Сколько же действительно длился потоп? В одном месте говорится — сорок дней, а в другом — сто пятьдесят... Ничего себе ошибка!»

...Одной тетради не хватило. Мария Ильинична начала вторую. Наконец выписывать надоело.

Свои записи она кончила вопросом: видел ли вообще бога кто-нибудь? В евангелии от Иоанна в Новом завете говорилось: «Бога не видел никто никогда». И тут же она сделала выписку из Ветхого завета. Праотец Иаков утверждал: «Я видел бога лицом к лицу».

«Чушь и враки, — с возмущением писала она.—А я— дура, что верила всему. Бога видели — бога не видели. Ерунда! Все ерунда! И как я раньше всего этого не замечала?»

«...А может, действительно во всей этой путанице — козни дьявола? Он ведь и на самом деле мог помешать переписчикам библии?.. Ох, если бы знать правду!»

Глава четвертая

...И РОДИЛОСЬ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Немало дней прошло, пока Мария Ильинична решилась снова заговорить с Прохановым.

Два дня она никуда не выходила. Душу ее сковало смятение. Она чувствовала, что чтение библии отнимает у нее веру в бога, ту веру, которая дала ей спокойствие.

У Марии Ильиничны слишком мало было радостей, чтобы она нашла в себе силы лишиться этого доброго спокойствия и ласкового внимания к себе.

Проханов купил пишущую машинку и пригласил из областного центра преподавателя, который за один месяц обучил Марию Ильиничну довольно сносно печатать на ней. Большой скорости, правда, она не достигла, но при усердии это дело поправимое.

— Молодец, Марьюшка. Ты просто клад. Я, право же... Вот что я придумал. Человек я, Марьюшка, бездетный, родных никого не осталось, так что родней тебя нет у меня никого на свете. Если не будешь противиться, построю тебе домик...

У Марии Ильиничны перехватило дыхание. Неужто это правда? У нее будет собственный угол? Нет, она не могла этому поверить.

— Ну, что... что ты на меня так смотришь? Человек я состоятельный, чего уж там кривить душой. Построить дом — для меня сущая пустяковина. Так что и условимся на том... Только вот где построить? — он задумчиво стал оглаживать седую бороду. — Здесь ли, в Петровске? А может, в областном городе? А если хочешь — в деревне. В тихом селе, где-нибудь у тихой речки, около лесочка... Ах, как это славно! И так хорошо для тебя!

Мария Ильинична бросилась к своему наставнику, приникла головой к его груди и заплакала тихими счастливыми слезами.

Он сначала стоял, боясь пошевелиться, а потом положил щеку на ее голову и стал тихонько гладить ее плечо.

За три с половиной месяца вольготной, сытой жизни она посвежела, помолодела и просто расцвела на глазах. Мария Ильинична много раз замечала, что священник любуется ею совсем не как дочерью и своей ученицей. И это ей нравилось, хотя ей и в голову не могло прийти, что священник, в его возрасте, еще не равнодушен к женщинам. Ему, наверное, уже все шестьдесят, а может, и больше.

Долго они так стояли молча, думая каждый о своем.

— Ох, батюшка! Василий Григорьич! — она улыбнулась сквозь слезы. — Я даже поверить не могу, что не буду вечно жить у чужих людей. Признаюсь вам: очень мне было боязно уходить с завода. Мне ведь комнату обещали в новом доме. Осенью его построят.

— Глупенькая, я тебе не осенью, через два месяца поставлю дом. Хоть сейчас поедем нанимать плотников. У меня есть на примете одна маленькая артель. Человек десять. Пьют напропалую, но делают добротно. Тысяч за тридцать, от силы тридцать пять они в деревне отстроят домище не хуже моего. Хочешь такой дом?

Мария Ильинична еще крепче прильнула к груди священника, и слезы брызнули из глаз ее с новой силой.

— Что ж ты плачешь? Говори, хочешь дом или нет?

— Хочу, Василий Григорьич. Вы же сами знаете, каково мне.

— Вот так бы и давно. — Проханов согнал улыбку с губ. — Кончай скорее Ветхий завет, и поедем с тобой в одно славное местечко. Речка, лес, железная дорога рядом, станция близко. Уж такое место — залюбуешься. Хуторок, правда, небольшой, но зато в пяти верстах от города. Нет, нет, не от Петровска. Хочу, Марьюшка, чтобы ты поближе от меня жила. Я-то в епархии буду. Здесь задержусь ненадолго, как-нибудь переберусь с божьей помощью и... — он запнулся, но тут же продолжал: — и там, голуба моя, с тобой рядком будем жить.

— А как же мне... — Мария Ильинична хотела спросить, как она может работать в маленьком хуторе и что станет делать, но не успела.

— Хочешь спросить, как ты можешь обставить дом? Не твоя забота. Все сделаю. Кое-что присмотрел в городе. Епископ приглашал меня в епархию, а я потом ходил по магазинам. Мебелишка, правда, дешевенькая, но я так прикинул: тысчонок за пятнадцать-двадцать кое-что достать можно. Ты уж не тревожься.

У Марии Ильиничны голова кружилась от этих цифр. Там тридцать, тут двадцать. Откуда у него столько денег? Даже страшно подумать.

Но выразить все это вслух она не могла — язык не поворачивался. И не верилось во все это. Чего это ради он станет на нее тратиться?

А Проханов будто подслушал ее мысли.

— Сомневаешься? Думаешь, обманывает, старый пень, соблазняет, а сам, когда до дела дойдет, в кусты упрячется? Так ведь, а?

Мария Ильинична кивнула головой, призналась:

— Не верю. И все-таки очень мне хорошо даже услышать об этом.

Неподдельная искренность Марии Ильиничны тронула Проханова. Он молча повернулся, устремился в библиотеку и через минуту возвратился с толстым свертком, обернутым хромовой кожей и перевязанным крепким шпагатом.

— Вот здесь, голуба моя, ровно на полсотни тысяч золотого займа. Не пугайся. Я не мальчик и шутить не люблю, раз уж сам начал разговор.

Он шагнул к Марии Ильиничне и протянул ей сверток.

— Бери, Марьюшка. И сама ими распорядись.

Мария Ильинична подняла руки, будто защищаясь от денег.

— Нет, нет! Что вы! Я не могу. Мне не нужно. Я с ума сойду от таких денег.

— И все же они твои.

— Не надо! Ради бога не надо! Я боюсь...

У Марии Ильиничны вдруг подломились колени, и она рухнула на пол. Она забилась в нервной дрожи, и с ней случился припадок. Когда она пришла в себя, Проханов сидел рядом на диване, улыбался и говорил:

— Успокойся, дитя мое. Я взволновал тебя. Не стану больше, прости меня бога ради. Но все же помни, Марьюшка, деньги твои. Недельки через две поедем к плотникам. Обязательно поедем. Ты уж доверься мне...

Обо всем этом Мария Ильинична вспоминала, метаясь по комнате. Что делать? Как она может помогать отцу Василию, если теряет веру в бога? Евангелисты врут! Все ложь, это она чувствовала сердцем, понимала умом, проверила по священному писанию. Библия —это сказка для взрослых.

И что хотел от нее отец Василий? Какая ему помощь нужна? Почему он так долго заставляет читать священное писание? Попа из нее не сделаешь, в семинарию не пошлешь. Женщина же... Проповедницей сделать ее хочет? Что же она, по деревням должна ходить?

Мария Ильинична решила наконец выяснить планы Проханова. Зная, что сегодня он свободен и днем и вечером, она пошла к нему домой. Когда Мария Ильинична вошла на крыльцо, дверь оказалась закрытой. Этого еще ни разу не случалось.

«Вот так история!» — удивилась она и громко постучала.

Проханов долго не выходил. Она снова принялась стучать, и вдруг дверь неслышно открылась.

— Никак Марьюшка! — обрадовался он. — А у меня гости, голуба моя. И по большому делу. Рад тебя видеть, нужна ты мне позарез, но если можно — через часок, — голос был мягкий, говорил он, явно извиняясь, что смутило Марию Ильиничну. — Уж ты, Марьюшка, не обидься. Ровно через час приходи ко мне. Когда немного стемнеет.

— Хорошо, хорошо, батюшка, — заторопилась Мария Ильинична. — Я могу и завтра.

— Ну, что ты! Через час приходи.

Мария Ильинична явилась не через час, а минут через тридцать пять-сорок. Ее разбирало любопытство: кто эти таинственные гости? Она уселась под развесистой ракитой так, чтобы ее не заметили.

Когда сумрак вместе с неосевшей за день пылью стал заволакивать улицу, Мария Ильинична услышала гул машин. Мимо нее прошли две «волги» и ЗИМ и остановились около дома священника.

Она увидела, как стали выходить какие-то люди и торопливо усаживаться в машины. Проханов подскочил к ЗИМу и припал губами к чьей-то протянутой руке.

Но вот машина резко тронулась. Проханов побежал вслед за ней, вытянув руки, будто у него отняли что-то

очень дорогое. Мария Ильинична даже привстала, наблюдая за этой сценой.

Священник наконец остановился, поднял руку, приветливо помахал вслед, хотя машины уже скрылись в клубах пыли. Потом он повернулся и тихо побрел к дому. У крыльца он остановился, подумал о чем-то и, полуобернувшись в ее сторону, вполголоса позвал:

— Марьюшка! Иди в дом.

Мария Ильинична вспыхнула. Значит, он видел ее и знал, что она здесь?

Она вышла из своего укрытия и, не поднимая глаз, пошла на зов.

Они прошли в гостиную. Мария Ильинична вошла и, удивленная, остановилась. Почти полкомнаты занимали два стола, накрытые для гостей. Она пересчитала стулья. Одиннадцать. Стало быть, десять человек гостили у батюшки.

Проханов немного задержался и вошел в комнату оживленный, потирая руки от удовольствия.

— Ну, Марьюшка, дела наши поправляются. Просто расчудесные у нас с тобой дела. Садись-ка, драгоценная, сюда вот. Рядком, рядком, да поговорим ладком. А может, спервоначала-то перекусим малость? А то я все бегал, прислуживал. Своих помощниц отослал, чтоб уши не развешивали: зело любопытны. Как ты на сей счет, голуба моя?

Он говорил, а сам уверенно работал руками. Поставил перед Марией Ильиничной пустую тарелку, на нее положил ветчины, колбасы, огурчиков.

— Может, по шкалику употребим, а? На радостях-то... Прости, голуба моя, не ждал я тебя сегодня. Винишка никакого. Выпей водочки. Са-амую малость. Пройдет, пожалуй. Я только рюмочку, вот такусенькую? Ну, вот и славненько. А я уж, прости старика, привычный наполню — граненый. Возражать не станешь? Ну, рад-радехонек... А теперь... Чтоб счастья нам побольше да карман потолще!

Проханов засмеялся неожиданно тоненьким голосом, хотя обладал отличным, хорошо отшлифованным баритоном. На службе отшлифовал. Он выпил стакан одним глотком, приложил палец к одной ноздре, потом к другой, крякнул от удовольствия и проводил в рот целый помидор.

— А ты чего ждешь? Пей, пей, радость моя. Есть за что пить.

— А за что, Василий Григорьич? Вы только говорите, намекаете, а я ничего не знаю...

— Всему свое время, Марьюшка. Все объясню. Все чин по чину. Спервоначала выпей.

Мария Ильинична выпила. Выпила легко, с наслаждением, хотя водки не любила. Но сейчас она была в возбужденном состоянии и, закусив с аппетитом, почувствовала себя на редкость хорошо. Скованность, которая появлялась у нее в этом доме, совсем исчезла. Мария Ильинична весело сказала:

— Василий Григорьич! Выкладывайте ваши новости, а то я лопну от нетерпения.

— Вот это мне нравится, Марьюшка. Новости и в самом деле отличные. Знаешь, кто был у меня в гостях? Нет, конечно. Сам преосвященный пожаловал.— Он поднял палец. — Был и еще кое-кто.

— Епископ?!

Мария Ильинична даже подумать не могла, чтобы епископ разъезжал в ЗИМах. Да еще такая свита...

— Удивляешься?— торжествовал Проханов.— И мы, драгоценная, не лыком шиты. Кое-кто из патриархии. Как видишь, и мы кое-что значим, когда нужна высокая политика. Не понимаешь? Не беда, потом поймешь. Давай-ка, Марьюшка, еще по маленькой, а? Выпила ты с охотой, может и стопочку одюжишь? Не станешь возражать? Вот и славненько. И давно бы так...

Он встал, поднял свой стакан, налитый, как и прошлый раз, до краев, и торжественно провозгласил:

— А этот мой тост, голуба моя, я предлагаю выпить за нашу бомбу. Мы с тобой, голуба моя, заставим их побегать!..

Глаза его гневно сверкнули, и это встревожило Марию Ильиничну.

— Какую бомбу? Кому? За что?

— Кому, спрашиваешь? Нехристям, болтунам всяким, которые поганят грязными своими устами драгоценное имя всевышнего.

— Но зачем же бомбу?! — испуганно воскликнула Мария Ильинична.

Священник повернулся к ней всем корпусом.

— Голуба моя! Никак в разбойники меня зачисляешь? Бомба наша другого свойства. Са-авсем другого свойства! Но я потом поясню. А сейчас все-таки выпьем.

— Пожалуй... — повеселела Мария Ильинична.

— Ну, спасибо. Уважила старика. Выпьем.

Они выпили дружно, почти залпом. Снова основательно закусили. Потом опять выпили и снова навалились на сытную закуску.

Себе на удивление, Мария Ильинична не хмелела, хорошо соображала и отдавала отчет своим поступкам. Она видела, что отец Василий волнуется, к чему-то готовится. Она ждала и дождалась.

Было около полуночи, когда Проханов перестал шутить.

— Пора, Марьюшка, и за дело приниматься. Только прошу тебя, не опозорь мою седую голову перед почтенным старцем, преосвященным. Дай мне слово, Марьюшка, что исполнишь до конца мою просьбу.

— Но какую?! Вдруг что-нибудь страшное?

— Дело-то в общем простое. Мы тут посоветовались и решили просить тебя написать в какую-нибудь газету.

— В газету?!

— Ну да.

— Но я не знаю, что писать... Никогда не писала в газету.

Язык ее становился все тяжелее. И мысли путались.

— Это не беда, Марьюшка, был бы гнев в сердце. Защищать надо веру, грудью встать за нее, вот что нужно.—Он бросил быстрый взгляд на свою ученицу и улыбнулся. — Ах, голуба ты моя! Моргает глазенками... Давай-ка мы закусим, что ли? Или нет. По маленькой еще, а? Хочешь? А потом икоркой, икорочкой закусим. Ух, скажу тебе, распрелестную икорку я привез из Москвы.— Он ковырнул вилкой в глиняном бочонке, подцепил на нее зернистой икры и с веселой улыбкой поднес вилку ко рту Марии Ильиничны.

— А ну-ка ротик... Шире, шире. Вот так. Ну, как икорка? Вот то-то и оно... Московская! При такой закуске просто грех не выпить. Нет, нет! По малюсенькой. По самой, самой махонькой. За успех нашего с тобой дела, Марьюшка! За славу православной церкви! За благопо-

лучие ее и процветание! Ну, с богом... А теперь скорей, скорей икорочки. Вот как у нас! Хлебушка? Ну, этого добра у нас полно. Завались. А ну еще икорки. Хоп. И наших нет.

Марии Ильиничне от этой добродушной болтовни опять стало очень, очень хорошо. Правда, она почему-то никак не могла попасть вилкой в помидор... Помидор этот все время ускользал от нее. Она заливалась смехом. Очень было весело, когда они общими усилиями все-таки изловили шельмеца.

— Моя драгоценная! — перешел вдруг на торжественный тон Проханов. — Позволь мне вручить личное к тебе послание преосвященного. Для меня это, голуба моя, несказанная честь. Прими в собственные руки. — Он вложил в ее руки большой конверт, запечатанный в пяти местах сургучом.

Мария Ильинична с волнением взяла его.

— Это мне?!

— Тебе, тебе, Марьюшка. Бери читай.

— А как же печати? — со страхом спросила она.

— Сломай их. Твоя же воля.

Мария Ильинична, прикусив губу, осторожно, будто в пакете было что-то взрывающееся, стала надрывать угол пакета. Надорвала, посмотрела на своего наставника. Тот кивнул головой. Она осторожно вытащила лист бумаги, сложенный вдвое. Развернув его, она прежде всего увидела огромную, чуть ли не в треть листа фиолетовую печать, на которой четко выделялся крест. Она долго рассматривала и никак не могла понять — к чему здесь эта печать?

— Читай, Марьюшка. Читай, — услышала она голос Проханова, но голос этот доносился будто издалека.

Она уставилась в бумагу, но никак не могла разглядеть, что там написано, — строчки расплывались перед глазами. Наконец, сосредоточившись, стала вчитываться. Прочитала раз, другой, третий, и только тогда до нее дошло содержание письма. Преосвященный просил ее лично «заступиться за православную церковь и веру христову». Преосвященный называл ее «почтеннейшая и глубокоуважаемая Мария Ильинична» и ссылался на «верного слугу церкви преподобного отца Василия», которому доверено изложить устно его просьбу. При сем преосвященный посылал ей скромный подарок — что

именно — не уточнялось — и заранее благодарил ее за услугу православной церкви. В заключение письма он благословлял рабу божью Марию и желал ей многие лета, а также здоровья и счастья.

Подпись была размашистая и будто разрисованная. Присмотревшись внимательно, Мария Ильинична догадалась — подпись и титул написаны по-старославянски.

...Мария Ильинична подняла глаза на отца Василия и встретилась с откровенно тревожным его взглядом. Взгляд этот тут же потеплел, стал ласковым, ободряющим.

— Ах, прости меня, старого! Одну минуту, голуба моя... — Проханов метнулся к письменному столу, схватил какой-то футляр и три объемистых коробки.

— Вот, Марьюшка. Это подарок преосвященного.

Мария Ильинична взяла сначала футляр и нерешительно раскрыла его.

— Часы! — воскликнула она.

— Правильно, Марьюшка. Золотые часы с брильянтами. Притом с именной надписью. Вот, посмотри сюда. Видишь? «В знак уважения и признательности. Никодим». Прочла?

— Да, — нерешительно сказала Мария Ильинична, хотя разобрать, что написано на донышке крошечных часов, не могла.

— Ну... а это... всякая туалетная мелочь. Потом посмотришь.

Он быстрым движением достал из письменного стола листы бумаги, сжатые крупной волнистой скрепкой, и протянул ей.

— А дело наше — вот оно. Эту статью, Марьюшка, надо прочесть и подписать. Я уже говорил тебе, надо грудью встать за святую нашу веру и православную церковь.

— А что тут написано? — равнодушно спросила Мария Ильинична, чувствуя, что еще минута — и она свалится со стула.

Перед глазами все у нее расплывалось и двоилось.

— Ты разве не хочешь прочесть?

— Н-не хочу. Вы... вы-то ее... вот эту бумагу... читали?

— А как же не читать! Сам же трудился. То есть, я хочу сказать, все знаю слово в слово, можешь мне довериться. Тут сказано, что ежели в печати могут выступать

те, кто отрекся от христианской веры, то почему бы редакции не опубликовать письмо, где ты, голуба моя, рассказываешь, как пришла к той же вере.

— И все?

— Конечно, все.

— Где я должна... Куда подпись поставить?

Проханов показал.

— Вот, моя драгоценная. Подпись должна здесь стоять.

Мария Ильинична долго метилась в то место, куда он указал, но перо почему-то скользило куда-то вверх и залезало в машинописные строчки. Тогда Проханов поймал ее правую руку и сделал на бумаге точку.

— Вот здесь! — строго сказал он.

Она собрала все свои силы и решительным росчерком поставила подпись. Поставила и критически посмотрела на нее.

«Непонятно будет», — подумала она и в скобках четко вывела инициалы и фамилию.

Мария Ильинична вопросительно взглянула в строгие глаза Проханова, дождалась, пока в них появилась улыбка, потом услышала, как он ласково произнес: «Вот и славненько», и медленно стала куда-то проваливаться...»

Глава пятая

«БАТЮШКА ЧТИТ КОНСТИТУЦИЮ»

Она проснулась в доме Проханова с тяжелой головой и тревогой в душе. Долго не могла понять, что ее так взволновало. Только потом поняла: письмо!

«Боже мой! Письмо в газету подписала не читая. А что там, в этом письме? Я пропала!»

Отца Василия не было дома. Она быстро оделась выбежала на улицу и три дня не показывалась в доме священника. Мария Ильинична ждала самого страшного, но ее никто не беспокоил. О ней забыли все, даже Проханов.

Она с горечью думала:

«Своего добился — и прощай... Ловок, ничего не скажешь».

Мария Ильинична дождалась вечера и заспешила к отцу Василию. Но в доме никого не оказалось.

Тогда она пошла в церковь. По дороге ей встретился конюх.

— Где... где батюшка? — с тревогой спросила она.

Конюх окинул ее тяжелым, презрительным взглядом и лениво ответил:

— А тебе что за дело?

— Но я должна... Я прошу вас... Пожалуйста, ну что вам стоит...

— Глянь-кось на нее, — дернул плечом мрачный конюх.—Никак, на колени хочешь упасть? Ходют тут всякие прости господи. Лучше бы работала, шлюха несчастная. — И вдруг конюх взъярился: — Пошла к чертовой матери! А то вот огрею вилами...

Не успел он договорить, как получил звонкую оплеуху.

— Я—шлюха? Ты что, меня с кем поймал? Я тебе покажу «шлюха»... — Мария Ильинична вдруг выхватила у ошеломленного конюха вилы и замахнулась ими.

Конюх закричал с перепугу, повернулся к ней спиной и побежал. Мария Ильинична бросилась за ним вслед. Догнала, стукнула по широкой спине кулаком и, вспомнив вдруг школьные годы, подставила конюху ногу. Нелепо взмахнув руками, тот растянулся на земле и закрыл голову руками.

Но гнев Марии Ильиничны вдруг иссяк. Она вся дрожала и чувствовала, как усталость свинцом наливает ее тело.

— Вставай! — глухо сказала она. — Ну, чего лежишь-то?

Конюх несмело поднял серое от страха лицо. Заметив, что в руках у Марии Ильиничны не было вил, он поднялся. Но губы у него еще прыгали. Он смотрел на нее недоверчиво, удивленно; было в этом взгляде и что-то жалкое, заискивающее.

— Ну? Где же все-таки отец Василий? — строго спросила Мария Ильинична.

— В городе, матушка.

— Какая я тебе матушка. Зовут меня Марией Ильиничной. А тебя как?

— Егор. Егор Кузьмич.

— Когда батюшка в город уехал?

— Позавчера, кажись... — неуверенно ответил Егор Кузьмич. — На другой день, как приезжали к нему.

Мария Ильинична уже не могла стоять. Она пошатнулась. Конюх встревоженно глянул на нее и вдруг бросился к кадке с водой. Торопливо зачерпнул ковш, поднес Марии Ильиничне и сказал жалостливо:

— Испей-ка водицы, Марья. С лица вся сошла. Пей, пей, не съем...

Мария Ильинична услышала, как стучат зубы о край ковша. Но глоток воды освежил ее. Она опрокинула ковш, плеснула воду в лицо и подняла голову, чувствуя, как приятно щекочущие капли воды катятся по разгоряченному телу.

— Ну вот. Опамятовалась баба.—Егор Кузьмич широко улыбнулся. — Испужала ты меня до смерти, Марья.

— Так тебе и надо. Если женщина, так можно что захочешь сказать?

— Ну ладно, ладно! — примирительно забормотал конюх. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Все же видим, крутится какая-то вокруг батюшки. Мало ли приходилось их видеть...

Мария Ильинична насторожилась.

— У кого? У батюшки?

Но конюх не ответил.

— Ладно, Егор. Погорячились оба. Не серчай.

Конюх поднял на нее повеселевший взгляд, кивнул. Расстались они без обиды друг на друга.

«Зачем он уехал в город? — с недоумением думала Мария Ильинична. — Мне даже слова не сказал. Наутро же уехал, когда я спала».

Было приятно, что он ей так доверяет. Оставил на нее дом, а она даже не закрыла, когда убегала встревоженная. Но кто сегодня-то закрыл? Должно быть, за ним кто-то ухаживает. Да и как он один управится с таким домом? Ясно, кто-то есть.

А намек Егора?

Вечером на имя Марии Ильиничны пришла телеграмма:

«Артель разыскал. Заказ сделал. Веду закупки. В. Г.»

Она долго гадала, что за артель, какой заказ и какие это закупки? И вдруг вспомнила: дом. Ей же дом обещал отец Василий. Выходит, не обманул.

Славно-то как!

Проханов возвратился в Петровск только на пятые сутки.

Вечером того же дня произошло объяснение. Бледная, с ввалившимися глазами, Мария Ильинична, как всегда, явилась к нему на дом.

Проханов бросился к ней навстречу и крепко обнял ее. Было такое впечатление, что он по-настоящему счастлив, встретив ее. И это смутило, обескуражило Марию Ильиничну, — она явилась сюда для решительного объяснения.

А он, непривычно возбужденный, бегал по дому, бестолково суетился, брался то за одно, то за другое и вообще вел себя совсем по-мальчишески. Накупил ей в городе подарков и все их тут же выложил. Отрез на платье, отрез на костюм, несколько пар капроновых чулок и даже модные туфли.

— Все тебе, Марьюшка. Только... Уж не знаю, право, годятся ли туфли. На глазок брал.

— Подождите-ка. Мне не до подарков, — строго сказала Мария Ильинична. — У вас сохранилась копия статьи?

Проханов остановился посреди комнаты. Он напомнил ей вдруг конюха Егора, когда тот только что поднялся с земли. Глаза его смотрели на нее растерянно и подозрительно. Но губы отца Василия улыбались.

— Марьюшка! Ты, никак, встревожена? Что случилось?

— Случилось одно. Я никак не думала, что вы воспользуетесь моим опьянением и заставите подписывать статью не читая.

— Голуба моя, ты ли это? Ты сама сказала, что доверяешь мне. И я был уверен: вера твоя безраздельна. Ты же мне стала больше, чем дочь. За что? Почему так?

— За эту проклятую статью меня могут в тюрьму посадить, — губы у Марии Ильиничны задрожали.

Отец Василий расхохотался.

— Ох, уморила! Надо же такое сказать! «В тюрьму». Нужно, драгоценная моя, Конституцию знать. Запомни: в СССР — свобода печати. Свобода! Ты что думаешь, закон — это шутки? Ты плохо, очень плохо, Марьюшка, законы и свои права знаешь. Можешь свободно писать не только в газету, но и в Совет Министров. Куда хочешь. И можешь быть уверена — тебе обя-

зательно ответят. С тобой будут спорить, доказывать, убеждать, но уж никак не перешлют в милицию или к прокурору для ареста. Было время, нарушались законы при Сталине. Сейчас новая линия, а вот Марьюшка старым живет. — Он подсел к Марии Ильиничне, ласково похлопал ее по руке. — Горячая ты, душа моя. Нервишки у тебя никудышные. Чем-то бога прогневила, мало чтишь его, мало времени уделяешь спасению своей души. Только я вымолил у всевышнего тебе здоровья, все гладко пошло, поправляться начала—и вдруг опять помертвела. Что с тобой творится, душа моя? Ну-ка выкладывай. Нет на мне облачения, но властью, данной мне от бога, заклинаю тебя, дочь моя, освободи душу от тягот и мрака. Покайся, и бог простит.

Мария Ильинична вдруг закрыла лицо руками и застонала.

— Да что за напасть? — искренне встревожился Проханов.

— Нет никакого бога, вот что случилось! — с отчаянием выкрикнула Мария Ильинична. — Нет и не было. Не было! Не было!

Священник отскочил от нее, будто ужаленный.

— Никак рехнулась? Опомнись! Опомнись, дитя мое! Страшные слова говоришь!..

— Вот сейчас-то я и опомнилась, — плача навзрыд, говорила она. — Меня вечно шатало в жизни из стороны в сторону. В детстве верила — есть бог. Бабка шкуру сдирала за неверие. В школу пошла—растеряла веру. Стала библию читать — снова поверила. Потеряла мужа — прокляла бога, но снова за библию взялась. И опять поверила. Потом семнадцать лет мыкалась одна по жизни, и какая уж там вера. А теперь вот разболелась. Опять меня бросило к богу. Но сейчас, — Мария Ильинична стала искать свою сумку, долго не могла открыть ее, но наконец открыла, выхватила две толстые тетради, — теперь меня никто не собьет с толку. Сама все прочла, сама разобралась.

Священник стоял перед ней с побелевшим лицом. Плач и слова Марии Ильиничны, казалось, поразили его в самое сердце.

— О господи! Да что же это?.. Господи, прости мя и помилуй. За что наказуешь? За что? Чем я прогневил тебя, господи?!

Проханов резко повернулся к ней спиной, рухнул на колени перед иконами и начал быстро-быстро креститься. У него текли слезы из глаз. Слезы крупные, почти с горошину. Он всхлипывал, глотал рыдания, шептал, крестился, кланялся. Кланялся, крестился, шептал... Это было страшно. Никогда такого не было.

Что-то дрогнуло в ее душе. Мария Ильинична бросилась к священнику, усадила его на диван и села рядом. Положила его голову себе на плечо, стала гладить его седые волосы, уговаривать, как малого ребенка.

— Не надо. Я же не хотела обидеть вас. Что было на душе, я и сказала. Что же таиться? От кого таиться? Я привязалась к вам, вы мне, как отец родной. Не могу я молчать все время. Я не такая. Есть на сердце, я и говорю.

— Ах, Марьюшка, Марьюшка! Ведь я священник, всю свою жизнь прославляю имя господа. Вот уж сорок шесть лет служу, а ты мне — нет бога...

Он тихонько высвободился из ее рук, вытер глаза, гулко высморкался в огромный клетчатый платок и поднялся, высокий, грузный, крепко сбитый, и как-то будто расправил плечи. Никакой беспомощности, слабости. Какая там слабость! В его могучих плечах сила, наверно, бычья.

И снова в душе Марии Ильиничны стал нарастать протест. Захотелось спорить, доказывать.

— Но я-то не служу сорок шесть лет. Я хочу правды... Где она, эта правда? В библии? Я хочу раз и навсегда со всем этим, — она потрясла тетрадями, — покончить. Я не могу, не хочу носить этот камень в груди. Вы не думайте. Хоть я и была разнорабочей, — мозги у меня на месте. В школе, если хотите знать, я любого могла заткнуть за пояс, с учителями спорила, читала много, только жизнь и гибель Андрея подкосили меня. Но ум со мной пока. Я всю библию перерыла. Сколько раз перечитываю! Я не виновата, что многое увидела.

Священник пытался ей что-то сказать, но снова на него обрушился поток слов. Мария Ильинична силой втиснула его в кресло, уселась рядом на стул, стала снова высказывать ему все сомнения и подозрения. Но Проханов с таким же упорством твердил:

— Это дьявол попутал! Дьявол сбил. Дьявол смутил душу твою. Все это его работа.

— А где же сила бога? Что же он, с дьяволом не мог справиться?

— Не кощунствуй! Сама знаешь, кто прогневил бога и как это случилось. Читала же, сама читала.

— Читала. Конечно читала, потому и говорю: ложь! Все ложь!

— Нет, не ложь. Из века в век дьявол гадил, мешал, сбивал с толку, путал, вносил хаос в людскую душу. Помешал он и переписчикам библии. Смутил их, затмил ум, сбил с пути истинного. И тебя он сбил с того же пути. Только дьявол и никто другой!

...Вот тогда-то и появилась в тетради Марии Ильиничны новая запись: «А может, действительно во всей этой путанице — козни дьявола?»

А через неделю случилось совсем уж странное.

Они сидели в доме Проханова и тихо беседовали. Мир был установлен, только Мария Ильинична не переставала настаивать, чтобы Проханов ознакомил ее с копией статьи, которую она подписала.

— Я должна знать, что там написано, — упорно твердила она.

Но священник ссылался на то, что копия находится у преосвященного и взять ее обратно невозможно.

— А теперь, Марьюшка, поговорим о другом. — Он показал ей договор, в котором значилось, что такие-то и такие-то берутся построить дом в таком-то месте из материала заказчика, а такой-то обязуется уплатить и т. д.

— За три месяца они его закончат, и дом будет твой.

— Ну, за три месяца многое может случиться, — загадочным тоном сказала Мария Ильинична.

Проханов всполошился.

— Ты хочешь уйти? Порвать со мной собираешься?— воскликнул он испуганно.

— Да нет... не то. Не о том я подумала...

Мария Ильинична глубоко вздохнула, хотела что-то сказать, но опять промолчала.

— Ох, Марьюшка! Что ты со мной делаешь? Я ведь привязался к тебе куда больше, чем к дочери. Нет, я не могу, не хочу потерять тебя.

Она смотрела на отца Василия с удивлением. Смотрела и поверить не могла: он ее любит.

— Не могу! Не могу! — твердил Проханов. — Марьюшка, душа моя! Ты не можешь меня оставить. Не дочь в тебе вижу — жену!..

Мария Ильинична вскочила.

— Что вы, отец Василий! Зачем смеетесь?

— Не смеюсь, не смеюсь я, Марьюшка. — Проханов гулко ударил себя в грудь. — Сон потерял. Брежу я, во сне тебя поминаю. Рву себе волосы, ругаю, а ничего не могу с собой поделать. Женой тебя вижу, хотя сам понимаю, что в дочери мне годишься.

Бог ты мой! Женой ее видит... Ведь он старше почти на тридцать лет.

Да и нельзя ему, священнику, второй раз жениться. Не удержавшись, она сказала ему, о чем подумала, вслух. Проханов выслушал и затрясся весь.

— Я не переживу этого. Нет, нет. С ума сойду!

Ему действительно официально нельзя жениться второй раз, за это он может лишиться сана, но никто, ни единая душа и слова не скажет, ежели в доме его будет жить женщина.

Мария Ильинична поняла: он хочет видеть ее любовницей. Это было до слез обидно, и она заплакала. Проханов начал утешать ее, но она, оттолкнув его, убежала.

Глава шестая

«СВЯТОЙ ОТЕЦ»

Марию Ильиничну оскорбило предложение Проханова. Но, поостыв, она подумала: он же любит ее. Столько месяцев обхаживал, заботился, кормил. Правда, она сразу не поверила в бескорыстность батюшки: думала, что у него свои цели, притом цели чисто «служебного», или, как он говорил, «суетного» порядка.

Но вот цель достигнута. Письмо она подписала: с шумом, конечно, со скандалом. Но не посылать же опровержение? Да и куда она пошлет? В какую редакцию?

Видно уж судьба у нее такая. Нельзя ей сейчас отбиваться от священника. Болезнь может и погубить, в могилу свести, а то, еще хуже—в сумасшедший дом, — с нервами шутки плохи.

А ведь отец Василий от нее не отказывается, хочет видеть ее женой. Правда, в гражданском браке...

Она вспомнила Андрея и расплакалась. И тут же память услужливо вырвала из прошлого и тех, кто очень хотел на ней жениться. Но ведь не пошла же. На что уж хорош был Анатолий, только не лежало к нему сердце. И вот выбрала...

— Нет, никогда. Андрей — первый и последний!

Ей вдруг захотелось помолиться об Андрее. Она опрометью бросилась в церковь.

...Служба к тому времени уже кончалась. Люди начали расходиться. Мария Ильинична упала на колени и страстно зашептала:

— Андрюша! Ты всегда со мной. Я любила тебя и сейчас очень, очень люблю. Я не знаю, какую молитву читать, чтоб спокойной быть. Ох, Андрюша! Как мне тяжело без тебя, как трудно и тошно! Что мне делать? За что ни возьмусь — нет мне утешения. Пропадаю. Чувствую — пропадаю. Но неужто я хуже других?.. Господи! Если ты есть на небесах, разве ты не видишь моих мук? Все потеряла, что еще терять? Если нужна моя жизнь, возьми ее, только не мучь. Ну, за что, за что, скажи?..

Кто-то вдруг тихонько коснулся ее плеча. Она вздрогнула и обернулась.

То был отец Василий. Она заметила крупные капли пота на его высоком, почти без единой морщинки лбу.

— Хватит, Марьюшка! Успокойся. Не мучь себя, не казни. — Он тихонько подталкивал ее в плечо. — Вставай, голуба моя. Вставай. Ну? Вот так. Может, хочешь исповедаться? Не хочешь? Ну и ладно. Подожди-ка меня, облаченье сниму.

Мария Ильинична равнодушно кивнула и тихонько побрела из церкви. Вышла во двор, подняла голову, долго смотрела в небо. Скоро осень. Лето почти пролетело. Так мало времени прошло, а сколько пережито за эти месяцы. За что ей такие испытания, за что муки!

Она опустила голову и тихо побрела со двора.

У ворот стоял Егор.

— Ты чего это, Марья, закручинилась? Иль обидел этот?.. — он кивнул головой на церковь, и лицо его заметно потемнело. Он наклонился к ней и зашептал, хотя никого вокруг не было: — Коли что, мигни только...

И вдруг он исчез. Мария Ильинична даже не успела рассмотреть, куда он делся.

К ней торопливым шагом приближался Проханов.

— Ну, как погода, Марьюшка? — добрым голосом заговорил он. — Люблю эту пору. Жара спадает, мух становится меньше, плоды от сока земного чуть не лопаются. Хорош-шо! А там, глядишь, паутинка полетит, листья золотые на деревьях появятся. Медленное, медленное умирание. — Он блаженно прикрыл веки.— Люблю золотую осень. Чуть грустно, а все-таки радостно.

— Не надо, не надо, отец Василий! — вскричала Мария Ильинична. — Что вы мне о грусти! И без того грустно и тошно, а вы о медленном умирании...

— Ну, ну, Марьюшка! — примиряюще забормотал Проханов. — Не будем раздражаться. Мне хочется сделать тебе приятное. Хочешь в большой город поехать? Возьмем машину. Никто нас не знает, рассеемся, отдохнем, погуляем, где захочется. Хочешь?

Мария Ильинична удивленно посмотрела на него. Вот тебе и старик!

— Может, в театр пойдем? — с затаенной насмешкой спросила она.

Но он не заметил иронии.

— А что? Можем и в театр. Куда захочешь, туда и пойдем. — Его глаза молодо блестели. — Ты не думай. Поп — не монах, он и веселиться умеет, ежели есть к тому тяготение. Но чтоб — шито-крыто, чтоб, как говорится, комар носа не подточил.

Мария Ильинична устало взмахнула рукой.

— Ах, оставьте, Василий Григорьич. Уж какой там театр. На душе кошки скребут, а я по театрам разъезжать стану. — И вдруг ни с того ни с сего ей пришла в голову мысль: «На работу бы мне, на завод».

— Не хочешь? — удивился Проханов. — Тогда вот что. Пойдем, душа моя, ко мне. Уж прости меня, грешного. Живу по-холостяцки, сама знаешь. Ходила ко мне одна, убирала, теперь в деревню уехала. Хотя бы пыль маленько стереть.

Он осторожно оглянулся, взял ее за локоть и почему-то шепотом сказал:

— А там, голуба моя, — он кивнул головой куда-то назад, — фундамент заложили. Письмо от старшего артельщика получил. — Проханов, хитро улыбаясь, подмигнул. — Пишет, обмыть надо фундамент, а то держаться не станет.

Улыбнулась и Мария Ильинична, сама не зная чему.

— Хитрюга этот старшой. Ну, да ладно. Послал им тысчонку, пусть обмоют, не станем нарушать традиций. Правильно, Марьюшка?

— Не знаю. Наверное, правильно.

— Вот и я говорю, — охотно поддакнул Проханов и снова пришел в веселое расположение духа. — А может, и нам следует обмыть, а? День субботний...

Она пожала плечами. Ей было все равно.

— Эх, была не была. Прибавим шагу, Марьюшка. Уж и закатим мы пир горой, а?

Мария Ильинична не ответила.

Пир оказался обычной попойкой, но гнетущее состояние Марии Ильиничны прошло. На этот раз Проханов угостил ее чудесным вином со смешным названием Твиши. Легонькое, с едва уловимой кислинкой и примерно с той же дозой шипучести. Вино-то, пожалуй, и привело Марию Ильиничну в хорошее настроение. А когда на душе стало легко — настроение у нее падало и поднималось мгновенно, и, кажется, от совершенного пустяка она вдруг весело подумала:

«А чего это я раскисла? Моя судьба в моих руках. Как будто на завод не могу вернуться... Не так уж я плохо работала, чтоб от меня отказались...»

Ей стало весело и необыкновенно легко. Даже Проханов в эту минуту казался симпатичным. В этот вечер у него очень молодо блестели глаза. Правда, этот блеск порой внушал ей тревогу, но тревога длилась секунды. Проханов острил, балагурил.

Пир удался на славу. Но тут Мария Ильинична вспомнила:

— Василий Григорьич, а как же пыль? Дармовые руки пропадают. — Она подняла руки и рассмеялась. — За такое угощение надо отработать.

Проханов хотел превратить эту затею в шутку. Но не тут-то было.

— Нет уж, дорогой повелитель, — с легкой насмешкой возразила она. — Сами просили помочь... Я разнорабочая. Для меня не страшно пальчики замарать. Давайте тряпку и веник.

— Помилуй, Марьюшка! — взмолился Проханов. —

Какая уж нынче уборка? Почти полночь. А потом — не так уж пыльно. Я ведь, признаться, схитрил малость.

— Ничего не знаю, — весело запротестовала она. — Веник, веник. Давайте веник.

Глаза ее блестели, на запавших щеках появился румянец. Она решительно сбросила светлый жакет и швырнула его на спинку стула. Ее легкая полупрозрачная кофточка с большим вырезом на груди подчеркивала не очень высокий бюст, и короткая юбка обнажала несколько тонковатые, но не лишенные красоты ноги.

Она была вся в порыве. А для таких, как Мария Ильинична, порыв — вторая жизнь; в порыве она может подарить минуты, которые могут стать самыми счастливыми в жизни, в порыве же такие люди, как она, могут и причинить большое горе.

— Ничего ты, дорогая Марьюшка, не сделаешь веником. У меня другой веник имеется. — Проханов повернулся и вышел в библиотеку. Через минуту он возвратился с пылесосом в руках. На блестящей голубой поверхности празднично мерцали искорки света.

— Вот тебе веник, Марьюшка.

Мария Ильинична непроизвольно произнесла: «О-о-о!» — и нерешительно взяла в руки пылесос, не зная, как с ним обращаться.

— С ним легко ладить, — пришел на помощь хозяин. — Включил — и води себе рожком. Я потом покажу. Давай сначала раскатаем ковер.

Мария Ильинична поставила пылесос на пол.

Работать так работать!

Ковер оказался тяжелым, и не так-то просто было с ним справиться.

Отец Василий суетился вокруг нее, старался помочь, но не столько помогал, сколько мешал.

Мария Ильинична хотела подтянуть край ковра, но было тяжело. Она обернулась и вдруг замерла. Хищно прищуренные глаза Проханова горели жадным огнем, не в силах оторваться от ее ног.

«Юбка!» — вдруг испуганно подумала она.

Костюм, надетый ею сегодня, был хоть и лучший, но довольно поношенный, не однажды стиранный. Материал сел, юбка поэтому довольно основательно укоротилась. Увлекшись работой, Мария Ильинична о том совсем забыла.

Она резко выпрямилась. Но было уже поздно. Проханов бросился к ней, схватил за юбку и с силой рванул к себе. Крючки лопнули. Лопнула по швам и материя.

Мария Ильинична хотела отскочить в сторону, но, запутавшись в сползавшей одежде, упала на ковер.

Проханов могучим движением сильных, словно сталью налитых рук смял, скрутил ее. Она закричала, но он зажал ей рот.

— Замолчи, дуреха! Господь бог покарает тебя, неразумную! — и отняв руку, прохрипел: — Никто не услышит, хоть до утра кричи. Все равно будешь моя. Нет у тебя других дорог.

Силы постепенно оставляли Марию Ильиничну.

Никогда еще в ее трудной, запутанной жизни такого не случалось. Она встречалась с мужчинами, но как бы там ни было, в ней всегда уважали человека. А здесь обман, грубая звериная сила.

От жгучего стыда она закрыла лицо руками и громко зарыдала.

— Бог простит нам прегрешения, Марьюшка, — смиренным голосом произнес Проханов. — Помолимся. — Он осенил себя широким крестом, огладил бороду, а потом искоса взглянул на нее. — Ну, чего ревешь-то! Оправься.

Все еще не в силах удержать катившиеся по щекам слезы, она старалась привести себя в порядок. Однако ее старания были напрасными: требовалась игла, но просить ее было противно.

— Сказал — оправься, — уже строгим голосом повторил Проханов. — И за стол садись.

— Не могу я садиться. Совесть надо иметь, изверг проклятый!— Мария Ильинична обозлилась, и слезы ее сразу высохли. Она повернулась к нему боком и показала, во что превратилась ее одежда. — Любуйтесь, святой отец!

— Ах ты, господи! — спохватился Проханов и быстрым шагом удалился в соседнюю комнату. Мария Ильинична видела, как он открыл сундук и стал вынимать из него вещь за вещью. Посмотрит одну, другую, крякнет, спрячет и вытаскивает третью.

Наконец, выбрал. Он закрыл сундук, спрятал ключ в карман и возвратился в гостиную.

– Возьми, Марьюшка. Широковат малость, но сойдет...

Мария Ильинична попятилась от тянувшейся к ней волосатой руки.

— Не надо мне.

— Возьми, глупая. Все одно никто не носит.

— Не возьму я. Дайте иглу с ниткой.

— Тьфу, дуреха! Послал бог на мою голову. Бери или с грехом ходить будешь. Просить станешь — не отпущу греха, так и запомни.

Мария Ильинична расхохоталась.

— А себе отпустите?

Проханов заметно смешался и заспешил на поиски иглы с ниткой. Мария Ильинична направилась в библиотеку.

— Ну, чего корчишь-то из себя? — остановил ее хозяин. — Работай здесь. Нет уж секретов. Кончились секреты.

Пришлось подчиниться. Вспышка гнева прошла. Мария Ильинична чувствовала себя очень разбитой. Съежившись, она сидела в одной рубашке, а Проханов ходил по комнате и бросал на нее сердитые взгляды.

Через час, кое-как справившись с починкой, Мария Ильинична оделась и собралась уходить.

— Ну уж нет, голуба моя!— священник загородил ей дорогу. — Так у нас не положено. Иль мы не православные?

Он взял ее за плечи, сжал их, будто обручами, и почти силой усадил за стол.

— Попользуемся, Марьюшка, чем бог послал,—весело сказал он и придвинул себе и гостье по стакану, которые тут же наполнил до краев. — Выпьем, бесценная моя, и забудем наши прегрешения.

Марию Ильиничну охватил страх.

— Не могу я, батюшка, вы же знаете. Свалюсь я...

— Беда небольшая. Свалишься — подниму. Кроватями, слава богу, не бедствую. Хочешь — одна спи, хочешь — со мной...

Марию Ильиничну покоробило от этих слов, и это не укрылось от его взгляда. Но Проханов сделал вид, что ничего не заметил.

— Держи, Марьюшка. Ну, вот и славненько! Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Давай, голуба моя! Нет, нет, до конца, до конца...

Мария Ильинична едва не задохнулась от стакана жгучей жидкости. Пила и думала: «До конца так до конца. Посмотрю на тебя, святого старца...»

Охмелела она сразу, но Проханов тут же предложил ей второй. Она отказалась. Он опять применил силу, схватил ее за плечи, могучей рукой сдавил ей голову и стал лить водку в рот. Она задохнулась, закашлялась.

— Привыкай, голуба моя, к святой пище, — глухим, вздрагивающим голосом говорил он. — Хватит редькой питаться. На нашу с тобой жизнь дураков в достатке найдется. Не шарахайся от меня. Одна у нас дорожка. Куда ж ты одна-то? Никак тебе нельзя одной. Умру — все тебе останется. А что случилось так — не беда. Надо же когда-нибудь этому случиться. — Он выпил стакан водки залпом, ничем не закусил и снова заговорил: — Не прогневайся, Марьюшка, закусывай. Бери сало, холодец, курочку. Все у нас есть и все будет. Всегда будет.

А Мария Ильинична все больше хмелела. Она уже не помнила, что он говорил, но хорошо запомнила, что было с ней потом.

...Очнулась Мария Ильинична утром. Проханов храпел рядом. Лежали они на полу, на том самом ковре, который расстилали вчера.

— О боже, стыд какой! — Мария Ильинична кое-как оделась и, с трудом передвигаясь, побрела к умывальнику. После холодной воды ей стало легче, но все-таки она чувствовала, что вряд ли сможет одна добраться до дому.

Пришлось прилечь на диван. Из гостиной доносился могучий храп. Этот храп внушал ей ужас. Наконец, не выдержав этой пытки, она плотно прикрыла двери обеих комнат, но и это не помогло. Храп словно сотрясал стены дома.

Мария Ильинична решила уйти. Она шагнула к двери, и вдруг сзади нее раздался хриплый голос:

— Удрать, голуба моя, из этого дома не так просто. Все на замках.

Мария Ильинична вся похолодела и обернулась.

Проханов стоял в дверях полураздетый. Он скреб рукою заросшую седыми волосами грудь, зевал во всю ширь объемистого рта и настороженным взглядом следил за Марией Ильиничной.

— Но мне домой надо...

— Успеешь,—равнодушно сказал он.—И зачем тебе? Здесь твой дом. Привыкать надо.

— Это не мой дом. Незачем мне привыкать...

А он будто и не слышал. Подошел к ней вплотную, обнял за плечи.

— Беру тебя на содержание. И хватит об этом.

— Это как же — на содержание? — не сразу поняла она.

— Ох, Марьюшка, когда ж ты жить научишься? Так, поди, и в самом деле пропадешь. Коль не умеешь жизнь свою устроить, слушайся людей разумных. О себе больше думай. Наплевать тебе на других и на то, что они о тебе подумают. Время такое. Видишь, какой у меня дом? А ты думаешь, мне его подарили? Как же, держи карман шире! Сам с божьей помощью устроился. Живу теперь и в ус не дую. Ладно. Будет еще время, потолкуем. Пошли за стол.

Возразить ему Мария Ильинична не посмела. Шла она покорно, будто всю жизнь ему подчинялась.

Проханов, не ополоснув лица, голый до пояса, уселся за стол. Марию Ильиничну он усадил напротив.

— Ешь, Марьюшка. Или нет. Давай опохмелимся, по православному обычаю. Что у нас тут осталось? — Он поднял бутылку на свет и сказал с сожалением:

— Ах ты, язви те... на донышке. Сильно мы с тобой гульнули! Два литра как не бывало. Вот как у нас живут.

Он расхохотался. Толстый его живот, заросший седыми волосами, противно трясся. Босой, в каких-то широких брюках, едва на нем державшихся, без рубашки, с растрепанными космами на голове и спутанной бородой, священник казался Марии Ильиничне выходцем из самого ада. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами и поверить не могла: неужели этот человек полонил ее воображение и заставил искать смысла жизни в священном писании?

Проханов между тем прошлепал босыми ногами в другую комнату и начал там греметь ключами. Вскоре он

возвратился с бутылкой водки под мышкой, с большим блюдом капусты в одной руке и бокалом мутной жидкости в другой.

— Отведай-ка рассольчику. Распрелестное, скажу тебе, средство после крупной выпивки.

— Ой, не надо, — подняла руки Мария Ильинична.

Хозяин удивился:

— Неужто откажешься? — Он пожал плечами и ласковым голосом, в котором нетрудно было уловить раздражение, сказал: — Ослушница ты, Марьюшка!..

Он вздохнул и опрокинул в рот огуречный рассол. Выпил все до капли, крякнул и довольно потер ладонью по животу.

— Вот так-то у нас. А теперь откупорим бутылку—и по стаканчику. С похмелья оно очень славно будет.

— Батюшка! Василий Григорьич, — взмолилась Мария Ильинична. — Не могу я видеть это зелье. И без него мутит, а вы снова за водку. Вот вам крест святой!..

— Голубушка моя! Святым крестом от черта берегутся, а я к тебе с добром иду и добру учу. — Он налил ей полстакана и сурово сказал: — Хватит церемониться. Раз уж вручила судьбу свою в мои руки — умей покоряться.

Мария Ильинична почувствовала, что задыхается. Она силилась что-нибудь сказать, но не могла. И вдруг по лицу ее покатились слезы.

— Пожалейте вы меня, батюшка! Не могу. Плохо мне. Что хотите сделаю, только не водку пить...

— Вот тебе на! Пожалей. Да неужто я тебя не жалею? Ох, Марьюшка, грех на душу берешь. Ну, да ладно. Пей, голуба моя. Для твоей же пользы говорю...

Мария Ильинична послушно взяла стакан и, глотая слезы, стала пить. Выпила несколько глотков, перевела дух и вдруг, размахнувшись, запустила стакан в угол. Стекло со звоном разлетелось на куски. Она хотела крикнуть: до каких пор он будет мучить ее? Но... голос отказал ей.

— Духом зашлась? Не пугайся, Марьюшка, это бывает. На-кось капустки. Возьми, возьми, лучше будет. Ешь, голуба моя. Все будет хорошо.

И действительно, ей стало лучше. Она рассмеялась. Потом ей показалось, что священник раскачивается из стороны в сторону И вдруг он раздвоился...

Проханов тоже смеялся. Правда, не один; смеялись уже двое, и оба они тянулись к ней со стаканами. Мария Ильинична, уже не сопротивляясь, пила.

Потом они пели песни. Проханов плясал, а она смеялась. Вдруг она стала куда-то валиться, а что было позже, она уже не помнила.

Глава седьмая

«ПОКАРАТЬ ЕГО НЕКОМУ»

Кто-то изо всех сил колотил в дверь. Мария Ильинична с трудом оторвала голову от подушки, прислушалась. Не было сил подняться. Она подумала: может быть, проснется отец Василий?

Но нет. Как и в прошлый раз, он даже не пошевелился.

Стучали примерно с полчаса. Кто-то обошел все окна и бил по ставням кулаком.

Наконец стук прекратился. Мария Ильинична осторожно поднялась и, шатаясь, с трудом отыскала дверь. Открыв ее, она с удивлением заметила, что за окном темно. Вечер настал или утро уже?

Она подошла ближе, прижалась лбом к холодному стеклу и заметила на востоке светлую полосу.

«Рассвет. Неужто целые сутки проспали?»

Закричали петухи. Да, скоро утро. Мария Ильинична пошла обратно, чтобы одеться и уйти отсюда, но не успела она отойти от окна, как дверь куда-то исчезла. Застыв на месте, Мария Ильинична долго стояла так, стараясь припомнить расположение комнат. Ощупывая руками попадавшиеся ей вещи, она двинулась вперед.

Нет, так она, пожалуй, отсюда не выберется. Пришлось осторожно идти обратно. Теперь окно потеряла. Марии Ильиничне стало жутко, она едва не закричала, но тут под руку ей попался выключатель. Она хотела повернуть его и заколебалась: вдруг отец Василий проснется от света?

Потом нашла дверь. Мария Ильинична приоткрыла ее и услышала знакомый храп. Он доносился справа, значит идти надо левой стороной.

Так она и поступила.

Под ногами Мария Ильинична почувствовала ковер и тут совершенно отчетливо представила, где находится.

Она двинулась вперед уже уверенной походкой и довольно легко отыскала дверь. Марии Ильиничне хотелось опять зажечь свет, но теперь уж ее опасения были другого свойства: вдруг кто-нибудь стоит за окном?

Она прислушалась и отчетливо услышала, что кто-то ходит, поднимается по лестнице на крылечко, стучит ногами по полу, потом спускается обратно. По легкой тени, время от времени закрывающей уже слегка посветлевшие окна, она поняла, что кто-то заглядывает в дом.

Мария Ильинична прижалась к стене и осторожно выглянула, стараясь что-нибудь рассмотреть на улице. Она была не очень уверена — на самом ли деле кто-то ходил там. Ей могло и показаться.

Но тут же она вздрогнула, заметив, как за окном медленно перемещается силует человека. Он приблизился к окну. Кажется, женщина. Мария Ильинична прильнула к стеклу. «Кто это может быть? — с тревогой думала она.—Не жена, конечно. Нет у него жены. Любовница!— Ей стало жарко. — Такая же очередная, как и я...»

Эта мысль вызвала жаркий стыд. До чего же она дошла! Стоило ли для этого читать Ветхий и Новый заветы?

Думала посвятить свою жизнь прославлению деяний всевышнего, а разделила ложе со слугой его. А дальше что?

Думая об этом, она настороженным оком следила за окном и совершенно отчетливо увидела через стекло невысокую, полную женщину в белом платке.

Резкий стук в раму заставил Марию Ильиничну шарахнуться в сторону. Она больно ударилась головой обо что-то, упала на колени и на четвереньках поползла в комнату, откуда доносился гулкий храп. Налетая на невесть откуда взявшуюся мебель, Мария Ильинична заметалась по комнате в поисках своей одежды. Но сколько она ни искала, ничего под руку не попадалось. Она схватилась за грудь — неужто полураздетой бежать домой?— и, к великой своей радости, почувствовала под рукою блузку; оказывается, Мария Ильинична спала в одежде.

— Боже мой! — прошептала она. — В каком виде домой явлюсь?

Мария Ильинична подбежала к кровати, нащупала ногой туфли и быстро надела их. Но как быть с жакетом? Ей было не жалко его, только ведь оставлять нельзя: вдруг заметит та женщина?

Жакет Мария Ильинична нашла сразу же и вздохнула с облегчением. Она торопливо оделась и крадучись стала пробираться к двери.

«Неужто все двери на замках? Не может быть,— успокаивала себя Мария Ильинична.

Осторожно ступая, она направилась к выходу. Нашла его и отступила: дверь была закрыта на ключ.

Что же делать? Разбудить отца Василия? Нет, это невозможно.

Окно! Ну конечно, во двор можно выбраться через окно на кухне.

Она вернулась в переднюю, открыла боковую дверь, проскользнула к окну и, к счастью, довольно легко открыла.

В это время снова раздался стук, резкий, раздраженный.

— Батюшка! Батюшка! Проснись же ты, чертов пьяница! — отчетливо услышала Мария Ильинична не очень громкий женский голос, приглушенный не то расстоянием, не то из-за предосторожности, чтобы не разбудить соседей.

Мария Ильинична, воспользовавшись этим шумом, выпрыгнула из окна. Она оказалась во дворе, огороженном довольно высоким забором из досок. В конце двора виднелся длинный сарай. Там звонко прокукарекал петух и невольно закудахтали разбуженные куры, затем послышалось хрюканье свиней и визг поросенка.

«Да у него тут целая ферма», — с удивлением подумала Мария Ильинична, все еще настороженно прислушиваясь, не раздадутся ли шаги около забора.

Ступая на носки, она двинулась к сараю. Там должна быть калитка в огород.

И действительно, калитку она отыскала. Мария Ильинична дернула за ручку, но и эта дверь оказалась на замке. А замок увесистый...

В эту ночь чашу унижений пришлось испить до дна: Мария Ильинична полезла через забор. Но под утро от росы доски стали влажными, скользкими. Мария Ильинична сорвалась, зацепив подолом узкой юбки за острый выступ.

Материя затрещала и звонко лопнула. В сарае тревожно закудахтал петух, всполошились куры, а вслед за ними свиньи и поросята.

Где-то в соседнем дворе залаяла собака. Из-за дома вдруг раздался визгливый женский голос:

— Держи ее! Лови! Лови воровку!

Неужто это ей кричат вслед? Позор-то какой!

А голос между тем преследовал ее.

— Где эта потаскуха? Удираешь, подлая?

Женщина, казалось, исходила в крике и вдруг дико, истерично захохотала. Это был какой-то нечеловеческий, жуткий хохот. Мария Ильинична опустилась на холодную, мокрую траву. Будь у нее силы, она бы втиснулась, иглой ушла в землю.

Но хохот не смолкал. Не выдержав, Мария Ильинична вскочила и, ничего не разбирая перед собой, бросилась бежать.

— Проклятый дом!

Она падала, путалась в картофельной ботве, поднималась и снова бежала. Несколько раз теряла туфли, с трудом их находила, а потом совсем сбросила обувь и бежала босиком. Сердце у нее совсем зашлось, дышать было нечем, но остановиться Мария Ильинична не могла: она думала, что вот-вот ее настигнет та страшная женщина.

Но вот огород кончился. Мария Ильинична увидела плетень из хвороста, а за ним... огород и новый дом.

Путь отрезан.

— Вот она, кара божья! — в смятении произнесла Мария Ильинична и вдруг так же дико закричала. Совсем обессилев, она упала в густую ботву, зарыдала и вне себя от муки начала вырывать из земли кусты картофеля.

Рыдания ее усилились, она стала кататься по земле... Отчаяние, унижение. И нервы не выдержали.

То был очередной припадок.

Сколько так продолжалось, Мария Ильинична не помнила. Очнулась она от того, что услышала над собой голос:

— Господи, кто там кричит так?

У Марии Ильиничны не было сил подняться. На фоне посветлевшего неба она увидела старую женщину. Она стояла по ту сторону плетня и силилась рассмотреть ее.

— Никак, опять от батюшки? — всплеснула руками старушка и засуетилась. Господи, и что это за человек

такой? Каждую ночь, каждую ночь бегут от него. Покарать его некому, нечестивца поганого.

И вдруг женщина рассердилась.

— Сама тоже хороша! По ночам шатаются, потаскухи проклятые.

— Бабушка, родненькая, помоги бога ради. Не могу никак выбраться отсюда, — с протянутыми руками бросилась к женщине Мария Ильинична.

— То-то, «родненькая», — передразнила ее женщина. — А кто тебя заставлял идти сюда? Под ружьем гнали, что ли? У-у, бесстыжие! Совсем совесть потеряли. Нет на вас управы.

Ругаясь так, женщина что-то проворно делала руками.

— Ладно уж, иди сюда. Иди, иди, чего дрожишь? Не съем. Не ты первая, не ты последняя. Ни сна, ни покоя нет. Калитку всю ночь приходится держать открытой. Давай вот таким пташкам дорожку на волю. Ну, проходи скорей, чего стоишь! — прикрикнула женщина на Марию Ильиничну. — Уйду сейчас, тогда как хочешь выбирайся.

Этот довод заставил Марию Ильиничну устремиться в едва видневшийся проход в плетне. Заспешив, она снова зацепилась юбкой за слегу. Но уже не обращая на это внимания, Мария Ильинична дернула рукой за подол. Материя снова треснула.

— С ума сошла девка! — сурово прикрикнула на нее женщина. — Иль босиком выскочила?

— Там туфли... В огороде.

— Так иди найди их.

— Пусть остаются. Боюсь я...

— Фу ты, дура какая! Где ты их оставила?

— Здесь, кажется.

— Стой! Поищу сама. Стой, говорю, а не то кобеля спущу...

Старушка проворно проскользнула в щель, которую сама же сделала и, наклонившись, стала шарить по земле рукой.

Искала долго, ворчала, но все же нашла.

— Вот они. Держи — женщина протянула ей обувь.

Мария Ильинична послушно взяла, но не решалась надеть их.

— Ну, что стоишь? Надевай!

— Не-е надо,— заикаясь, ответила Мария Ильинична.— Н-ноги грязные...

— Ну ладно. Идем!

Женщина взяла ее за руку и, как девчонку, потащила за собой. Довела до ворот, обернулась и почему-то шепотом сказала:

— Туфли все-таки надень.

Мария Ильинична беспрекословно подчинилась.

— Иди, бог с тобой. Только в следующий раз умней будь. Поняла?

— Поняла, бабушка.

Женщина вздохнула.

— Ох, бабы, бабы! До чего мы доверчивы... — и с суровой жалостью сказала: — Глупа еще, неопытна, потому и попалась. Иди, чего стоишь?

Мария Ильинична медленно повернулась и, чувствуя на своей спине суровый и в то же время жалостливый взгляд незнакомой женщины, медленно побрела по улице.

Глава восьмая

ОТВЕТ ПРОФЕССОРА

Мария Ильинична пластом лежала после пира с Прохановым. Плохо, очень плохо пришлось ей в эти дни. Две ночи она ни на минуту не заснула и только к утру третьих суток немного забылась. Но то состояние, в котором она находилась, совсем не походило на сон. Какая-то полудрема вперемешку с кошмарами. То ей казалось, что она еще в доме отца Василия и он ей насильно вливает в рот водку; то вдруг представлялась церковь и она сама, молящаяся в исступлении; то появлялся перед ней Андрей, и на них летели вдруг сразу две машины — «волга» и ЗИМ; то кто-то из окна потрясал ее статьей и кричал: «Ты получишь свое, расстрелять тебя мало!».

Мария Ильинична просыпалась от собственного крика. Когда она окончательно пришла в себя, было раннее утро. Ей почему-то показалось, что она опаздывает на работу, она вскочила с постели, но, вспомнив, что ей некуда и незачем спешить, в изнеможении повалилась на подушку. Ей стало совсем плохо...

Рядом никого не было. Квартирная хозяйка уже несколько дней не ночевала дома. Это случалось нередко,

старушка уходила то к сыну, то к дочери, которые жили где-то на окраине города.

То, что хозяйки не оказалось дома, было как раз кстати: не нужно было ничего объяснять старушке, не в меру любопытной и дотошной. Марии Ильиничне стало жутко, когда она поняла, что не в силах встать с постели, чтобы взять кусок хлеба или просто попить воды.

К счастью, около полудня забежала соседка. Она всполошилась и тут же бросилась за врачом. Он предложил отправить Марию Ильиничну в больницу, но соседка об этом и слышать не хотела.

— Сама выхожу, — твердо сказала она.

В постели Мария Ильинична провалялась несколько дней.

Потом ей стало легче, она поднялась, стала ходить и даже решила пройтись по городу.

Мария Ильинична одевалась, когда вдруг со двора послышался голос соседки:

— К тебе гости, Марья.

Гость оказался почтальоном. Он вручил ей большой конверт и, по-военному козырнув, удалился. А Мария Ильинична долго не могла прийти в себя и все вертела в руках тяжелый конверт, не решаясь вскрыть его. Что это могло быть? Уж чего легче — вскрыть конверт, но Марией Ильиничной овладела робость.

Она внимательно осмотрела конверт; на нем были указаны область, город и ее фамилия; уже другой рукой кто-то проставил улицу и номер дома.

Мария Ильинична наконец вскрыла конверт и извлекла... газету.

— Господи боже мой! — вскрикнула она и даже за сердце схватилась, до того оно гулко застучало.

Она стала разворачивать газету; из нее выпала какая-то бумага. Мария Ильинична подняла ее.

«Товарищ Разуваева! — с волнением прочла она. — Ваше письмо в редакцию мы получили. Оно носит дискуссионный характер. Вы хотите спорить и откровенно высказываете свои мысли.

Ваши убеждения мы разделить не можем. Для ответа Вам редакция пригласила бывшего профессора-богослова Александра Алексеевича Осакова, двадцать пять лет своей жизни отдавшего служению религии, а ныне решительно порвавшего с ней.

Редакция сочла возможным опубликовать его открытое письмо Вам, озаглавленное «Встреча в пути». Пересылаем номер газеты, в котором напечатан ответ товарища Осакова.

С приветом.
Заведующий отделом писем
А. Самарцев»

Еще больше волнуясь, Мария Ильинична развернула газету и стала искать статью. Да, вот она... «Встреча в пути» и подпись — «А. Осаков, бывший профессор богословия».

Мария Ильинична с интересом и внутренним трепетом принялась за статью.

«Мне часто приходится читать в газетах,— пишете вы, тов. Разуваева, — что такие-то и такие-то порвали с религией. А почему я не могу написать о том, как я пришла к христианству и как стала верить в бога?»

Вы сообщаете, что во время войны потеряли мужа, единственного и самого дорогого вам человека. Вам было очень трудно, поэтому вы стали «усиленно искать смысла в жизни», намереваясь получить «ответ на такие вопросы: отчего бывают человеческие страдания, зачем живет человек, в чем заключается истинное счастье?» Для этой цели вы начали изучать «философские сочинения», а уже после этого библию».

— Это когда же я изучала «философские сочинения»?.. — удивилась Мария Ильинична.—Хотя, действительно, в школе многое читала, только что я поняла там?..

«И в результате этого изучения, — с разгоравшимся каждую минуту нетерпением читала Мария Ильинична,— вы пришли к заключению, что «только религия, вера в Христа дает смысл человеческой жизни, дает тепло и свет человеческой душе».

Темная, очень темная повязка у вас на глазах, тов. Разуваева, но все-таки вы не можете не сделать признания: «Конечно, меня могут упрекнуть в том, что я не хочу видеть положительного, что я не хочу замечать, как развита наша промышленность, как материально улучшилась жизнь наших людей».

Но дальше из ваших рассуждений так и кажется, что

вы просто списали слова из какой-то проповеди. Вы авторитетно, хотя и не утруждая себя доказательствами, утверждаете, что «цветы эти ядовиты, они взращены грехом...»

Я прочитал ваше письмо, и мне стало очень горько. Горько и обидно. Я 25 лет истратил на блуждание в мире, который вы, Мария Ильинична, предпочитаете всему на свете. Мне представилась такая картина...

На дороге жизни встретились путники. Один сказал другому:

— Бегу от земной жизни... Есть, говорят, мечта о небесном рае. Иду жить мечтой.

А встречный отвечает ему:

— А я этой мечте отдал лучшие свои годы. Бегу от мечты в жизнь, — и убежденно добавляет: — Теперь-то я знаю: нет и не может быть творчества без жизни, нет и жизни без жизни. Сон хорош, когда он освежает, подкрепляет силы для труда. Но очень обидно проспать самого себя.

Укоризненно покачали головами путники, осуждая друг друга, и... разошлись каждый в свою сторону. Точно так же разошлись и наши с вами житейские корабли, Мария Ильинична. Именно поэтому я и хочу ответить вам.

Вы, может быть, удивитесь: почему именно через газету, а не просто письмом по почте? Отвечу. Потому, что вы не одиноки. К сожалению, есть еще люди с темными повязками на глазах, которые ощупью бродят по жизни, бродят, не ведая, какую ошибку допускают. Я не знаю вашего возраста, но жаль, если вы еще молоды. Очень жаль.

Вас к религии прибило горе, потеря близкого. Это путь не новый. И сейчас, в дни мира, свежие могилы близких приводят к церковным папертям людей, которые не ведают, куда деваться от тоски и горя. Они мечутся и пытаются найти утешение в религии. Это ведь всегда бывает — когда горе, религия тут как тут.

Но правилен ли их путь? Сильный от горя ищет исцеления в труде и деятельности. Слабый же не может противостоять обрушившейся на его плечи тяжести. Своим подгибающимся коленям он ищет готовых подпорок в искусственном, иллюзорном мире религии, в которой жизнь объявляется временной и ничтожной, а вместо нее выс-

шей реальностью провозглашается мираж некоего надмирного «царства небесного».

Больше того. Жизнь религией объявляется проходным двором, а смерть — воротами «подлинной жизни».

Но это подлейшая мораль! Она повелевает человеку оплевывать самого себя, как ничтожную, грешнейшую тварь. (Ваше письмо, если уж говорить честно, очень похоже на то, какое могло бы написать духовное лицо; этот вариант ласковой елейной подсказки вполне возможен, потому что за двадцать пять лет жизни в «святом» обществе я слишком хорошо изучил этот мир)».

Марию Ильиничну ошеломила прозорливость бывшего ученого богослова. Ведь так оно и было.

Вспомнив обо всем этом, Мария Ильинична устыдилась самое себя. Устыдилась и уже с бо́льшим доверием продолжала читать ответ Осакова.

«...Кто бы ни были эти люди, но они помогли вам угодить в болото мистицизма...

Не знаю, не ведаю, как вы читали «философские сочинения» и какие именно, но я хорошо представляю, как вы читали «священное» писание. В трудном состоянии человека, надломленного горем.

Вы сразу же уверовали в сладостную «истину», а уверовав, потеряли способность критически мыслить. «Истинное богооткровение» туго завязало вам глаза.

Вы не заметили, как в четырех евангельских сказаниях противоречат друг другу описания чудес, рассказы о делах и странствованиях Христа, описания обстоятельств его смерти, воскресения и жизни после него».

— Нет, заметила,— прошептала Мария Ильинична.— Тут вы не угадали.

«...Вы не задумались над тем, что одно и тоже евангелие проповедует то смирение, то восстание, то осуждает богатство, то прославляет его, то вкладывает в уста Христа речи о справедливости, то заставляет произносить притчи, в которых с эпическим спокойствием рассказывается об обязанности рабов служить жестоким и мерзким в своей жажде наживы господам».

«А ведь в самом деле, — промелькнуло в мыслях Марии Ильиничны. — Как это я не обратила на это внимания?»

«...Вам, Мария Ильинична, следовало бы заглянуть в историю появления евангелий. Прочитайте хотя бы очень

строгую и правдивую книгу Ю. П. Францева «У истоков религии и свободомыслия», и вы увидите бесчисленные слагаемые и те основные струны, вокруг которых формировалась христианская доктрина.

Познакомившись с этим трудом, вы увидите страдающих и воскресающих богов Египта, Иудеи, Вавилона, Малой Азии и Греции; таинства зачинающих матерей; богов, нисходящих оплодотворить человеческое девическое чрево; вы будете иметь представление об ожесточенной борьбе рабского элемента с аристократической, имущей прослойкой в раннем христианстве и многое, многое другое, что поможет вам открыть глаза на Истину и Правду.

Поймите и другое. Нам, людям двадцатого века, людям социалистического общества, не так-то просто понять звериные законы эпохи расцвета рабства. Но вы даже и не попытались их понять. Вместо глубокого изучения или хотя бы ознакомления с необходимым материалом, вы стали на колени перед образом Христа, мозаично составленным из разных учений и верований, вы приняли безоговорочно всю враждебную человеческой жизни концепцию вытекающей из евангелия христианской религии. Уйдя в несуществующие духовные небеса, вы предали землю, на которой живете, презрели ее, исказили в своем представлении ее облик и облик ее людей...»

— Ужас-то какой!

Мария Ильинична вскочила и забегала по комнате.

— И правильно. Правильно. Я забыла о совести! — с каким-то мрачным удовольствием обвиняла она самое себя. — Конечно, «предала» и «презрела».

«...Вы пишете: «...только религия, вера в Христа дает смысл человеческой жизни, дает тепло и свет человеческой душе. Наука же бездушна. Она не в силах удовлетворить запросы человеческой души».

Нет, наука помогает человеку жить, духовно обогащает его. К тому же, жизнь куда шире науки. Куда вы дели радость созидательного труда? Как вы можете не замечать богатейший мир человеческих отношений? Разве жизнь ограничивается партой ученика и лабораторией ученого? Бородин был талантливым химиком и оставил нам «Богатырскую симфонию» и «Князя Игоря». Цезарь Кюи был талантливым военным инженером-теоретиком и не менее талантливым композитором. Ломоносов писал

и стихи, и научные трактаты. Гёте оставил не только «Фауста», но и научные статьи.

Да разве религия, чтобы быть доходчивей и владеть человеческими душами, не привлекала к себе на службу людей, не старалась воспользоваться чисто человеческими стремлениями к красоте и совершенству? Разве она не старалась использовать живопись, музыку, поэзию, архитектуру и скульптуру? Религия, как подлый вор, пользуясь то материальным могуществом, то политической силой, то человеческим невежеством, присваивала себе таланты и человеческие способности.

Вы над этим задумывались?»

— Нет, дорогой профессор, ничего этого я не знала...— вздохнула Мария Ильинична.

«...Церковники любят петь «Литургию» Чайковского. Но послушайте, как клеймят и уговаривают они тех же верующих «не разменивать бога на греховные утехи мира сего». Что будет, если христиане расскажут о любви своей к оперным спектаклям «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Иоланта» и еще более — если признаются, что любят балет «Лебединое озеро»?

О, тут их обвинят и в грехе разжигания похоти, и всех других грехах. Мне, право же, не совсем удобно приводить факты вам, женщине, на что способны «святые отцы», проповедующие о греховности страстей человеческих, и что творят они под покровом ночи, при закрытых ставнях или плотно занавешенных окнах...»

Мария Ильинична почувствовала, что краска стыда заливает ее лицо. Перед ее глазами во всех подробностях встала картина двух последних ночей, проведенных в доме Проханова. Она закрыла лицо руками и, застонав, долго сидела так, стараясь унять волнение. Чтобы не расплакаться, она вскочила, зачерпнула из ведра холодной воды, умылась, и ей стало лучше, она снова уселась за стол и продолжала читать.

«...И эту мерзость вы противопоставляете красоте жизни человеческой, красоте творчества человеческого? Как могли вы так оболгать жизнь, да и науку тоже?!

Вы ее обвиняете в изобретении бомбы, но вы забываете, что первые атомные бомбы приказал сбросить на головы беззащитных людей Японии христианнейший президент США Гарри Трумэн; что в недавней войне, которая поглотила и вашего мужа, первые ракеты дальнего

действия, известные ФАУ, начали сбрасывать на головы верующих английских матерей и их детей гитлеровцы— фашисты, возглавившие «крестовый поход» против «безбожного коммунизма». Вы понимаете, что все это означает? Оружие, крест, бомба... Все сливается.

Вы ссылаетесь на великого хирурга Пирогова. Но знаете ли вы, что в своих автобиографических записках он объявил себя решительным противником церкви? Он рассказывает, как семинарист-репетитор раскрыл ему глаза на гнилость церковного православия, и признается, что дурной и грязный семинарский анекдот навсегда встал между ним и церковью.

Вы даже ссылаетесь на Ушинского. Но я убежден, что вы, тов. Разуваева, не читали строк, которые он написал в последние годы своей жизни. Он признал, что «всякая фактическая наука — а другой науки мы не знаем — стоит вне всякой религии, ибо опирается на факты, а не на верования», и потребовал отмежевания школы от церкви.

Но ежели вы знали об этих словах выдающегося педагога, то нет слов, чтобы выразить возмущение. В таком случае вы действуете в духе «святых отцов», которые способны смотреть вам в глаза и бессовестно лгать.

В заключение этого письма к вам хочется спросить вас, Мария Ильинична Разуваева: куда вы нас зовете? Какое «разумное, доброе, вечное» вы нам предлагаете? Потерявшийся вы человек!

Вспомните евангелия, которые вы теперь сочли идеалом мудрости. Есть там восточная народная поговорка: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму!» (От Луки, 6, 39). А вы, ослепленная сначала личным горем, потом религией, в которой захлебнулись, топя свое горе, предлагаете себя в проповедники.

Как больно за вас, еще одну жертву дурмана веры христовой, тов. Разуваева! Найдете ли вы обратный путь, когда правда постучится в ваше сердце, как постучалась она в мое? Услышите ли вы этот стук? Очень и очень хочется, чтобы вы его услышали».

Мария Ильинична резко откинулась на спинку стула, задумалась. Сидела долго. Думала, вспоминала, сопоставляла факты из собственной жизни...

— Потерявшийся ты человек! — повторила она. — И сказать нечего, чтоб оправдаться.

Не раздеваясь, Мария Ильинична легла в кровать, хотя вечер только начинался, и спокойно проспала до утра. Даже ни одного сна не увидела.

Глава девятая

ЧТО ЭТО?

Мария Ильинична проснулась рано. Утро выдалось на редкость радостное. Солнце только что взошло. Сентябрь. Начиналась осень, но осени как-то и не чувствовалось, хотя почти неделю шли дожди. Дожди эти в такую пору, кажется, всегда снижают температуру, а на этот раз они были какие-то парные. Позавчера разразилась гроза. Так бы и выскочила на улицу босиком.

В это сверкающее утро Мария Ильинична почувствовала себя здоровой. К ощущению здоровья прибавилось еще и чувство облегчения. Не сразу она поняла, откуда оно, это ощущение. Вспомнила об этом, когда начала плескаться под умывальником.

«Ответ профессора...»

Ну, конечно, ответ. Он многое сказал Марии Ильиничне. Значит, она была совершенно права, сомневаясь в достоверности библии. О том же говорит и профессор. А он не просто верующий, а ученый. Он двадцать пять лет изучал священное писание. Если уж она, Мария Ильинична, уловила противоречия, потратив на изучение евангелий каких-нибудь три-четыре месяца, то сколько можно увидеть за двадцать пять лет?

Теперь ясно, зачем тогда приезжал епископ со своей свитой и представителем патриархии. Это они сочиняли письмо; отцу же Василию было, наверное, поручено окрутить ее и заставить подписать его. Ловко он все обставил.

А ведь как ласков был, как юлил, наизнанку выворачивался! «Голуба моя», «душа моя», «драгоценная», «дорогая»... Теперь-то уж ясно, какая она ему «дорогая». Прошло несколько дней, и даже не вспомнил о ее существовании. Сколько у нее побывало всяких бабок с корзинами продуктов, когда она читала евангелие. А после бесшабашной пьянки сразу же заросла дорожка к ее дому. Никто не пришел.

А что, если написать ответ Осакову? В редакцию написать и все, все рассказать. Вот когда он закрутится!

Мария Ильинична наскоро позавтракала и занялась хозяйственными делами. Их было много. Одна стирка заняла почти целый день.

Она работала, а сама все время думала, что написать профессору.

— Вечером сяду, — решила Мария Ильинична. — Хватит с меня.

Вечер наступил как-то быстро и незаметно. Стирка сильно ее утомила, и Мария Ильинична решила сходить в парк, в кино. Она уже с полгода не видела ни одной картины.

«Выходит, я ищу смысла в жизни, — пришла в голову фраза из письма профессора. — Не смысла, а свое место в жизни ищу».

Запуталась она. Жизнь, будто поезд курьерский, мчится с бешеной скоростью мимо, а она стоит на полустанке и глазеет на него. Ей бы там, в вагонах быть, а она все размышляет — ехать ли.

Мысли ее вдруг прервал резкий стук в дверь.

— Входите! — крикнула Мария Ильинична, подумав, что идет врач. Она не сказала, что нигде не работает, и он выписал больничный лист. «Несет тебя нелегкая, — досадовала она. — В кино наверняка опоздаю...»

Но это был не доктор. В комнату вошел мужчина лет пятидесяти. Он показался Марии Ильиничне угрюмым, даже мрачным, но особенно ей не понравился его тяжелый и пристальный взгляд.

— Мария Ильинична? — настороженно спросил он.

Она ответила утвердительным кивком головы и молча рассматривала неожиданного гостя.

Мужчина протянул ей сверток.

— Что это? — удивилась она, не намереваясь принимать ношу гостя.

— Я живу поблизости от церкви. С батюшкой хорошо знаком...

Мария Ильинична вздрогнула, услыхав слово «батюшка», и эта ее реакция, кажется, произвела на гостя благоприятное впечатление. Он едва приметно усмехнулся, что не укрылось от Марии Ильиничны.

— Говорю, с батюшкой знаком... — повторил гость, будто пароль произносил. — Отец Василий просил передать вам...

— А что тут? — спросила Мария Ильинична, чувствуя, как в ней закипает негодование.

— Не могу знать. Мне поручили передать сверток и вот это письмо. — Он с резким пристуком, будто играл в домино, бросил письмо на тумбочку, где находились ее туалетные принадлежности. — Батюшка сказал, чтобы я передал все это вам и подождал ответа.

Мария Ильинична глубоко вздохнула и вздрагивающими пальцами взяла конверт.

Письмо было написано на знакомой ей машинке.

«Многоуважаемая Марьюшка!

С печалью в сердце узнал я о твоей болезни. Скорблю и молюсь о твоем здоровье. Я тоже приболел, но меня больного по срочному делу вызвали в область. Не успел даже сообщить тебе и проститься, поэтому и ничего не слышал о твоей хворобе.

Приехал часа три назад и тут же узнал, что никто из моих людей тебя не проведал, не помог. Простить себе не могу этого. Ты уж бога ради не сердись, Марьюшка, мы все уладим.

Сам я днем никак прийти не мог, опасаясь лишних разговоров. Прости меня, Марьюшка, великодушно. Прошлый раз ты забыла сумочку. В ней ты найдешь подарок, только не от меня. Три тысячи рублей посылает известное тебе лицо в знак особой признательности и благодарности. Ты должна помнить, за что. От меня подарок особый, в том не сомневайся.

Жду тебя, Марьюшка, часов в 9—10. Есть очень важный разговор. Важный для нас. Я привез большие новости. Надо посоветоваться и решить, как лучше поступить. Объясню подробней при нашей встрече.

Обнимаю тебя и жду с нетерпеньем.

В. П.»

— Ишь как! Ждет с нетерпением, — не выдержала Мария Ильинична. — Ну пусть подождет. Может, и дождется.

Мария Ильинична почти вплотную подступила к посыльному, не шелохнувшемуся при ее приближении, и почти крикнула ему в лицо:

— Наплевать мне на деньги, на всех преосвященных и на всю вашу братию. Понятно?

Но гость и бровью не повел.

— Вы не кричите, почтенная, — спокойно изрек он мрачным голосом. — До ваших с батюшкой шуров-муров, — он покрутил рукою в воздухе, — мне нет никакого дела. А сверток вы возьмете. Нести его обратно я не намерен. Я вам не Ванька-побегушка.

— Ничего я не возьму!

— Возьмете.

— А я говорю — не стану прикасаться к вашему свертку.

— Мне что за дело. Не прикасайтесь. Там ваша сумка. Вот она! — Странный гость быстро развернул оберточную бумагу, извлек ее сумку, забытую у отца Василия, и небрежно бросил на постель. — Что передать батюшке?

Вместо ответа Мария Ильинична схватила сумку, молча осмотрела ее, будто не веря, что это действительно ее вещь, и только потом подняла глаза на мужчину.

— Передайте вашему батюшке: мне переслали из редакции ответ ученого профессора, и я сегодня же напишу ему ответ.

Мария Ильинична оделась, взяла в руки сумку и молча направилась к двери. За ней так же молча двинулся мужчина. Она закрыла дверь на ключ, сунула его в карман и обернулась к гостю.

— Мне больше нечего вам сказать. Я иду в парк, в кино. А вечером обязательно сяду за письмо.

— Так и передать батюшке? — насмешливо осведомился он.

— Чего вы ухмыляетесь? — опять вспыхнула Мария Ильинична. — Думаете, впустую говорю?

— Я вам не советую грозить батюшке. Вы его плохо знаете, — тихо и очень серьезно сказал мужчина. — Так что передать отцу Василию?

— Что слышали, то и передайте, — упрямо сказала она и, резко повернувшись, направилась к калитке.

Мария Ильинична быстро шла по улице, независимо помахивая сумочкой, и думала о письме: деньги прислал сам преосвященный, за «особые» услуги. Она раскрыла сумку. Ого! Купюры только сторублевые.

«Заметались... — со злорадством подумала она. — Уж, конечно, им-то известно о статье. Они думают, что я ничего не знаю. Но погодите. Я вас выведу на чистую воду...»

Наступал вечер, тихий, теплый. Солнце еще висело над горизонтом, красное, затуманенное. С лугов полз туман; он прибивал поднятую за день пыль на улицах и как-то скрашивал, смягчал контуры домов, выступающие на фоне чистого, истомленного и будто выцветшего за день неба.

Мысль, что она идет в парк, заставила улыбнуться Марию Ильиничну. Сейчас там очень хорошо. Она побродит по аллеям, вспомнит их прогулки с Андреем, отдохнет.

Мария Ильинична с наслаждением отдалась мыслям о прошлом. Думала и улыбалась. И вдруг она совершенно отчетливо услышала голос Андрея, который рассказывал ей историю этого парка и города Петровска.

Город этот основал молдавский господарь Дмитрий Кантемир, который в конце семнадцатого или в начале восемнадцатого века, с целью вырвать Молдавию из-под власти Турции, подписал с Петром Первым договор и присоединил Молдавию к России.

Царь присвоил Кантемиру титул князя, произвел его даже в сенаторы и подарил имение. Это имение и есть нынешний город, а тогда это был небольшой поселок.

Здесь Кантемир построил дворец, вот эту церковь («Будь она неладна!» — с отвращением подумала о ней Мария Ильинична) и заложил сад в десять или двенадцать гектаров, — цифру Мария Ильинична точно не помнила. Этот кантемировский сад и есть предок нынешнего парка. После смерти Дмитрия Кантемира его сыновья обнесли сад и дворец огромной стеной. На ней были башни, бойницы. Кое-где они сохранились еще и до сих пор.

Андрей рассказывал Марии Ильиничне, что один из сыновей Дмитрия, Антиох, стал известным русским сатириком. Андрей показывал ей учебник русской литературы, где целая глава была посвящена Кантемиру.

Она радовалась вместе с Андреем.

«Наш, петровский. Вот здорово-то!»

С петровским парком было связано еще одно воспоминание. Когда она еще была девчонкой, родители

взяли ее в город, на базар. Маше надоела сутолока, и она пошла бродить по улицам. Долго ходила, пока не забрела в парк. Он ее околдовал. Деревья высокие-высокие и высажены в длинные-предлинные ряды по обе стороны дорожки. Сплошные зеленые стены из деревьев. И трава в парке высокая, густая.

Когда Маша устала карабкаться с какими-то мальчишками на красную каменную стену, она отделилась от шумной оравы, забралась в траву под высокие деревья и уснула.

Отец и мать с ног сбились, разыскивая ее по городу, а она спокойно спала в это время в парке до тех пор, пока ее не разбудили звуки духового оркестра. Ее заметил милиционер и доставил в отделение милиции, где уже было известно о ее исчезновении.

Мария Ильинична любила этот парк. Достаточно побывать в нем один вечер — и уж потом на целый месяц при одной лишь мысли о нем сладко кружилась голова, в ушах звучали мелодии то духового оркестра, то баяна вместе с тихой, чуть грустной песней, доносившейся откуда-то с лугов; то вдруг парк наполнялся хрустальными звуками рояля, которые лились и лились из репродуктора, упрятанного где-то в ветвях деревьев. Ей вспомнилась любовь, тайные встречи с Андреем. Воспоминания об этих счастливых днях заставляли бешено колотиться сердце.

Старинный парк будил в ней жизнь и страсть к этой жизни, мечты о личном счастье, на которое она имела право. Но именно эта ее тяга к жизни почему-то всегда напоминала о грехе и оскорбляла память об Андрее.

Мария Ильинична много лет подряд ходила на работу мимо церкви, и все это время в одни и те же часы она слышала колокольный звон. Она замедляла шаги и испуганно думала:

«Вот он, голос бога. Он все видит, все замечает, но молчит... Что я делаю, зачем отдаюсь соблазнам?»

Так вот и боролись в ней два чувства — к жизни и к богу. Она еще не совсем разобралась в своих переживаниях после того, что произошло в доме Проханова, но где-то в глубине души Мария Ильинична сознавала, что вера ее в бога подорвана. Ведь священник стоит на пути между богом и ею, верующей. Перед священником, созданным ее воображением, она преклонялась и трепетала.

А на поверку оказалось, что этот богом отмеченный человек грязен и подл.

-У жизни свои законы. Мария Ильинична была слаба, чтобы бороться за личное счастье. Именно поэтому ее и несло по жизни, как по широкой реке: она только слабо взмахивала руками, чтоб удержаться на поверхности. Только бы удержаться — и все. Над этой рекой стоял слабый туман; стоило лишь приподняться, пристальней взглянуть, чтоб заметить берега и пристать к одному из них, но у нее не было сил для этого.

...Мария Ильинична вошла в широкие ворота парка, и ее сразу захватило стремительное веселье. Ее словно куда-то понесло. Мария Ильинична безотчетно улыбалась, походка ее стала легкой, пружинистой. Она слышала возбужденные голоса — сзади к ней приближалась целая ватага молодых людей.

— Сторонись! Ожгу!— весело закричал мужской голос, и кто-то легко взял ее за локти.

Не успела Мария Ильинична оглянуться — ватага была уже впереди. Взгляд ее механически скользнул по аллее и вдруг задержался. Среди гуляющих она заметила того самого высокого человека с острым, тяжелым взглядом, который час тому назад приходил к ней в дом.

Но она тут же потеряла из виду знакомое лицо. Мужчина или скрылся за деревьями, или ей просто показалось, что видела его.

«А может, его и не было?» — подумала Мария Ильинична.

— Чепуха какая-то мерещится! — громко сказала она.

— Что вы говорите? — обернулся к ней мужчина, гулявший, как и она, в одиночестве.

— Нет, нет, ничего, — смешалась Мария Ильинична. — Для себя сказала.

Мужчина улыбнулся.

— Очень жаль. Думал, ко мне относится.

Мужчина прошел и оглянулся. На его лице еще витала легкая тень улыбки. Мария Ильинична встретилась с ним взглядом, но тотчас опустила глаза: ну их всех!..

«В кино сходить, что ли?» — подумала она и тут же пристроилась в небольшую очередь около кассы. Она

взяла билет, посмотрела на ряд: пятнадцатый, место восьмое...

Невольно бросилось в глаза, что кассирша почему-то зачеркнула красным карандашом цифры ряда и места, написанные типографским способом, и указала другие; потом, видно, передумала и тем же карандашом проставила снова две прежние цифры: 15 и 8.

— Вот странно! — Мария Ильинична подошла к окошечку.

— Тут какие-то исправления. Меня пропустят?

— Не волнуйтесь, гражданка. Ошиблась я. Контроль уже знает...

Мария Ильинична спрятала билет. До начала сеанса был целый час. Уйма времени, можно обойти весь парк.

«А что? И обойду»,— весело подумала Мария Ильинична и ускорила шаг.

Мария Ильинична после войны еще ни разу не была в том конце, где парк спускался к лугу. Места столь волнующие, памятные... Скоро должна взойти луна. Парк при луне просто изумителен. Она помнила такие ночи еще со времен своей юности, когда тайком гуляла здесь с Андреем.

Мария Ильинична вырвалась наконец из шумного людского потока на более тихую аллею и медленно пошла вперед, выбирая малоосвещенные тропки.

Между деревьев она увидела огромный красный шар луны. Зрелище было настолько чарующим, что Мария Ильинична тихо вскрикнула от изумления.

В ту же минуту кто-то резко рванул у нее из рук сумочку. Мария Ильинична охнула, хотела обернуться, но тут же получила сильный, оглушающий удар в затылок. В глазах у нее засверкали искры.

«Что это? Что это?»—теряя сознание, она повалилась лицом в траву.

Глава десятая

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА НЕНАВИДИТ

Очнулась Мария Ильинична в больнице. Было тихо. Пахло лекарствами. День будто на волах тащили: он очень был долгим. А потом дни покатились один за другим, а ей не становилось ни хуже, ни лучше.

Однажды к ней пришел человек из милиции. Ей почему-то очень хотелось узнать, в каком он звании, но погоны закрывал халат. На вопросы Мария Ильинична отвечала рассеянно, нехотя, а потом совсем замкнулась.

Человек из милиции ушел, не скрывая досады. Он приходил потом еще несколько раз, но Мария Ильинична все время твердила: она шла по аллее, и ее кто-то ударил сзади по голове...

Нет у нее никаких предположений, она ничего не знает...

Врагов или подозреваемых тоже нет...

И вообще она устала, пусть ее оставят в покое.

Врача, лечившего Марию Ильиничну, тревожила длительная апатия, в которой находилась больная. Она явно что-то скрывала, и это, видимо, влияло на ее состояние.

Выписали Марию Ильиничну в конце пятой недели. За день до выхода из больницы ей объявили: она беременна. Врач предупредил: пусть не вздумает прерывать беременность, для нее это опасно. А если у нее будет ребенок — это сможет исцелить ее от болезни.

Слова доктора ошеломили Марию Ильиничну. Она давно убедила себя в том, что ребенка у нее не будет, хотя ей очень хотелось его. Пусть без мужа — сама воспитает. Но это желание так и осталось неосуществленным. А когда Мария Ильинична потеряла надежду стать матерью, ей вдруг объявили о ребенке.

Как все странно случается в жизни! Когда чего-то очень хочешь, хоть головой о землю бейся — не можешь добиться желаемого. И вдруг мечта сбывается, когда совсем уже не ждешь ее исполнения. И не знаешь, то ли радоваться, то ли удивляться. Да и не верилось, что у нее будет ребенок. Она снова и снова спрашивала об этом врача.

— Уж вы поверьте моему слову. Говорить вам неправду нет необходимости, и ошибка исключена. Доверьтесь моему опыту и знаниям...

Врач очень обрадовался тому, что у больной наконец-то исчезла апатия.

С того дня Мария Ильинична начала заметно поправляться.

Мария Ильинична возвратилась домой с твердым намерением: надо немедленно возвращаться на завод. У нее

будет ребенок. Она не может, не имеет права рисковать! Может быть, еще не поздно, может, еще дадут комнату Теперь она не одна.

Ребенок! Боже мой, неужто это правда? Неужто она действительно станет матерью? И хорошо бы мальчика... Прыгать и резвиться хотелось от счастья. Но... нет. Нельзя — вдруг повредишь «ему». Она теперь будет очень осторожна. По струнке станет ходить, лишь бы родился здоровеньким.

Как и все неопытные матери, она делала как раз то, чего совершенно не следовало делать. Надо было двигаться, физически укреплять себя, а Мария Ильинична старалась меньше шевелиться, ходила, будто плавала.

Словом, ребенок стал для нее событием первой важности, все остальное ушло на задний план. Даже о Проханове она забыла. Пусть его. Нет ей никакого дела до этого человека. Никому она не станет жаловаться, лишь бы он не трогал ее, оставил в покое.

Встал, однако, вопрос: на что жить? Деньги, посланные Прохановым, ушли от нее так же неожиданно, как и пришли к ней. Из-за них, наверное, ее чуть не убили.

Но кто мог знать об этих деньгах? Только двое: Проханов и тот человек с угрюмым взглядом. Не отец же Василий хотел отнять у нее деньги?

Наверняка, ее ограбил поповский посыльный. Кто он? Что за человек?

Большой был соблазн рассказать обо всем тому человеку из милиции, но Марию Ильиничну сковал страх: вдруг все это против нее обернется? Ведь она одна, а у Проханова столько приспешников.

Так и промолчала.

Никаких денежных запасов у Марии Ильиничны никогда не имелось. Правда, были золотые часы. Если продать их, два-три месяца просуществовать можно.

А за это время надо устроиться на работу.

На следующий же день Мария Ильинична отправилась в отдел кадров своего завода. Инспектор, оформлявшая ее увольнение, удивилась:

— Никак Разуваева?! — она так на нее смотрела, будто видела индийского магараджу. Потом сухо спросила: — Чем могу служить?

— Обратно хочу. В свой цех.

— Вот тебе на! — всплеснула руками инспектор. — Или попы мало платят?

Мария Ильинична вспыхнула.

— Какие попы? Зачем вы так говорите? Я работать хочу.

Инспектор, женщина лет сорока восьми, сухая, жилистая, с острыми красноватыми глазками, которые, казалось, старались заглянуть в самую душу, заторопившись, стала копаться в ящике письменного стола.

— А это как называется?

Она рывком вытащила знакомый уже Марии Ильиничне номер газеты и поднесла ее к самому лицу посетительницы.

Мария Ильинична отшатнулась от неожиданности. Инспектор же поняла ее по-своему.

— Ага, дрожишь! — она улыбнулась. — Выкладывай — зачем явилась? Кто тебя сюда послал?

Не совсем еще придя в себя, Мария Ильинична вздрагивающим голосом ответила:

— Никто. Я сама. На работу. Ну, вот честное слово!

— Не виляй, не виляй, Разуваева. Мы эти штучки знаем. Не первый год сидим на кадрах. Ишь чего захотела. Выступила с таким письмом, а теперь на завод хочешь? Да таких, как ты, только пусти сюда... Но мы тоже не дураки. Знаем, что такое бдительность.

— Бдительность?! — дрожащим голосом повторила Мария Ильинична. — Да вы что? Я сделала ужасную ошибку... И потом, обманули меня... Мне так трудно! — Она повернулась и хотела уйти, но инспектор удержала ее за руку.

— Э, нет, милая! Минуточку. Посиди-ка в коридорчике, — сладким голосом произнесла она, хотя глаза ее грозно сверкали. — Я сейчас тут подумаю, прикину кое-что... Вот здесь. Садись.

Инспектор закрыла за Марией Ильиничной дверь и куда-то заторопилась.

В коридоре никого не было, стояла тишина. Было слышно, как за окном кто-то нажимал на стартер, но машина не хотела заводиться. Шофер негодовал и страшными словами ругал какого-то Зотова.

Инспектор явилась через несколько минут, властным голосом она приказала:

— Входи!

Мария Ильинична вошла.

— Товарищ Разуваева! Принять обратно тебя на завод мы не имеем возможности: вакансии у нас, к великому сожалению, отсутствуют. Персонально о тебе я доложила начальнику отдела кадров. Если желаешь, можешь обратиться лично к нему. — Инспектор пристукнула по столу карандашом и закруглилась: — Все. Я больше тебя не задерживаю.

Гнев клокотал в груди Марии Ильиничны. Ох, если бы не бился под ее сердцем ребенок. Но все-таки она не сдержалась.

— Шкурница ты! Самое тебя в три шеи надо гнать отсюда, вот что я тебе скажу.

Мария Ильинична несколько секунд с наслаждением наблюдала, как инспектор хватает ртом воздух, точь-в-точь как рыба, выброшенная на берег. Потом решительно повернулась и, подражая инспектору, независимо застучала каблуками: тук, тук, тук... Дверью она хлопнула как можно сильнее.

Затем настала полоса тревог и волнений. И бесконечные бессонные ночи с тяжелыми раздумьями. Потом она вспомнила, что у нее имеется справка из учительского института. Хоть незаконченное образование, но все-таки оно есть. Правда, после гибели Андрея она даже думать боялась о том, чтобы возвратиться в школу. Все будет напоминать об Андрее, а это новые мучения.

Для сильных людей память о дорогом человеке обязывает продолжать его дело, для слабого — тяжела даже окружающая обстановка, в которой жил любимый человек.

И вот теперь она отправилась по школам. Ничего подходящего ей подыскать не могли. Наконец, по совету одного учителя, она поехала в деревню с намерением обратиться к директору школы, который пользовался славой человека чудаковатого, но откровенного и, главное, доброго.

— В Петровске у вас ничего не получится. Ведь надо иметь высшее педагогическое образование. А кроме того, испортили вы себе жизнь этим письмом. История у вас громкая, так что сами понимаете...

Директор семилетней школы, низкорослый, щуплого вида мужчина лет сорока, оказывается, знал ее лично.

Откуда знал — осталось тайной, зато он не стал скрывать, почему отказывает ей в работе.

— Мозги у вас, Мария Ильинична, набекрень, вот в чем беда. К ребятам вас допустить нельзя. Вы ведь можете за свое приняться, религиозную нравственность прививать.

— Да нет же! Какую там нравственность! — запротестовала Мария Ильинична. — Не до жиру, быть бы живу мне...

— Знаю я вашего брата, фанатика. Хоть кол теши на голове — будете говорить стриженое вместо бритого... Помните картину о боярыне Морозовой? И потом, очень вы давно учились-то. В сущности вы не учитель. Диплома об окончании института у вас нет. В школе всего несколько месяцев поработали. Нет, Мария Ильинична, считайте меня кем хотите, а я боюсь за детей. Страшно, понимаете? Мне жалко вас, но вы гордая, помощи просто так не примете...

— Не приму. Милость мне не нужна.

— Вот как! — директор помолчал, раздумывая.— Нет. Рисковать не имею права. Считайте меня трусом. Все, матушка. Напишите обо мне в газету, пожалуйтесь в районо,— не приму. Фанатиков боюсь. Нервы измотаешь с ними, а успеха ни на грош. — Он встал.— Примите сочувствие, поклон, и желаю здравствовать.

Наступила зима, самое страшное для нее время года. Мария Ильинична всегда мало зарабатывала, плохо одевалась, не сводила концы с концами. Но особенно плохо приходилось ей в эту осень. Деньги, вырученные от продажи часов, кончались, к тому же она задолжала хозяйке за квартиру.

Однажды вечером, когда Мария Ильинична возвратилась домой, ее ждала записка от Проханова. Она сразу узнала его почерк.

«Марьюшка! — писал он. — Не стану скрывать: твое упрямство огорчило меня. В большой тревоге за тебя и твое здоровье провел я месяц, когда ты лежала в больнице. Не один раз посылал я человека, но хозяйка самым непочтительным образом выпроваживала его из дома и не хотела говорить, где ты находишься. Я, грешным делом, подумал — не уехала ли ты из наших краев, чем бы

нанесла мне глубокую обиду. И я очень рад и благодарю Бога, что ошибся.

Дорогая Марьюшка! Заклинаю тебя забыть все дурное и возвратиться ко мне. Уж как было хорошо да славно с тобой. Что ж тебе мучиться одной? Я совсем недавно узнал, что ты в городе и находишься в нужде. К чему тебе эти мученья? Подумай сама.

Эх, Марьюшка, Марьюшка! Истосковалось по тебе мое сердце. Сам бы пришел, упал бы перед тобой на колени, да сан мой не позволяет ходить по дворам, тем более с такими греховными мыслями и намерениями.

Приходи, Марьюшка. Жду тебя с превеликим нетерпением.

В. П.»

Мария Ильинична заплакала, когда прочитала это письмо. И действительно, замучится она совсем. Никому она не нужна. Все от нее отвернулись.

Фанатичка! Но какая же она фанатичка? «Потерянный вы человек!» — вспомнила она письмо Осакова.

Правда, к детям ее допускать, конечно, страшно, и она не могла строго судить директора школы, который был с ней откровенным. Но что ей отказали на заводе — это беззаконие!

Мария Ильинична хотела пойти в райисполком или в райком партии с жалобой. Но как она объяснит свой поступок с письмом в газету? Как сказать, что подписала его пьяной, когда едва ручку держала в руках.

Стыдно. Не могла она сказать правды, а лгать была не в силах.

Так и не пошла Мария Ильинична ни в райисполком, ни в райком партии.

Но и к Проханову идти не хотела.

Как же быть? Денег у нее всего на неделю. Она плохо питалась, участились припадки, от женской ее привлекательности почти ничего не осталось. Даже самой на себя противно смотреть в зеркало. Или беременность ее уродовала так?

Но что же станет с ребенком? И она снова впадала в мучительные раздумья.

И решила:

«Нет, не пойду. Не хочу. Истосковалось его сердце! Знаем твою тоску. Приглашай ту, что в дверь колотила».

Так и не пошла. Рано легла и спала на редкость спокойно. Наутро встала не такой разбитой, как всегда. Днем никуда не пошла — на улице лил дождь. Весь день просидела дома. А вечером квартирная хозяйка снова подала ей письмо.

Проханов опять приглашал ее к себе. Писал с обидой и в то же время заметно заискивал, что удивило и в глубине души как-то порадовало.

Но все-таки решила: не пойду.

А назавтра снова принесли письмо. Отец Василий уже умолял прийти к нему. Если она сама не придет, он явится к ней в дом.

— С ума сошел, — испугалась Мария Ильинична. — Разговоров и так не оберешься. Надо сходить. И откуда он взялся на мою голову?

Мария Ильинична всерьез была встревожена: хоть и просительный был тон, но чувствовалась явная угроза. А Мария Ильинична хорошо знала, каким он может быть.

Когда она, тихонько ступая по ступенькам крыльца, подошла к двери, то сразу же услышала за дверью гулкие и неровные шаги Проханова.

«Побегай, побегай! Может, жирку-то и сбавишь, — позлорадствовала она. — Сколько заставил меня мучиться, проклятый!»

Мария Ильинична присела на скамейку и с удовлетворенной улыбкой слушала шаги человека, который причинил ей столько горя. Просто отлично, что он бесится. Она с наслаждением отдалась мстительному чувству.

Но долго тоже было нельзя сидеть на крыльце — чего доброго, увидят ее, пойдут чесать языками.

Мария Ильинична встала и тихонько постучала.

Сразу же дверь распахнулась, и хозяин жадно схватил ее за плечи. Она пыталась отстраниться, но он тяжело дышал, не выпуская ее из рук, будто боялся, что она выскользнет.

— Ну, ну, Марьюшка. Не надо вырываться. Не к чему, не к чему... — Он закрыл дверь, и они вошли в дом. Как и в прошлый раз, в передних комнатах света не было, он горел только в гостиной.

Они вошли в нее, и Проханов сразу же потащил Марию Ильиничну к накрытому столу. Усадил ее на стул, таинственно ей подмигнул и скрылся в той комнате, где она плутала в памятную для нее ночь.

Воспоминания испортили ей настроение. Она хотела уйти, но все двери, конечно, закрыты, а выпрыгивать из окна, бежать по огороду, через чужой двор... Нет уж, лучше остаться...

Проханов не заставил себя долго ждать. Он появился со свертком в руках; довольный и какой-то торжественный. Сверток он держал на вытянутых руках. Подойдя к гостье, Проханов низко поклонился и подал ей ношу.

Она растерянно улыбнулась, встала и боязливо взяла в руки сверток.

— Раскрывай, раскрывай, Марьюшка!

Мария Ильинична развернула бумагу и ахнула от изумления. На руках у нее лежал сероватый шелковистый костюм с красивым фиолетовым оттенком.

Она развернула подарок и, не отдавая себе отчета, начала примерять. Костюм, пожалуй, ей впору. Правда, рукава, наверное, будут длинноваты, но их легко укоротить. И костюм будто на нее шили.

И в ту же минуту Мария Ильинична устыдилась своих корыстных мыслей. Костюм предназначался ей, но почему он дарит? Опять что-нибудь нужно от нее?

— Возьмите, отец Василий. Очень красивый костюм, — как можно равнодушней сказала Мария Ильинична, протягивая ему сверток.

— Ну что ты, что ты, Марьюшка! — каким-то испуганным голосом ответил он и отстранил от себя ее протянутые руки. — Тебе подарок, тебе. Одевайся. Я ведь на глазок купил. Ездил в епархию к преосвященному, зашел в магазин. Для тебя куплено. Одевайся...

— Нет уж, возьмите, отец Василий. Мне такие вещи не по карману покупать. Разговоры пойдут. Зачем это мне?

— Ах ты, господи! Вот ведь незадача какая! Даже не знаешь, с какой стороны к ней подойти...

Мария Ильинична кинула на батюшку хмурый взгляд. У нее вертелся на языке вопрос, но она не решалась задать его.

— Ну, чего молчишь-то? Спрашивай, коль уж не терпится.

— А зачем вам, батюшка, изобретать какие-то пути подхода? Дарить, хитрить, улещать. Женились бы на женщине посолидней и жили бы, как все живут. Ведь вам шестьдесят.

— Эх, Марьюшка! — Отец Василий огорченно вздохнул. — Ты же знаешь: взять жену второй раз не имею права по закону божьему.

— Если по закону божьему нельзя жениться официально, — не дала договорить ему Мария Ильинична, — то, выходит, можно вот так? — она указала глазами на ковер. И столько было в этом ее взгляде откровенного гнева и презрения, что лицо Проханова заметно потемнело.

— Скажи, пожалуйста, какие времена пошли. Нет никакого почтения к духовному отцу. А я-то ночами не сплю, с боку на бок поворачиваюсь и молюсь, молюсь во здравие ее. И вот она, благодарность.

Мария Ильинична рассмеялась.

— Уж я-то, батюшка, знаю, отчего вы не спите по ночам. Вам не дают спать стуки-перестуки в окна да в двери...

Проханов сделал вид, что не понял намека.

— Глупа ты, Марьюшка, ох как глупа. Бог-то попадью иметь разрешает, и была она у меня.

— Знаю, что нельзя иметь вторую.

— А спрашивала зачем?

— Потому что непонятно: почему по законам божеским жену вторую иметь нельзя, а грешить со встречной-поперечной можно?

— Уймись, Марья. Не кощунствуй. Бог тебя накажет за эти твои еретические речи.

— А меня бог и так наказал. Ехать дальше некуда. Одна живу на свете, и каждый может обидеть. Как вы вот, к примеру...

— А ты еще не знаешь, как бог наказует. Не гневи, не гневи его, Марья.

— А он что же, наказует только таких, как я? А вас, батюшка, милует? — Мария Ильинична задохнулась от слез. — Все для вас, попов. Вам пироги и пышки, а нам синяки и шишки! Где же она, правда? Где же милость богова?

Лицо Марии Ильиничны покрылось пятнами, глаза горели. Проханов, не ожидавший такого разговора,

уходил от ее взгляда и не знал, что ответить. Он только бормотал:

— Уймись, Марья, уймись бога ради. Бес в тебя, что ли, вселился?

— А я не хочу униматься.—Мария Ильинична зло рассмеялась, испытывая от этого смеха наслаждение. — Почему я не могу вам правды сказать?

Она опять расхохоталась, но этот смех ее был нездоровым. Наступал кризис, она это чувствовала, но остановиться не могла.

Она все высказала Проханову, что у нее наболело. Голос ее постепенно возвышался, накалялся, и вдруг все сразу оборвалось. Мария Ильинична будто куда-то провалилась...

Очнулась Мария Ильинична глубокой ночью. Она лежала истерзанная, изнемогающая от слабости, жажды и тошноты.

В комнате был полумрак. Мария Ильинична скосила глаза, но никого рядом не увидела. Она подняла голову, собрав для этого все силы, и будто сквозь туман разыскала взглядом Проханова. Он сидел за столом, рвал зубами огромный кусок мяса и что-то бормотал себе под нос. Никогда еще Мария Ильинична не видела его таким пьяным.

Он пил и пил стаканами...

Когда спиртное кончилось, Проханов никак не мог понять, почему в бутылках ничего не осталось. Он ухватился за край стола, пополз по скатерти осоловелыми глазами и сделал попытку поймать графин. Но рука его все время попадала в тарелку с винегретом.

Было смешно и страшно смотреть на этого человека. Наконец ему удалось изловить графин. Он потряс его перед глазами и опрокинул в рот.

Свободной рукой он потянулся к тарелке с винегретом, набрал полную ладонь и отправил все это в рот. Потом он стал вытирать руки о скатерть. Вытирал долго, будто ритуал выполнял, и наконец удовлетворился.

Следующим этапом был подъем из-за стола. Проханов ухватился за его края, рывком поднялся, но не рассчитал усилий и повалился грудью на тарелки с закусками.

Все это было бы очень смешно, будь Мария Ильинична сторонним наблюдателем. Но ведь она была близкой с этим человеком и носила под сердцем его ребенка. Он — отец ее ребенка! Она будет всю жизнь зависеть от этого человека. Ей захотелось кричать во весь голос и бить, бить... Бить все подряд, что попадется под руку, бить изо всех сил, до изнеможения!

Она уже хотела вскочить, но в этот момент батюшка повернулся, глянул на кровать, где в бессильной позе разметалась Мария Ильинична, и дыхание у нее приостановилось. Выписывая какие-то сложные вензеля босыми ногами по ковру и что-то бормоча себе под нос, он устремился к кровати.

Мария Ильинична будто застыла и не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Она только смотрела на него расширившимися зрачками и молча ждала.

Проханов наконец добрался до постели, сел и начал стаскивать с себя рубашку. Но он забыл расстегнуть ворот и никак не мог стащить ее через голову. Рассвирепев, он так рванул рубашку, что потерял равновесие и свалился на ковер. Он долго барахтался на полу и наконец захрапел...

Мария Ильинична боялась шелохнуться, чтобы не привлечь его внимания. Она долго лежала, ни о чем не думая. Потом расплакалась. Плач ее перешел в рыдания.

И вот тогда-то произошло то, о чем пришлось горько и долго жалеть потом.

Муки Марии Ильиничны были так сильны, что, казалось, она сейчас умрет. Она вскочила и устремилась к столу. Ей хотелось не думать, ни в коем случае не думать. Мария Ильинична схватила бутылку, вторую, третью, но они были пусты. Только в графине осталось немного водки. Она вылила остатки в стакан, жадно выпила, но хмеля не почувствовала.

Мария Ильинична вспомнила—отец Василий приносил бутылки откуда-то из кухни. Она бросилась в другую комнату, где сразу же заметила в полумраке холодильник. Мария Ильинична распахнула дверцу. Холодильник был забит продуктами. Тут стояли и три бутылки с водкой. Она схватила одну, вторую и, не закрыв дверцы, спотыкаясь, побрела к столу.

...Через час Мария Ильинична уже ничего не помнила и не отдавала себе отчета, что делает.

Глава одиннадцатая

ОТКРЫТИЕ МАРИИ РАЗУВАЕВОЙ

Мария Ильинична ненавидела Проханова и все-таки осталась жить у него. Она часто плакала, но еще чаще, чтобы утолить тоску, прикладывалась к бутылке.

Было очень тревожно на душе, но Мария Ильинична убеждала себя, что здесь она только из-за ребенка. Не будь его, ноги бы ее не осталось в этих хоромах.

Проханов видел, что она часто пьет, но ни одного слова не сказал о греховности ее поступков. Он порой лишь внимательно вглядывался в нее и едва приметно ухмылялся.

Шел уже пятый месяц беременности. Тошноты, часто мучившие ее, стали проходить, а тут, как на зло, она снова почувствовала себя плохо.

— Что с тобой, Марьюшка? — подозрительно глядя на нее, спросил Проханов и покосился на ее округлившийся живот.

— Ничего, ничего, Василий Григорьич, — испугалась Мария Ильинична. — Наверно, съела что-то. Нехорошо мне.

Как ни близки были их отношения, Мария Ильинична не могла решиться сказать ему, что ждет ребенка. У нее просто язык не поворачивался.

В эти критические минуты у Марии Ильиничны было уже испытанное средство для успокоения совести — бутылка. Их запас в доме пополнялся с завидной регулярностью. За этим хозяин следил лично. Особенно внимателен к содержанию холодильника он стал с того дня, когда в доме постоянно поселилась Мария Ильинична.

Она пила, чтобы заглушить тоску и отчаяние. Она хорошо понимала, что ребенка ей придется воспитывать одной, и уже успела смириться с этим. Только бы ничего не случилось до его рождения; она опасалась, что отец Василий выгонит ее, когда узнает о беременности.

Однако Проханова нельзя было обмануть. Косясь на ее живот и медленно бледнея, он почему-то шепотом спросил:

— Который месяц?

Этот шепот вселил в нее ужас. Она взглянула в расширившиеся зрачки Проханова и вдруг дико закричала:

— Не-ет! Не-ет! Ты не отнимешь его...

Проханов сильной, тяжелой ладонью ударил ее по щеке. Раз, другой, третий! От последней пощечины Мария Ильинична отлетела к кровати и упала.

— Мало тебя учили! Почему не сказала вовремя? Ну, отвечай, когда спрашивают!

Но Мария Ильинична не могла говорить: язык ей не повиновался.

Она думала только об одном: стоит ему ударить в живот — и все, ребенка ей никогда не видать. Она молила его глазами, и это, кажется, дошло до сознания Проханова, когда он рывком поднял ее с пола.

Проханов сразу переменился. Гнева его будто и не было.

— Боишься, душа моя? — он улыбнулся одними губами, хотя глаза его холодно блестели.— Не надо отвечать, сам вижу. Избавляться теперь поздно, упустили момент. Попытаемся... Гм... Садись-ка!

Он усадил ее на кровать и, заглянув ей в глаза, холодно и властно сказал:

— С этой минуты душа твоя и тело в моих руках. В моих же руках и жизнь ребенка. Ясно тебе?

— Да, — одними губами сказала Мария Ильинична.

— Вот и славненько.

Он не спеша сходил на кухню, принес нашатырный спирт, тем же спокойным шагом возвратился к Марии Ильиничне, неподвижно сидевшей на кровати, и дал ей понюхать из пузырька. Марии Ильиничне стало лучше.

Проханов отнес пузырек со спиртом и возвратился с валерьяновыми каплями. Пипетки он, наверное, не нашел и потому стал капать в рюмку прямо из пузырька. Капал и вполголоса считал:

— Раз, два, три, четыре...

Когда досчитал до пятнадцати, рука его дрогнула, он досадливо поморщился. Потом покосился на Марию Ильиничну, внимательно следившую за его руками, и сказал равнодушно:

— Десять меньше, десять больше — велика ли разница?

Наполнив рюмку водой, Проханов подал ее Марии Ильиничне.

— Выпей, Марьюшка, Легче будет.

Она послушно выпила.

— Ну, вот и славненько. А теперь послушай, что я тебе скажу. Ты помнишь газетную статью? Ту, что писал этот христопродавец...

— Профессор Осаков? — поспешно спросила Мария Ильинична; она совсем уже пришла в себя, хотя все еще настороженными глазами следила за руками Проханова. Эти руки заставляли ее трепетать от страха. От них зависело — быть или не быть ее ребенку. — Помню, помню, батюшка.

Он болезненно поморщился, потом внимательно посмотрел на нее и равнодушно спросил:

— Ты ему ничего не ответила? Кажется, собиралась...

Мария Ильинична едва сдержала крик. Значит, он знает о ее угрозе написать в редакцию. Слышал эти слова единственный человек — его посланец. Неужто это он ее... тогда в парке?

Подозрение ослепило Марию Ильиничну, но чувство самосохранения, а еще больше инстинкт матери заставили ее ответить как можно спокойней:

— Нет, батюшка. Хотя, каюсь, хотела писать. Очень было обидно...

— Сейчас не до исповеди, — сухо оборвал ее Проханов. — И без того упустили время... — Он помолчал, подумал и требовательно сказал: — Так вот, Марьюшка. Надо сегодня же написать ответ этому еретику.

— Как написать? — изумилась Мария Ильинична. — Все, что я думала?

Проханов холодно взглянул на нее.

— Нет мне дела до твоих дум. Напишешь то, что я тебе скажу.

— Хорошо, батюшка, — тотчас согласилась Мария Ильинична.

Она поняла единственное: ее ребенку пока ничто не угрожает, а все остальное ее не касалось. Лишь бы он не тронул ее больше. Она напишет что угодно и куда он захочет, лишь бы жил ребенок, лишь бы родить его. Пусть только он ее не тронет.

Она заплакала от радости и облегчения. Но тут же спохватилась.

— Когда писать? Сейчас? — Мария Ильинична поспешно стала подниматься.

— Полежи маленько,— остановил ее отец Василий.— Я сейчас подготовлю все.

— Хорошо, батюшка. Я полежу.

— Ну, вот и славненько! Давно бы так...

Проханов улыбнулся: все складывалось отлично.

Минут через сорок Мария Ильинична сидела за столом и старательно выводила буквы на листах, вырванных из школьной тетради.

— Да ты не спеши,—раздраженно заметил Проханов: он сидел с ней рядом и внимательно следил, как она пишет. — Начни-ка сначала...

Мария Ильинична послушно взяла чистые листы, но все же не удержалась, чтобы не бросить настороженного взгляда на его руки. Проханов перехватил этот взгляд и досадливо поморщился.

— Пиши отсюда,— ткнул он пальцем на плотный белый лист бумаги с готовым машинописным текстом. — Видишь?

— Вижу, батюшка.

Отец Василий удовлетворенно хмыкнул, но промолчал. Мария Ильинична, положив палец на готовый машинописный текст, начала писать.

«Уважаемая редакция! Прошу этот мой ответ переслать А. А. Осакову, бывшему профессору богословия, автору статьи «Встреча в пути».

Я не могу удержаться, чтобы не написать вам по поводу вашего выступления в газете.

Вы пишете: «От горя сильный ищет исцеления в труде и деятельности, горечь мыслей рассеивает чтением, слезы растворяет в пленительной красоте искусства, а от одиночества спасается меж людей».

Но я к разряду сильных не отношусь. Жизнь моя из-за тяжелых утрат не имеет теперь ни цели, ни смысла...»

«Господи! Чепуха-то какая! — с неудовольствием подумала Мария Ильинична, но, испугавшись своих мыслей, быстро взглянула на Проханова. Однако тот потерял, кажется, к ней интерес и думал о чем-то своем. — Ну и ладно... А насчет моих целей ты врешь. Заиметь бы мне малыша. И ничего мне не надо...»

Тут Мария Ильинична оборвала себя и торопливо заскрипела пером.

«...В душе моей образовалась пустота, бездонная, холодная, страшная.

Вы — человек, назвавшийся нравственным руководителем... Дайте мне средство от этой пустоты! Я страдаю. Дайте мне лекарство, но только такое, которое душа моя примет и будет ей легче...»

«Ох, если бы мне такое средство?» — опять оторвалась от текста Мария Ильинична.

«...Но заранее скажу, что такого лекарства вы мне, профессор, не дадите, потому что его нет, кроме веры в Христа.

Вы мне сейчас скажете: « А пафос труда для построения светлого будущего?» Но разве могут материальные блага удовлетворить и насытить бессмертную душу человека?

От одиночества спастись «меж людей» тоже нельзя. Чем больше я стараюсь понять людей и сблизиться с ними, тем более одинокой я чувствую себя меж ними.

И что мне за дело до того, что в Евангелии и в Библии есть противоречия! Вы правы, что я читала Евангелие «без привлечения свидетельств истории». Но опять же, какое мне дело до этих свидетельств? Я нашла для себя ответ, нашла лекарство для души, и мне сейчас легче, и мне больше ничего не нужно.

Ведь что такое христианство? Это спонтанная реальность нравственности».

— Василий Григорьич, а что значит слово «спонтанная»? — спросила Мария Ильинична.

Проханов скривил губы.

— Твое же письмо. Чего у меня спрашиваешь? — и рассмеялся жестко, глумливо.

Мария Ильинична молча проглотила пилюлю.

«А что такое нравственность? Краеугольный камень нравственности — это самоусовершенствование человека, это любовь к ближнему, возведенная в форму долга.

Христианская нравственность была всегда чрезвычайно плодотворна для человечества...»

«Уж конечно... Особенно плодотворна во времена инквизиции», — думала Мария Ильинична.

«...Если уж на то пошло, мы и сейчас живем по законам христианской нравственности... («Как со мной, например, живешь».), потому что все мы прямо или косвенно воспитаны под воздействием христианских идей».

Мария Ильинична остановилась.

— Ну, что там такое? — строго спросил Проханов.— Чего в потолке не видала? Сама же пойдешь на почту. И сегодня же...

Мария Ильинична вздрогнула и, не ответив, заторопилась, но, представив себе, что идти надо почти на другой конец города, в пургу, когда под ногами клейкая грязь, смешанная со снегом, она тихо заплакала. Заплакала от жалости к себе...

«...А в отношении того, что я «лгу на жизнь», то еще нужно посмотреть, кто из нас больше лжет: Вы или я?»— торопливо выводила рука Марии Ильиничны. («Конечно, я лгу. Вернее, батюшка и я вместе с ним».) Своими нападками на религию и веру в Христа вы оскорбляете верующих, а особенно священнослужителей, которых надо чтить, потому что они творят добро, ведут скромный, достойный образ жизни и святыми своими делами создают великую славу Всевышнему».

Рука Марии Ильиничны дрогнула: ребенок шевельнулся у нее под сердцем и сделал ей больно. Она положила руку на живот и зло усмехнулась: вот они, святые дела «святого» отца... О всевышнем рассуждает, молится, пыль в глаза людям пускает. Видимость благочестивая, а сам... Ох, батюшка, батюшка! Слишком дорого обходятся твои «святые» дела.

«...Если нельзя доказать бытие Бога логическим разумом, точно так же и тем же логическим разумом нельзя доказать, что Бога не существует.

А еще мне хочется спросить вас. Неужели вы, прослуживший 25 лет профессором богословия, не заметили, что слова Евангелия светятся внутренним светом, они живые и способны входить в душу человека и проводить там свою таинственную работу, перерождая и, главное, спасая того человека от тяжелой вещественной мглы, от тьмы и грехов мира?»

Мария Ильинична написала этот абзац и с опаской покосилась на Проханова. Он сидел за столом, положив

руки со сжатыми кулаками на стол, и, тяжело сдавив челюсти, почти все время находился в недвижимой позе.

Этот человек был страшен. Но как же она раньше-то не разглядела его!

«...Это письмо к вам, как и предыдущее, на которое вы мне ответили через газету, я пишу не для того, чтобы стать проповедником, кого-то переубедить и вовлечь в церковь... Зря вы мне все это приписываете. Пишу я вам совсем по другой причине, о которой, впрочем, не считаю уместным говорить.

М. Разуваева».

Мария Ильинична подписалась механически. Ей не давали покоя слова «вовлечь» и «переубедить». И вдруг ее словно озарило.

Ну конечно! Церковники именно вовлекают. Идут на все, даже вот так, как с ней. Все используют, чтобы «божеское» слово везде слышалось. Даже центральную печать вовлекли в спор. А ведь это все не отцом Василием придумано.

Перед взором Марии Ильиничны возникла картина, как подкатил к дому Проханова целый кортеж автомашин и он, изогнувшись, целовал руку какому-то человеку, сидевшему в сверкающем автомобиле...

«Чего ж я, глупая, удивляюсь-то... Сама его ненавижу, проклятого, а оторваться от него не могу. А сколько, сколько таких вот дур он использовал для своих целей?.. »

Глава двенадцатая

ВТОРОЙ ОТВЕТ ОСАКОВА

Даже Проханов был удивлен — так быстро ответил бывший профессор-богослов Осаков. Прошло всего девять суток, как было отправлено письмо в редакцию с просьбой переслать его автору статьи. И вот он ответ.

В тот день Марию Ильиничну почему-то все время знобило, не помогала и водка. Она лежала на диване, укутавшись потеплее, когда Проханов ворвался в дом. Никогда еще Мария Ильинична не видела его таким. Он весь трясся, буквально ходуном ходил, будто все у него было не очень прочно скреплено шарнирами. Обычно ро-

зовое лицо его побелело, борода была всклокочена, а губы превратились в одну синюю тонкую линию.

Он зажег люстру на все лампы, упал в кресло и долго не мог развернуть скомканную газету. Мария Ильинична хотела уж броситься ему на помощь, однако он уже справился сам. Расстелив на коленях газету, отец Василий уставился в нее, но было видно, что читать он не в состоянии.

Мария Ильинична тихонько поднялась с дивана, проскользнула к двери и разыскала аптечку. Не считая, она налила в рюмку валерьяновых капель, наполнила ее водой и, семеня ногами, чтоб не расплескать лекарства, заспешила в гостиную.

Проханов одним глотком проглотил лекарство и вдруг нежно привлек к себе Марию Ильиничну. Поцеловав ее в щеку, он прижал ее голову к плечу и, ласково поглаживая ее, заговорил глухим голосом:

— Эх, Марьюшка, Марьюшка! Писали мы с тобой — «конец атеизму». Конец будет нам, Марьюшка, а не этим проклятым безбожникам.

Мария Ильинична насторожилась. Когда-то отец Василий был ласков к ней, предупредителен, но такой нежности, как сегодня, от него она не видела.

— А что случилось-то? — шепотом спросила она.

— Прочти, если хочешь. Шила в мешке не утаишь.

Он сунул ей в руки смятый номер газеты.

— Можно мне здесь читать? — робко спросила Мария Ильинична, не поднимая глаз, в которых дрожали слезы.

Проханов, охваченный новым порывом, поцеловал ее в щеки, в лоб и в висок, осторожно прижал ее к себе и вполголоса сказал:

— Читай, голуба моя. Я посижу так, с закрытыми глазами.

Чтоб не расплакаться от этой нежданной-негаданной ласки, Мария Ильинична с силой прокашлялась, незаметно смахнула слезы и, волнуясь, стала искать фамилию Осакова.

Статья называлась «Радость и счастье в труде познают». Бывший богослов в сущности делал обзор писем, поступивших в редакцию.

«Редакция ознакомила меня, как автора статьи, — писал он, — с большой пачкой откликов.

А. Иванов из г. Бузулука, уже знакомый автору по письмам в редакции других газет, где мне случалось выступать, объявляет себя верующим и высказывает недовольство, почему ответ М. Разуваевой поручили бывшему богослову.

«Недоволен» выступлением газеты и В. Назаров из Астрахани, он усиленно защищает «серьезную мысль» М. Разуваевой.»

«Не богато у батюшки почитателей», — с радостью подумала Мария Ильинична.

Ласка Проханова стала ей неприятна. Она освободилась от обнимавших ее рук и уселась за стол. Ей было радостно, что спор двух сильных людей не очень сладко оборачивался для отца Василия. Поделом ему. Похлеще бы надо...

«Поговорим о беде... (эти два слова Осаков вынес, как подзаголовок) и вернемся к теме.

Все остальные письма — это единый голос советских людей, стоящих на прогрессивных позициях последовательной материалистической философии.

Тов. Власов из Запорожья пишет, что Разуваева, «ища утешения в своем личном горе, увлеклась религиозным дурманом, вздумала подчинить науку религии («Не я вздумала, милый мой человек, а поп».), не понимая того, что наука ведет к светлому будущему, а религия тянет к первобытному состоянию человека». З. Руденко из Краснодарского края и другие товарищи, лично изведавшие тяжесть потерь и переживаний, единодушны в том, что самым благотворным лекарством в беде был для них самозабвенный труд на пользу людям и общение с этими самыми людьми.

Испытала беду учительница В. Кузыкина. Но это ни в коей мере не поставило ее на колени перед прокопченными ладаном досками икон. «Я старалась приглушить свою боль в сердце, — пишет В. Кузыкина, — общением со своими питомцами. Только работа, и работа беззаветная, смогла затянуть рану в моей груди».

Перенесла беду учительница А. Морилова из г. Городца Горьковской области. И у нее умер муж, осталось на руках трое детей. Но тов. Морилова, как и В. Кузыки-

на, «умела находить успокоение в труде, среди школьников и отзывчивых наших людей».

Взволнованно звучат строки письма Таисии Сергеевны Шестаковой.

«Прочитав статью... решила написать, хотя никогда не писала в газету. Но я не могу не написать. Я *тоже* учительница... *тоже* потеряла мужа, только я имею еще и двух детей... Но я не пошла по пути Разуваевой...»

«Почему меня все время именуют учительницей?— с недоумением пожала плечами Мария Ильинична. — Странно. Во втором письме даже упоминания нет, что я работала в школе. Может, в первом написано? — Она задумалась. — Ну ясно: отцу Василию выгодно представить меня учителем, чтобы эффект был побольше... Вот же человек! И тут ловчит! Плохи, видно, твои дела, почтенный святой отец...»

Следующий подзаголовок имел название «О слабости человеческой».

Пенсионер Павел Иванович Песков в своем подробном письме о низменности, социальной и общественной вредоносности религии так и называет поведение М. Разуваевой — трусостью перед жизнью.

«Вы слабый, очень слабый человек, М. Разуваева.

Я представляю вас на фронте, окажись вы там в годы войны. Ведь вы же предали бы своих только потому, что вам с врагом легче прожить. У вас философия страшная. Мало того, что вы трус по натуре, вы еще философствуете, пытаетесь найти обоснование своей никчемной жизни. Таких людей мы, фронтовики, презирали. И должны презирать. Это само собой разумеется, ежели исходить из законов элементарной логики...»

Мария Ильинична похолодела. Это уже не только по священнику, но и по ней самой.

Вот он, людской приговор. Беспощадно, но ведь она его заслужила. Что там говорить—они правы. Ведь никто же не знает, что и как было на самом деле...

«Знаете ли вы, М. Разуваева, что написали? Ведь вы поставили свою религию в ряд псевдоотдушин для горя человеческого наряду с пьянкой и самоубийством. Вы сами подписали ей приговор, отметив, что для вас, в вашей «пустоте отчаяния» религия явилась той «духовной сивухой», как ее называл Ленин, в которой вам

«посчастливилось» утопить свои метания. Но ведь тогда и любой пропойца у кабака тоже может рекомендовать свой «путь жизни», как единственно правильный выход...»

Это подметил, в частности, и Леонид Григорьевич Соколенко из Пермской области. Он пишет:

«Как пьяный не может найти правильного решения и делает безобраия, так и вы, М. Разуваева. Разница только в том, что пьяный, выбивая у соседа стекла, не призывает последовать его примеру. Он не выступает в газете, чтобы и все окружающие били окна у соседей, а вы...»

А вы, Мария Ильинична, — уже от себя добавляет профессор, — прислали свое письмо в редакцию, как призыв к вашему пути для всех советских людей. Но они знают настоящие лекарства против трудностей — творческий труд, деятельную жизнь для людей и среди людей... А ведь эти пути лежали и перед вами, М. Разуваева...

Но как вы оценили, вы, христианка, великую действенную силу творческого труда?

Вы сознаете, что пишете? Для вас труд — это только труд кулацкого стяжательства «материальных благ». («Правильно! — одобрила вывод профессора и Мария Ильинична. — Как это я об этом не подумала раньше? Будто в труде нет ничего ценного для души...») Или это как раз и внушили вам церковь и христианство? Не удивляюсь. Ведь в евангельской притче о талантах Христос клеймит раба, не сумевшего стать ростовщиком-обиралой во славу и на пользу своему пауку-хозяину, рабовладельцу...»

Мария Ильинична тихонько прихлопнула ладонью по газете, не в силах сдержать своего удовольствия.

«Получай, батюшка! Ты силен воевать с женщинами, вроде меня... А ты попробуй-ка повоюй с профессором!..»

Мария Ильинична тут же испуганно покосилась на Проханова, но он, кажется, ничего не заметил или делал вид, что ничего не замечает.

Она продолжала читать.

«Я, разумеется, понимаю: ей (т. е. вам, М. Разуваева) было трудно после смерти мужа, — пишет учительница Чувалова. — Но разве воспитание ребят для нас не являлось смыслом жизни? Она искала ответа на вопросы: за-

чем живет человек? В чем заключается истинное счастье? Так эти ответы были рядом — дети. Если нет своих, воспитай честными тружениками тех, которых тебе доверили честные люди труда».

В дополнение к этому серьезному обвинению я хочу, М. Разуваева, привести специально для вас изречение из священного писания, которое вы добровольно взяли для себя в качестве руководства в жизни. Вот чему учит христианская премудрость. Я цитирую:

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (от Иоанна, 12, 15). Или еще: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня (т. е. бога); и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня» (Матфей, 10, 37).

Вы понимаете, М. Разуваева, чему учит христианство? Вчитайтесь, вдумайтесь в эти зловещие фразы. Или уж вы, М. Разуваева, так прочно прониклись идеями христианства, что, отдавая богу душу, возненавидели весь мир и даже детей, которых учили?

...Вы запутались настолько, что, только что сказав о полном неприятии нашего человеческого мира и его людей, тут же лицемерно говорите о «любви к ближнему», возведенной в форму долга.

Я хочу рассказать вам об одном случае. Это было в буржуазной Эстонии. Домовладелица христианка, отсылавшая десятую долю доходов своего многоквартирного дома африканской миссии для просвещения «дикарей» «светом истины» (разумеется, христианской), выставила на улицу в ноябре, на снег, дождь и ветер, за неплатеж семью безработного, состоящую из четырех детей, больной жены и умирающей матери... Когда газетный корреспондент спросил ее: — А как же с христианской любовью к людям? — домовладелица спокойно ответила:

— Любовь мою посылаю в Африку, а это для меня не люди, а квартиранты. На что я слово божие поддерживать стану, если мне за квартиры платить не будут? Да они и в церковь-то редко ходят. Лютеране.

Вы утверждаете, что без веры нельзя жить. С этим не согласиться нельзя. Однако же вы считаете, что есть только одна вера — религиозная, с ее загробным идеалом спокойствия и правосудия, вера непротивления злу насилием и т. д. В этом вы глубоко ошибаетесь.

У нас есть вера наша, советская, вера в строительство коммунистического общества, вера в прогресс, в хорошее в человеке.

Директор одного из ремесленных училищ Челябинской области М. Туренский пишет: «Нельзя оправдать заблуждения Разуваевой только смертью мужа, жизненными трудностями, возникшими на ее пути. Жизнь — борьба, борьба за счастье людей и, следовательно, за свое счастье. А разве было легче Асхату Зиганшину, Филиппу Поплавскому, Анатолию Крючковскому и Ивану Федотову в борьбе со стихией за жизнь? Не вера в бога спасла жизнь этим солдатам. («Вот уж правильно!» — подумала Мария Ильинична). И куда правдоподобней прозвучал ответ одного из них на вопрос американского журналиста:

— Что вам помогло так долго бороться с океаном?

Солдат ответил просто:

— Наша дружба. Так мы воспитаны.

Да, такими их воспитала наша жизнь, наша советская действительность. Но ни в коем случае не церковь! Не религиозная нравственность, а коммунистическая нравственность дала этим героям товарищескую спайку, чувство веры в себя и в товарища».

«Выбирайтесь из «джунглей» религии», — обращался к ней, Марии Ильиничне Разуваевой, Осаков.

— Дорогой профессор, — прошептала про себя Мария Ильинична, — если бы вы только знали всю правду!.. Выбраться отсюда надо, но как?

«Куда же вы собираетесь идти, М. Разуваева? — читала она дальше. — Неужели сознание ваше так задурманено религиозным чадом, что вы не можете почувствовать правду окружающей вас жизни, увидеть прелесть ее, радость, счастье? Прогоните прочь этот дурной сон.

Посмотрите кругом, жизнь-то как хороша! Улыбнитесь. Станьте рядом с нами. Пойдемте вместе...»

«Ах, как бы хорошо!» — мечтательно подумала Мария Ильинична, но в это время заворочался в кресле Проханов и, вздрогнув, Мария Ильинична уткнулась в газету.

«Неужто он и сейчас что-нибудь придумает? — подумала Мария Ильинична, стараясь не поднимать головы,

чтобы не привлекать к себе внимания Проханова. — Ведь разбит по всем статьям. Ничего не осталось. Да и что может остаться? Он, кажется, даже сам не верит тому, что пишет... Боже мой! Неужели он и сам не верит?»

Подозрение об этом мелькнуло у нее, когда она переписывала второе письмо в редакцию. Ее тогда смутили слова: «А что мне за дело до того, что в Евангелии и Библии есть противоречия?! До того, что и фигура Христа мифична? Я нашла для себя лекарства, и мне ничего больше не нужно».

Выходит, отцу Василию и крыть-то нечем. Он даже признает, что фигура Христа мифична. А если мифична, стало быть, никогда, абсолютно никогда Христа не было, бога-отца не было, никакого бога-духа не было... Ничего вообще не было...

Рано утром Проханов выехал в епархию. Оттуда он возвратился через два дня. На него было жалко смотреть. Был он понурый, расстроенный, постаревший.

— Да, Марьюшка... Все прахом идет... Все прахом,— тихо повторил он и затравленно оглянулся, будто отовсюду ждал нападения врагов своих.

А потом закрылся в библиотеке и не выходил оттуда часов шесть подряд. Оказывается, писал ответ ненавистному ему Осакову. А вечером снова диктовал ей этот ответ.

Глава тринадцатая

ФИНАЛ «СВЯТОЙ ЛЮБВИ»

Ребенок появился в марте, хотя, по расчетам Марии Ильиничны, она должна была родить в начале мая. Когда у нее начались схватки, Проханов незаметно выскользнул из дома, и она осталась одна. Мария Ильинична хотела уйти сама в родильный дом, но за последние дни так ослабела, что без посторонней помощи двигаться по улице не могла.

Как она выжила в тот день — просто чудо. Мария Ильинична уже теряла сознание, когда в доме появился конюх Егор. Он ахнул, увидев ее распростертой на полу.

Егор-то и спас ее. Он принял ребенка, помог Марии Ильиничне в первую минуту, а потом опрометью

бросился за врачом. В больницу ее привезли уже в беспамятном состоянии...

Но все обошлось благополучно. Перед выпиской Мария Ильинична со страхом думала — куда ей деваться? Старушка, у которой она раньше снимала комнату, на зиму уехала к детям, а Проханов никого ни разу не послал к ней, чтобы узнать, как она и что с ребенком.

Мария Ильинична с младенцем на руках сама явилась в дом Проханова. Он встретил ее добродушным смешком.

День окончился обычной попойкой. Проханов много пил сам и заставил пить ее. Ребенок исходил в крике. К утру он сорвал голос.

Попойки продолжались изо дня в день. На ребенка было страшно смотреть. Был он хилым, ни на что не реагировал; он даже кричать порой не мог, когда чувствовал голод — просто болезненно морщился.

Мария Ильинична по-прежнему ненавидела Проханова и все-таки делала все, что он ни говорил. По первому его требованию она, испуганно вздрогнув, бросалась исполнять его приказ. Другого обращения она теперь не знала. Прошли те времена, когда он уговаривал или просил ее.

Правда, он все-таки сдержал слово и действительно начал «лечить» ее. Он давал ей «святой» воды, которую Мария Ильинична пила, глотая слезы: ведь она ни во что не верила...

Проханов однажды завел ее в алтарь и показал на одну из бутылочек с надписью: «Раба божья Марья». Таких бутылочек было много, и на всех стояли женские имена.

Мария Ильинична высказала по этому поводу неудовольствие, на что Проханов ответил: нет у нее веры в Христа, потому она и говорит так. А потом он добавил, что любит ее христианской любовью, но не может забывать и других, как не забывал Христос своих ближних.

Мария Ильинична устыдилась тогда своих слов и попросила прощения. Он сунул ей руку, которую она тут же поцеловала. Она вообще часто теперь целовала руку Проханова.

По церковным законам женщине строжайше воспрещено заходить в алтарь. Но Проханов всем пренебрег, ее все-таки допустил. А разве это не приближение к себе?

Мария Ильинична, сама того не подозревая, катилась и катилась вниз. Она много пила, но, странное дело, после рождения сына страшные ее припадки пропали.

— Вот она, святая вода, — с укором говорил ей Проханов. — Веру ты потеряла, а бог-то не забыл тебя... Эх, Марьюшка, Марьюшка, заблудшая ты овца. И от мира отстала, и к богу не прибилась. А место твое здесь. Уразумей это. Только святая вода помогла тебе. Только бог! Только бог укажет тебе путь к истине. Да будет он вечно с нами.

Теперь уж она совсем запуталась, где правда, а где ложь и есть ли вообще истина на свете. Все шаталось в ее сознании, все рушилось, но ничего не воздвигалось на месте этих развалин.

Как раз в это смутное для нее время Мария Ильинична встретилась с тем самым врачом, который лечил ее после несчастья, случившегося в парке. Она как-то брела по улице, кутаясь в тонкое пальто. Густой снег, липкий и мокрый, слепил глаза и мгновенно таял.

Она шла осторожно, но все-таки поскользнулась и упала бы, если бы не мужчина, шедший сзади.

— Осторожней, уважаемая. В грязь угодите! — Мужчина заглянул ей в лицо. — Никак, пациентка моя?

Мария Ильинична торопливо отвернулась, и первым ее порывом было уйти, не ответить. Она так и сделала, но доктор мягко удержал ее за локоть.

— Как ваше здоровье?

Мария Ильинична так же молча пожала плечами.

Врач усмехнулся.

— А вы не балуете меня вниманием.

— Ну, что вы, что вы! — испуганно запротестовала она.

— Так как же все-таки со здоровьем? Полагаю, совету моему последовали? Вы теперь мать?

Мария Ильинична смешалась и ответила все тем же кивком головы.

— И как это повлияло на вашу болезнь? — заволновался доктор. — Как вы себя чувствуете? Припадки прекратились? Или еще есть?

Удивленная этими вопросами, Мария Ильинична обернулась к врачу и с недоумением залепетала:

— Как? Разве я... У меня должно пройти все после родов?

— А я о чем толковал вам? А невропатолог что говорил? Вспомнили?.. Конечно, роды — не лекарство, но вашу болезнь, бывает, как рукой снимает. Истерия — это ведь, матушка моя... Впрочем, вы так и не ответили на вопрос. Прошли припадки или до сих пор страдаете?

— Пропала у меня болезнь, — едва шевеля губами, ответила Мария Ильинична. — Надолго ли, не знаю...

Доктор просиял: он был в восторге.

— Но как же так? — с испуганным недоумением заговорила Мария Ильинична. — Батюшка как же? Святая вода... Молитвы....

— Какой батюшка?! При чем тут святая вода и молитвы? Помилуйте! Это в наш-то век? Да вы, никак, религиозной стали?

Врач внимательно оглядел ее. Черный платок, длинная черная юбка, чуть ли не на метр выглядывавшая из-под пальто.

— М-да... Ни за что бы не подумал. — И вдруг вскипел. — Какая святая вода? Природа-матушка! Чудо-организм человеческий... Или уж, если говорить точнее, чудо-организм материнский. Это и есть ваше лекарство. А вы — святая вода... И кто только вбивает в головы такие чудовищные мысли? Только нечестный, корыстолюбивый или, если говорить проще, прощелыга-человек может пойти на такой обман людей. Э, да что вам говорить!

Врач приподнял старенькую шляпу с обвислыми полями и сухо сказал:

— Прощайте. Порадовали меня и тут же огорчили. Или, если говорить точнее, вы жестоко обидели науку вашей святой водой. Жестоко обидели.

Эти слова будто оглушили Марию Ильиничну. Ведь она всем сердцем была с Осаковым. Что же с ней сейчас произошло? Неужели совсем опустилась?

Всю ночь не спала Мария Ильинична. Она все пыталась разобраться в случившемся и решить, что ей делать и как поступать дальше.

Но в ту ночь судьба ее решилась вне зависимости от ее воли.

Ребенок часто просыпался и как-то очень уж странно попискивал. Перед самым утром какая-то неясная тревога заставила Марию Ильиничну вскочить и подбежать к коляске, где находился сын. Дрожащей рукой она зажгла свет.

Мальчик, раскинув в стороны ручонки, пускал слабые кровавые пузырьки.

Мария Ильинична в ужасе закричала и заметалась по комнате. В доме она была одна: Проханов еще с вечера уехал по вызову в епархию.

Кое-как одевшись, она укутала ребенка в пеленки и бросилась с ним в больницу. Но в руки врача Мария Ильинична передала уже мертвое дитя. Доктор, тот самый доктор, с которым она разговаривала на улице, смахнул слезу, глядя на едва шевелившиеся белые губы матери.

Целый месяц Мария Ильинична пила. Однажды ее подобрала на улице уборщица прокуратуры Павлина Афанасьевна. Это через ее огород выбиралась когда-то Мария Ильинична от Проханова.

— И зачем я тебя отпустила тогда, глупую? — сокрушалась Павлина Афанасьевна. — Простить себе не могу.

Павлина Афанасьевна добилась, чтобы Марию Ильиничну приняли в психиатрическую больницу. У несчастной женщины был настоящий запой. Но излечить ее окончательно так и не удалось.

Павлина Афанасьевна, измучившись с Марией Ильиничной, которая жила теперь у нее, вынашивала планы разоблачения «распроклятого супостата», который, по ее словам, «позорил само имя богово».

«Имя богово!» Всю жизнь Павлина Афанасьевна механически повторяла слова: «бог», «богово», «божья». Повторяла и как-то не задумывалась над смыслом этих слов. Но история с Марией Ильиничной, к которой она незаметно привязалась, все перевернула в ее душе. Если она, Павлина Афанасьевна, верила в бога всю свою жизнь, то ведь и «распроклятый супостат» служил тому же богу и тоже всю жизнь.

Да разве мог бы стерпеть бог, видя такого своего служителя?

— Нет и нет, — твердо отвечала себе Павлина Афанасьевна, и где-то в глубине души начинал шевелиться червячок сомнения: да есть ли вообще бог?

Росточек появился, и как ни было страшно, он рос, набирался сил и приводил в глубокое смятение Павлину Афанасьевну.

Самым страшным были сравнения. Вот, к примеру, Паша. Ведь нехристь! Но что она могла сказать о нем плохого? Честный, чистый, прямой. А какой неподкупный! Уж кто-кто, а она-то знает его строгую светлую совесть.

А если взять настоятеля, всю жизнь его просмотреть... Самая распоганая она и бесстыдная.

— Какую же ты прожил жизнь, проклятый поп, если так привык калечить людей и выходить сухим из воды?

Она многое знала о Проханове. Многое, но далеко не все. Да и не могла знать, потому что у него были в сущности две жизни: одна — явная, открытая для глаз людских, а другая...

О той, другой жизни, одним словом не скажешь. Суетная была жизнь, сложная, запутанная. И не так было просто увидеть ее и разобраться в ней.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ



Глава первая

«ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВО»

Поздней осенью 1941 года, вскоре после того, как оккупанты вступили в Петровск, по грейдерной дороге, прихваченной крепким морозом, катила немецкая грузовая машина. Рядом с шофером сидел осанистый седобородый человек в черном романовском полушубке. Сидел он, насупившись и с напряжением вглядываясь вперед, но в быстро сгущавшихся сумерках трудно было что-нибудь разобрать.

Когда машину встряхнуло, человек выругался и прикрикнул на водителя:

— Осторожно, ты, орясина безмозглая.

— Что есть орьясина? — мирным тоном задал вопрос шофер.

— Это значит дубина. Ду ист дубина.

— Дубина?

— Дубина есть дубина...— седобородый рассмеялся, чем вызвал недоумение водителя.

Немец пожал плечами: он ферштанд нихтс. Однако в тоне этого седобородого русского чувствовалось что-то

обидное. В другой раз он бы показал этой русской свинье, что есть немецкий зольдат, но нельзя, он вынужден молчать. Приказ отвезти этого человека из областного центра в Петровск шофер получил лично от оберштурмбанфюрера. А с ними лучше не связываться. Его предупредили: за жизнь седобородого он отвечает головой. Кто его знает, что за птица такая?

Шофер покосился на соседа и вздохнул. Оберштурмбанфюрер! О-о, майн гот. Подальше от них.

В город добрались ночью. Машина подкатила прямо к районной управе.

Прибывшего встречал лично бургомистр Чаповский. За ним по пятам следовал начальник районной полиции Корольков. Полный, крупный, розовый, с выпуклыми рачьими глазами. Они вышли из управы под охраной пятерых полицейских. Здесь же были и двое немецких солдат, но держались они обособленно.

Чаповский снял шапку и низко поклонился приезжему.

— Глубоко тронуты вашим патриотическим поступком, господин Проханов. Ваше добровольное желание служить родине и нашим доблестным освободителям будет по достоинству оценено потомками. Позвольте вас обнять, почтеннейший отец Василий.

Бургомистр обнял Проханова, три раза приложился к его щекам, а потом смиренно склонил голову для благословения. Проханов осенил его широким крестом, растрогался и смахнул с ресниц набежавшую слезу. Как в старину, в добрую старину.

— Позвольте, ваше преосвященство, представить господина Королькова. Это, так сказать, наш страж, наше с вами оружие. Прошу любить и жаловать. За вашу безопасность, по приказу свыше, — Чаповский выразительно поднял указательный палец, — можем ручаться. Живите во славу господа бога нашего, во славу святого оружия. Служите верой и правдой, и бог нам воздаст сторицей.

— Аминь, — вполголоса произнес Проханов и с досадой покосился на словоохотливого бургомистра. Приезжего что-то явно беспокоило.

— Благословите и меня, святой отец, — подал смиренный голос и полицейский начальник Корольков, пряча ухмылку где-то в углах широкого, жадного рта.

Он подошел к приезжему, наклонился и поцеловал ему руку.

Проханов вздрогнул от неожиданности, но так же, как Чаповского, благословил широким крестом и Королькова.

— Извините, святой отец, — продолжал Чаповский, — ждали вас к вечеру. Собрались гости, самые достойнейшие, но, как я полагал, непредвиденные обстоятельства вас несколько задержали...

Проханов нахмурился, однако ответил любезно:

— Да, господин бургомистр. Задержал меня прием у господина советника. Из Берлина прибыл высокий гость священного сана.

Лицо Чаповского вытянулось. Исчезла и нагловатая ухмылка Королькова. Он заметно подобрался и будто чуть ниже стал.

— Понимаю, понимаю, святой отец, — заторопился Чаповский.—Изволите подняться к нам или, ежели устали с дороги, может быть, прямо в отведенные вам хоромы? Полагаю, что официальный прием мы перенесем на завтра. Не возражаете, ваше преосвященство?

Проханов улыбнулся, но сказал строгим голосом:

— Я не имею чести быть удостоенным сана епископа. Я простой православный священник.

Чаповский и Корольков переглянулись.

— Кашу маслом не испортишь, ваше преосвященство, — заметил Корольков с заметным оттенком подобострастия. — Сегодня вы простой священник, завтра — епископ, послезавтра — патриарх. Все во власти господа бога.

— И нашего несравненного фюрера, — выразительно добавил Чаповский.

Двое немецких солдат, услышав слово «фюрер», вытянулись и зычно крикнули:

— Хайль Гитлер!

— Хайль! — машинально ответили Чаповский, Корольков и полицейские, вскидывая руки. Проханов поднял глаза к небу, скосил глаза в сторону и тихо сказал:

— Да будет так. — И громче: — Прощайте, господа.

— До завтра, ваше преосвященство, — ответил Корольков и приказал: — Сидоров, команду — в машину. Проводить отца Василия, помочь разместиться. Лично

доложите об исполнении. Выделить специальный пост для охраны. Все! Выполняйте!

— Одну минуту, господа. — Проханов поднял руку и вполголоса сказал: — Убедительно прошу вас: никакой охраны не нужно. Во всяком случае, в мою машину сажать их не следует.

— Но почему, ваше преосвященство?

— Господин Чаповский! — чуть возвысил голос Проханов. — Не следует говорить об этом на улице.

Проханов был недоволен этим назойливым обхаживанием и говорил, не скрывая досады.

Чаповский и Корольков переглянулись.

— Сидоров! Берите мою машину. Охрану в нее и вперед.

Проханов сделал шаг вперед.

— Что вы делаете, господин Корольков? Уж коль вам так хочется послать охрану, поместите ее в обычную грузовую машину. Можно и в мою, а я... я и пешком пройдусь.

— Как можно, ваше преосвященство! — Чаповский драматично всплеснул руками. — Мы этого не можем допустить. Ни в коем случае!

— Ах ты боже мой! Как вы не понимаете, господа?.. — Проханов повысил голос. — Господин Корольков, подайте грузовую машину. Мы последуем сзади на видимом расстоянии. И прошу вас, не станем спорить.

Чаповский и Корольков несколько опешили, их смутил тон святого отца. Генерал, не меньше...

Корольков опомнился первым.

— Сидоров, быстро машину!

Через пять минут грузовая машина была у подъезда. Полицейский подал куда-то в глубь здания команду, и сразу же к грузовику бросились бегом пятеро полицейских с автоматами на груди. Они уселись в кузов только что поданного автомобиля.

— Трогай! — крикнул в кабину шофера старший полицейский.

— Стой! — Корольков бегом устремился к шоферу, что-то ему сказал вполголоса, и машина медленно двинулась вперед.

Чаповский и Корольков хотели помочь Проханову сесть в машину, но тот властно отстранил их и, покряхтывая, сам уместился рядом с шофером.

— Поехали, орясина. Шнель!

Машина рванулась и быстро скрылась за углом. Чаповский некоторое время с недоумением смотрел ей вслед, потом обернулся к Королькову.

— Что это с ним?

— Политика! — Корольков хмыкнул.

— А чего он на грузовой-то? Или не нашлось легковых?

— Сам пожелал. Хитер, бестия! С ним ухо держать надо востро. Опасался попасть к партизанам. А тут — попутная, дескать, едет священник, пожитки везет... Все честь по чести.

— Ишь ты. Умно, ничего не скажешь. В управу бы такого.

— Был такой слух. Гестапо его обхаживало. Не согласился. Говорит, полезней буду в другом качестве.

— Это в каком же? — не понял Чаповский.

— В священном сане. Краснобай, говорят, наипервейший.

— Ишь ты! — бургомистр обернулся к Королькову.— Дай-ка мне его «дело». Есть у меня кое-какие мыслишки...

Корольков чему-то ухмыльнулся и с готовностью ответил:

— Сию минуту буду у вас.

Бургомистр вошел в кабинет, приказал полицейскому удалиться в приемную, потом снял пальто и, довольно потирая руки, стал ходить по кабинету. Чаповский был доволен. Этот поп прибыл как нельзя кстати. Для пользы дела прибыл.

Вошел Корольков. Он улыбался, не разжимая широкого, жадного рта.

— Вы что хотели узнать, господин бургомистр?

— Присаживайся, мой министр. Будем разговаривать. Когда дело поступило к нам?

— Третьего дня.

— Ознакомился?

— Так точно. Изучил-с. Даже подробнейшим образом.

— А почему попало к тебе? Почему не к Амфитеатрову?

— Все, что идет из гестапо, рассматриваю лично я.

— Отныне рассматривать буду сначала я, бургомистр, а уж потом в полиции.

— Будет исполнено, господин бургомистр. — Корольков даже каблуками щелкнул, но в глазах его мелькнул и спрятался недобрый огонек. Но огонек блуждал в его глазах считанные секунды. Уже в следующую минуту «министр» раскладывал перед Чаповским довольно пухлое «дело» Проханова.

— Так много о нем собрано? — удивился бургомистр. — Ну уж... уволь. Читать не стану. Рассказывай, что за человек?

— Извольте. Проханов Василий Григорьевич. Русский. Родился в Орловской губернии.

— Сколько же ему сейчас?

— Сорок шесть.

— Так. Вполне приличный возраст, — удовлетворенно отметил для себя бургомистр. — Дальше!

— Учился Проханов в Смоленске. Весьма успешно закончил церковно-учительскую семинарию. Учителем закона божьего Проханов был почти до самой войны с германцами.

Чаповский поморщился, но промолчал. Корольков тут же поправился.

— Закон божий преподавал до самой войны с кайзером. — Корольков заметил одобрительный кивок бургомистра и продолжал: — В годы законоучительской деятельности, по тем отзывам, которыми мы располагаем, он показал себя как приверженец монархии, защитник веры, царя и отечества...

— Ну... насчет царя и отечества — это вы, батенька мой, хватили. А вот что касается защитника веры — это, я полагаю, сведения весьма достоверные.

— Позволю возразить, господин бургомистр. Как можно было в те священные годы защищать веру, не защищая монаршую персону и отечество? Вера, царь и отечество для истинных патриотов и верноподданных были нечто нераздельное...

— Гм... Мой министр, кажется, положил меня на обе лопатки.

Бургомистр добродушно рассмеялся, а вслед за ним и начальник полиции, но глаза Королькова были совсем не веселыми, в них мелькали недобрые сполохи. Он ненавидел Чаповского, но сдерживался, таился.

— Итак, я продолжаю, господин бургомистр. За год до войны с герман... Виноват... За год до войны с кайзером

Проханов поступает на Волыни — это под Житомиром — в училище пастырства и продолжает учиться почти до конца 1916 года.

— Ловок, ничего не скажешь. Братия воевала, а он бога славил.

Корольков сделал вид, что не слышал последнего замечания бургомистра.

— Вскоре после окончания училища Проханов был рукоположен епископом Григорием в сан священника.

— Так, так. Значит, священником Проханов стал еще до Февральской революции. Отлично. Продолжайте, мой министр.

— Революцию, как Февральскую, так и большевистскую, Василий Григорьевич встретил со скрежетом зубовным...

— Вот как? — приятно изумился Чаповский. — Откуда такие сведения?

— Располагаю им же подписанным документом. Впрочем, и без документа можно прийти к тому же умозаключению. Учитель закона божьего, как там ни говори, получал не такие уж большие деньги.

— Но и... не такие уж малые, — возразил Чаповский.

— Согласен. Но эти деньги, господин бургомистр, не могли сравниться с доходами священника, ежели, к тому же, он обладает хорошим приходом.

— Гм... Ну и?... Прошу дальше.

В голосе Чаповского послышалась досада. Корольков, как вольтметр, среагировал на этот оттенок недовольства в голосе начальника и продолжал уже строгим, официальным тоном.

— Проханов примкнул к тем, кто решительно не признал советской власти. Он сразу же стал под знамена патриарха Тихона, который, как известно, объявил войну Советам.

— Кстати сказать, довольно глупую войну, господин полицейский, — саркастически заметил Чаповский. — Эта дурацкая выходка фанатика патриарха нам очень напортила...

— Не понимаю, господин бургомистр...

— А тут и понимать нечего. Действуй патриарх не так открыто — я имею в виду — не с открытым забралом, а исподтишка, — представляешь, мой министр, какое бы воинство можно собрать под знамена церкви!

Э, да что там! Эта оппозиция Тихона вынудила комиссаров пойти на крайние меры. Только и всего. А чем кончился для Проханова этот его бунт?

— Сибирью, конечно.

— Так я и знал. По какой статье судим?

— Пятьдесят восьмая.

— Кончай с биографией. Что там дальше?

— Дальше все просто. Отбыл положенное и стал служить Советам.

— Затаился, что ли?

— Надо полагать. Работал в областном центре на заводе номер девять, потом в городской бане...

— Неужто в бане? Ай да Проханов! Отмочил! — Бургомистр расхохотался, а Корольков только скупо улыбнулся. — Ну и что же? — оборвал себя Чаповский.

— Подхожу к концу. Из бани перешел на маслозавод, где повкуснее, а потом определился счетоводом в городскую больницу. Когда доблестные немецкие войска вступили в город, Проханов сам явился к властям и предложил использовать его по прямому назначению.

— Сам лично?

— Так точно.

— Это из достоверных источников?

— Источники абсолютно достоверны. Гестапо!

— Понимаю.

— В область прибыл личный представитель фюрера. Человек, правда, штатский, но с самыми высокими полномочиями. Все его называют советником. Но... — Чаповский опять заколебался. — Словом, упаси бог от внимания этого советника.

Бургомистр сказал и спохватился.

— Я, конечно, имею в виду неистощимую требовательность господина советника...

Корольков понял — это было заметно по его вспыхнувшим глазам, — но сделал все, чтобы скрыть свою радость; замешательство бургомистра такой козырь! В свою очередь Чаповский догадался. эта полицейская бестия уже успела что-нибудь намотать себе на ус.

— Неужто давит? — Корольков с наигранным простодушием склонился к бургомистру, но сделал это грубо, чем заставил Чаповского еще больше насторожиться.

— Вы это о чем? — удивился тот.

— Ну... советник-то... Вы же сказали...

— Мой министр! Вы, видимо, не совсем правильно меня поняли. Господин советник выполняет сложную миссию. И ежели он давит — надо полагать, так оно и следует. Особая миссия. Высокая политика. У господина советника тонкая и, я бы сказал, ювелирная работа. Психологическая обработка населения — это, скажу вам, мой уважаемый министр... Впрочем, мы, кажется, увлеклись. На чем мы остановились?

— Я говорил о том, что Проханов добровольно вызвался служить немецким властям и сразу же попросил их возвратить ему сан священника. Дальше вам известно из разговора с господином советником.

— Понятно.

— У вас, господин бургомистр, есть какие-то планы в отношении Проханова?

— Разумеется, мой министр. Иначе и быть не может. А сейчас благодарю вас и пожелаю доброй ночи.

— Доброй ночи, господин бургомистр.

— Именно доброй, — Чаповский мрачно пошутил: — Скоро мы, батенька, станем желать на прощание: «Не встреть партизана».

Начальник районной полиции промолчал: это был явно камешек в его огород. Корольков при вступлении в должность в высоких выражениях заверил оберштурмбанфюрера, что во вверенном ему районе партизаны нос побоятся высунуть. Но Корольков просчитался: нос теперь боялся высунуть из города как раз он, начальник районной полиции, а «этот проклятый Федосякин» с партизанским отрядом разъезжал по району как хозяин.

Но подождите. Корольков еще доберется до него. Он поплачет кровавыми слезами! Припомнятся ему и листовочки, и письма, и телефонные звонки с издевкой, и крушения, и все то, что сыпалось в последнее время на голову начальника районной полиции.

Глава вторая

ОСОБАЯ МИССИЯ

Тем временем две груженые машины осторожно пробирались по затемненному городу. Улицы были совершенно безлюдны. Навстречу попались только двое полицейских. Они пытались остановить шедшую впереди ма-

шину, но, заметив Сидорова, который угрожающе поднял руку, вытянулись и стояли по стойке «смирно» до тех пор, пока машины не проехали мимо.

Остро и холодно мерцали звезды в черном морозном небе. Синеватый иней покрыл дома, деревья, землю, которую не успел еще укутать на зиму снег.

Холодно, пустынно было в городе. Оттого-то и казалось, что две машины крадутся по ночным затемненным улицам. Проханов увидел, что идущая впереди машина свернула вправо и остановилась.

Ворота быстро распахнулись.

— Вот же сволочи! — выругался Проханов. — Зачем же их во двор-то понесло?

Он успел в свете автомобильных фар рассмотреть дом; дом показался ему высоким и очень длинным. Здание, видно, было добротное, вместительное и с внешней стороны хорошо отделано.

«Мой дом!» — екнуло в груди Проханова.

— Прошу вас, ваше преосвященство!

Сидоров распахнул дверцу кабины.

— Немедленно угоните вашу машину. Немедленно! Неужто вы так худо соображаете? — Голос Проханова был приглушен, но от едва сдерживаемой ярости срывался.

Старший полицейский, растерявшись, не сразу сообразил, что ответить.

— Что стоишь, болван! Выполняй, что приказано!

— Есть!

Сидоров опрометью бросился к шоферу. Тот не сразу понял его. Сидоров стал размахивать руками, и машина, развернувшись в широком дворе, рванулась на улицу.

Проханов облегченно вздохнул. Никто, кажется, не наблюдал за ними, во всяком случае он ничего подозрительного не заметил.

Когда Проханов хотел войти в дом, его подхватили под руки двое полицейских, а третий побежал вперед. Вот он распахнул в доме одну дверь, вторую, третью... Вспыхнул свет, и Проханов остановился удивленный.

Дом, преподнесенный ему в подарок немецкими властями, представлял собой почти музей, до отказа набитый вещами. Пять комнат ломились от них. Ковры, диваны, шкафы, деревянные кровати, кресла, стулья, картины и, в довершение всего, концертный рояль. Но не рояль —

вещь с его точки зрения пустячная, а великолепная хрустальная и серебряная посуда привлекла особое внимание Проханова.

Настроение его заметно улучшилось, и он заговорил ласковым голосом:

— Скажите, сын мой, кто раньше жил здесь?

— Никто, ваше преосвященство, — с готовностью ответил Сидоров, глядя на Проханова с собачьей преданностью: для него, полицейского, этот седобородый человек — сильный мира сего, а он служил только сильным. — Раньше здесь была какая-то большевистская управа. Я, ваше преосвященство, не местный... Не могу знать во всех подробностях.

— Хорошо, хорошо. И этого достаточно. А вот это все? — Проханов обвел рукой вокруг себя. — Обстановка здешняя откуда реквизирована?

— Три дня назад доставлена из Оклокотской столицы, а туда будто бы ее привезли из областного города.

Проханова порадовал ответ полицейского.

— Ну и славно... — Но все же он уточнил еще раз.— И шкафы, и комоды, и кровати?

— Так точно, ваше преосвященство. Пять машин. Лично мною доставлены из Оклокотского округа. — Сидоров подобострастно осклабился, доверительно склонился к священнику и вполголоса сообщил: — В шкафах кое-что имеется, с устатку. Лично от господина бургомистра.

Проханов спрятал в бороду ухмылку и кивнул Сидорову.

— А ну веди, веди, сын мой. Показывай.

— К шкафам изволите?

— Что ж... И к шкафам можно с дороги-то. Или мы не православные?

— Все уже приготовлено, ваше преосвященство. Прошу вас.

Сидоров забежал вперед, открыл дверь и широким хлебосольным жестом показал на стол. Стол этот кто-то заранее со вкусом сервировал, но зачем-то прикрыл очень тонкой бумагой. Старший полицейский осторожно, будто открывая клетку со зверем, отдернул руку, снимая со стола бумагу.

Проханов сощурил глаза от удовольствия, но почему-то сурово осведомился: сколько его сопровождало

полицейских? Сидоров испуганно ответил: шестеро, если считать его. Есть еще двое — в охране дома.

— От кого охранять-то? — как можно равнодушней спросил Проханов.

— От партизан, ваше преосвященство.

— Вот как? Православного от православных? Они разве не христиане, не русские? Почему их надо бояться?

Сидоров выпучил глаза и стал беззвучно шевелить губами.

— Ва... ваше преосвященство! Как можно? Это же разбойники! Они стреляют без разбора. Н-не приведи господь!

— Ну-у, сын мой, у страха глаза велики, — и распорядился: — Зови сюда охрану. Выпьем, закусим чем бог послал.

Старший полицай заколебался, растерянно замигал ресницами.

— Ваше преосвященство! Никак невозможно. Опасно...

— Опасно праздновать труса. Зови немедля.

— Есть! А с немцем как быть?

— Ну... и его зови. — Проханов поморщился. Не пристало ему якшаться с немецким солдатом. Но... солдат есть солдат; пусть расскажет, где нужно, каков есть православный священник.— Зови и солдата. Скажи ему: «Волен зи тринкен русиш водка?» Сам прискачет. У нас, сын мой, стол на добрую полусотню молодцов хватит Ну, бегом!

Через час во владениях священника Проханова шел пир горой. Благо запасов было столько, что тревожиться о завтрашнем дне не приходилось.

Немецкий солдат сначала дичился, пренебрежительно морщился, но пил жадно, много и вскоре захмелел. Однако и во хмелю он не забыл, что представляет высшую расу. Расправив плечи, солдат решил блеснуть. Он сел за рояль и окинул снисходительным взглядом присмиревших полицейских; на них действительно произвело впечатление, что солдат так вот запросто садится за рояль.

— Бетховен? — с улыбкой осведомился солдат. — О, найн. Марш! Марш! Битте...

И грянули марши. Солдат оказался на редкость энергичным музыкантом. Он так самозабвенно колотил по клавишам, что у слушателей гудело в голове.

Марши вскоре надоели. Солдат полез целоваться с Прохановым, почему-то обращаясь к нему: «Герр министр» Обнимались и полицейские с немцем, а потом они вместе собрались качать «его преосвященство». Проханов едва избавился от этой чести.

Около трех часов ночи шум в доме стих. Полицейские свалились прямо на пол и захрапели. На широкой кровати лежал только Проханов. Он не спал.

Ему вспомнилось холеное лицо советника, личного представителя фюрера, перед которым даже офицеры из гестапо, всегда самоуверенные, властные и никого не признававшие, в струнку тянулись.

— Мы с вами одинаково ненавидим большевиков. А коль так — зачем играть в прятки? — говорил ему советник. — Мы — я имею в виду немецкие власти — и церковь должны объединить усилия в борьбе с большевизмом, презренными иудеями и всей этой никчемной сворой.

Проханов смело тогда возразил советнику, что не пристало ему, русскому православному священнику, открыто якшаться с немецкими властями, потому что для прихожан, как там ни говори, немцы были и остаются оккупантами.

Советник рассмеялся, добродушно похлопал по волосатой руке священника и сказал, что хорошо понимает «его преосвященство». Так и сказал: «его преосвященство». Этим он дал понять, что сан епископа—в руках самого отца Василия.

— Я с вами вполне солидарен. Демонстрировать связь с немецкими властями не стоит. Я скажу больше. Для пользы дела можно кое-когда и ругнуть эти власти. В меру, конечно. Все нужно делать в меру — это золотое правило в жизни для немца и кто с ним идет в ногу — особенно. Пусть прихожане думают: духовный пастырь с ними.

Это было умно задумано. Советник намекнул: за все услуги, которые окажет немецким властям «его преосвященство», они в долгу не останутся. Пусть господин Проханов выбирает любое место, где бы он хотел получить приход. Впрочем, если «его преосвященство» не возражает, он бы посоветовал выехать в город Петровск, весьма благоустроенный и культурный населенный пункт, где особую активность проявляют партизаны.

Последние слова удивили Проханова. Но собеседник успокоил его. Господина Проханова пальцем никто не посмеет тронуть: ведь священник будет в оппозиции к официальным властям. Об этом, разумеется, тут же станет известно партизанам. Со священником, видимо, захотят связаться. От этой связи нельзя отказываться, ее надо использовать.

Впрочем, это не главное, чего ждут от «его преосвященства». Основная его миссия — прочно завоевать души прихожан. Надо войти к ним в доверие, нужно знать каждого в лицо, по фамилии, знать их семьи, родственников; надо быть в курсе их жизни, настроений, мыслей.

Это — на первом этапе.

Второй этап — более ответственный. Надо постепенно изгонять из умов прихожан большевистскую заразу Действовать нужно осторожно, но наверняка. Сначала следует создать свой круг верных людей, которым по первому требованию «его преосвященства» материально помогут — распоряжение на этот счет уже имеется. Таким образом у этой группы людей появится «утробная» — советник так прямо и выразился — заинтересованность. Уж он-то, человек с опытом, отлично знает: когда люди получат что-то реальное, когда у них появится собственность, они станут незаменимыми помощниками и верными слугами духовного пастыря.

Советник особенно подчеркивал: необходима тонкая работа там, где имеешь дело с душой человека. Он предупреждал, что всякий, кто имеет дело с «идеологическим оружием великого фюрера», должен обращаться с этим оружием чрезвычайно осторожно.

— Как это у русских толкуют: семь раз обмерь.

— Не так, господин советник, — с улыбкой поправил его Проханов. — Семь раз отмерь, один раз отрежь.

— Вот-вот. Оч-чень, скажу вам, разумное изречение. Оно чисто в немецком духе.

— Но и в русском, господин советник, — снова проявил смелость Проханов.

Его рискованная смелость опять была оценена по достоинству. Высокий собеседник одобрительно улыбнулся и покровительственно сказал:

— Мне нравится ваша независимость и, как это... национальное самосознание. Но... господин Проханов, вы должны и здесь иметь меру и, так сказать, не переходить

грань. Всегда и везде. Чтобы ваши слова не могли истолковать неправильно. Ваше чувство должно измеряться степенью искренней, идущей от сердца приверженности к идеям, за которые боремся мы.

— Охотно с вами соглашаюсь, господин советник.

Советник предупредил, что он не один печется о душах народа, завоеванного германским оружием. Более подробно круг обязанностей «его преосвященства» ему расскажет представитель Ватикана, который специально объезжает районы, где уже установлен «новый порядок», чтобы помочь братьям во Христе в сложной и ответственной их работе.

Советник подчеркнул, что миссия «его преосвященства» особая и почетная. Германские власти возлагают на него большие надежды.

В заключение беседы советник с улыбкой сообщил, что в качестве первого дара он уже распорядился подготовить в Петровске добротный дом с полной обстановкой, чтобы господин Проханов жил ни в чем не нуждаясь. Но, чтобы не демонстрировать какую бы то ни было связь простого священника с немецкими властями, отец Василий будто бы купит дом у бывшего хозяина. Такой «хозяин» уже есть, и он ждет распоряжений. Предварительно будет пущен слух, что этот хозяин так перепугался близости фронта, что уступил первому же покупателю свою собственность за ничтожную сумму. Этим первым покупателем будет он, местный священник. Соответствующие документы будут оформлены, а предварительно о продаже дома появится объявление в петровской газете. Нет, нет, пусть отец Василий не тревожится, его никто не опередит. Инструкции на этот счет уже даны, волноваться «его преосвященству» не следует.

Потом Проханов беседовал с протоиереем Кутаковым. Уж как он извивался перед Прохановым, как лебезил перед ним. Кутаков, конечно, знал, кто поддерживает и проталкивает отца Василия. Понимая, что беседует с будущим епископом, Кутаков все делал, чтобы угодить будущему «его преосвященству». Даже неприятно было видеть, как унижался протоиерей перед ним, рядовым священником.

Была у отца Василия и встреча с высоким представителем Ватикана. Беседа с тощим человеком в черной сутане продолжалась пять часов кряду.

Проханов вышел от него бледный, с холодным потом на лбу. Никогда еще он не встречал столь неистового человека. Это был фанатик, наделенный к тому же неукротимым характером. Было ясно, что ватиканец ни перед чем не остановится во имя своих целей. А цель его ясна. Еще три с половиной столетия назад Брестской унией было провозглашено объединение католической и православной церквей на территории Польши. Позже эта уния распространила свое влияние на прибалтийские государства, на Западную Украину и Белоруссию. Уния обязала православную церковь признать главенство папы римского и основные догматы католической церкви, однако православная церковь сохранила свои прежние обряды и порядок богослужения.

Проханов знал, что уния, заключенная в 1596 году,— это способ окатоличивания православного населения на Украине, в Белоруссии, Прибалтике. И уж, конечно, Ватикан не мог не воспользоваться такой великолепной для него возможностью, как захват областей, простиравшихся далеко за пределами границ действия Брестской унии. Не зря же Гитлер вскоре после захвата власти заключил конкордат с Ватиканом. Именно поэтому тощий ватиканец чувствовал себя здесь чуть ли не хозяином.

— У Ватикана сто восемь акров земли, но полмиллиарда покорных душ в мире,—говорил он, мрачно сверкая глазами из-под насупленных, нависших над глазницами бровей. — Да и грешного злата достаточно, чтобы сокрушить непокорных. Я говорю прямо и советую о том не забывать. Нет такой силы, какая могла бы потягаться с Ватиканом.

Проханов получил самые подробнейшие инструкции о том, как вести работу в первом году его деятельности.

В тот же день Проханов твердо решил для себя: если нужно, если того потребуют обстановка и обстоятельства — ничуть не хуже быть и католическим священником. Какая, собственно, разница: рясу ли носить или сутану? Христос один, только славят они его по-разному.

Проханов тихонько встал с постели и, переступая через храпевших полицаев, вышел во двор.

Ночь была тихая, морозная. Падал легкий снежок. Издали доносились орудийные раскаты. Фронт близок.

совсем близок. Неужели такая несокрушимая сила, как гитлеровская армия, будет остановлена? Этого Проханов никак не мог уразуметь. Он уже давно решил, что ненавистным ему советским воякам пришел конец.

Именно этот вывод и привел отца Василия к немцам...

Проханов всей грудью вдохнул свежий, колючий зимний воздух, потянулся с хрустом, с истомой во всем теле, и вдруг взгляд его уперся в машину.

Ну да, та самая немецкая машина, которая доставила его сюда.

«Какая глупость!» — выругал он себя и заспешил к грузовику.

Решение созрело немедленно. Надо проверить — не оставил ли этот немецкий болван воду в радиаторе? Упаси боже, если вода не спущена. Машина во дворе — это же улика. Об этом завтра станет известно соседям, всему городу и уж, конечно, дойдет до партизан. У них отличная связь с населением. Как он о том раньше не подумал? Выпроводил одну, надо было выпроводить и другую. Не следовало и подъезжать открыто к управе. Хорошо хоть ночь застала, никто, кажется, не заметил.

Он заспешил в дом, вытащил из кармана полушубка электрический фонарь, извлек затем браунинг, подарок ватиканца. Проханову не раз приходилось в смутные двадцатые годы, да и позже, видеть пистолеты системы браунинг, но таких встречать не доводилось. Пистолет небольшой, а вмещал в широкой своей рукоятке шестнадцать патронов.

— Даю вам проверенную игрушку, — сказал гость.— В пятидесяти метрах доску пробивает.

— Не люблю я этих игрушек, — ответил ему Проханов. — Не дело это — человеку моих занятий ходить с такими штуками.

— Э-э, милый человек... береженого бог бережет. Время такое.

Проханов едва не спросил тогда: откуда он так хорошо знает русский язык и русские пословицы? Но удержался, боясь показаться наивным.

Тревога была напрасной. Шофер оказался аккуратным человеком. Воду он спустил и даже постарался укрыть потеплее мотор. Видно, знал, куда направлялся. Если удирать придется —у него все наготове.

Впрочем, так ли уж все наготове? Где вода?

Проханов направился в дом. В коридоре он посветил. Так и есть. Ведро с водой, чуть тронутой ледком, стояло в уголке. Ведро немецкое, явно водитель приготовил.

— Вот тебе и орьясина! — улыбнулся Проханов.

Он вошел в комнату, где храпели его собутыльники. Не успел он сделать и шага, как грохнул выстрел. На голову посыпалась штукатурка.

Стрелял шофер. Он привалился к стене, пучил на Проханова осоловевшие глаза и прыгающей рукой целился в него из парабеллума.

Проханов метнулся в сторону. Вторая пуля попала в дверь. Третьего выстрела не последовало: он запустил в обезумевшего немца маленькой скамейкой, попавшейся ему под руку.

Шофер охнул и выронил пистолет. Проханов наступил на него ногой. Наклонившись, он левой рукой быстро поднял парабеллум, а правой схватил за грудь немца и так рванул его, что китель шофера затрещал; отскочили две верхние зеленые пуговицы и покатились по гладко натертому паркету. Коротким движением левой руки, в которой был зажат парабеллум, Проханов нанес водителю удар в челюсть. Немец отлетел к дивану и, увлекая за собой стулья, с грохотом повалился на пол.

— Все-таки орясина!

Проханов сунул парабеллум в другой карман и зашагал в коридор. Там он взял знакомое ведро с тонкой коркой льда, возвратился в гостиную и плеснул пригоршней воды в лицо потерявшему сознание шоферу.

Тот открыл глаза, а от второй пригоршни закрутил головой и уставился на Проханова глазами, в которых застыл животный страх.

— Чего смотришь, болван? Опять ферштанд нихтс? Кто этой штукой балуется? — Проханов показал парабеллум. — Хочешь, чтоб я сообщил оберштурмбанфюреру?

Водитель вскочил, вытянулся перед Прохановым и что-то быстро-быстро заговорил. Проханов, хотя и знал немецкий язык, долго не мог ничего понять. Он слышал только картавое «партизанен, партизанен». Одурел человек с перепоя и принял его за партизана.

— Ладно, умолкни бога ради! — Проханов с раздражением отмахнулся от водителя. — Бери ведро—и марш!..

Заводи мотор. Шнель, шнель! Полицаев тоже бери с собой. Понимаешь, чертова кукла, или не понимаешь?

Последние слова он уже кричал. Его взбесила беспомощность этого представителя сильной расы. Какая уж там сила! Нюни распустил, дрожит как кролик, только слез не хватает...

Проханов засучил рукава, рывком пригнул голову ошалевшего от испуга шофера и начал умывать его. Из носа, изо рта немца шла кровь, заливала китель. Чего доброго, еще разговоры пойдут: кто, за что, да почему. Синяк у немца был очень уж заметен, даже глаз заплыл. Свой кулак Проханов знал, не раз приходилось пускать его в ход...

— На, орьясина! Утрись — и с глаз моих долой.

Тот торопливо привел себя в порядок, бросил на диван полотенце, вытянулся.

— Заводи мотор. Шнель!—и четко, властно произнес по-немецки:—Уезжай! И полицаев увози. Не нужна мне охрана. Понял?

— Гут, гут, герр министер!

— Ишь, сволочь, в министры меня произвел...

Через полчаса в доме Проханова не осталось ни одного полицейского. Растолкать их так и не удалось. Пришлось грузить вдвоем с шофером, как мешки с солью. Натерпевшись страху, немец так нажал на газ, что машина, кажется, присела на задние скаты.

Куда вывез водитель полицейских, Проханов так и не узнал.

Спустя несколько лет после окончания войны до него дошли слухи, что немец с полицейскими угодил к партизанам. Когда и водитель, и его живой груз опомнились, они в один голос заявили, что тот проклятый поп—самый настоящий партизан.

Глава третья

ДОСТОЙНЫЙ ОТПРЫСК

В десять часов утра к Проханову явился посыльный с письмом от Чаповского, который уведомлял «его преосвященство», что ровно в 16.00 в районной управе устра-

ивается официальный прием в его честь, куда будут приглашены самые уважаемые жители города.

Проханов пришел в бешенство.

— Осел! Боже мой, какой осел!

Ругался он так громко, что перепугал посыльного, морщинистого старичка.

Проханов тут же написал ответ, где умолял господина бургомистра ни в коем случае не устраивать никаких приемов и бога ради не распространять никаких приглашений. А если они уже разосланы, немедленно известить, что допущена ошибка, или пусть господин бургомистр придумает что угодно. Проханов предупредил, что, если обо всей этой затее станет известно господину советнику, будет большая неприятность.

Эта последняя фраза звучала как открытая угроза.

Через полтора часа в доме Проханова появился лично бургомистр в сопровождении своего заместителя Амфитеатрова.

Угроза, содержащаяся в записке, возымела действие. Чаповский рассыпался в извинениях.

Минут через двадцать бургомистр удалился, сославшись на чрезвычайную занятость. Однако Чаповский не забыл осведомиться, не желает ли «его преосвященство» какого-либо содействия, нет ли у него просьб.

Проханов, нахмурившись, сказал, чтобы бургомистр не затруднял себя личными посещениями и в следующий раз вызывал рядового священника повесткой.

Последние слова были выразительно подчеркнуты...

Бургомистр смешался, невнятно пробормотал, что желания «его преосвященства» будут точно исполнены, пусть он не беспокоится и, что самое главное, пусть никуда не сообщает о допущенных промахах с его представлением избранному обществу города Петровска.

Чаповский счел своим долгом заметить, что господин комендант и он лично надеются на помощь «его преосвященства». Из этих соображений заместитель бургомистра господин Амфитеатров поступает в распоряжение «его преосвященства».

Чаповский, отвесив почтительный и глубокий поклон, удалился.

Амфитеатров, державшийся в сторонке, словно ждал этой минуты. Он вышел на середину комнаты и, улыбаясь,

стоял некоторое время, будто ожидал, что на него должны обратить какое-то особое внимание.

По виду заместителю бургомистра было лет сорок — сорок пять. Тщедушного телосложения, с редкими волосиками на голове, но одетый с иголочки в полувоенный костюм, с множеством ремней, с блестящими и скрипящими крагами, этот человек походил на опереточного героя. Однако глаза Амфитеатрова внушали трепет любому, кто с ним сталкивался. В них светилась такая ненависть, откровенная, жгучая, что становилось не по себе, когда человек встречался с ним взглядом.

Для этой ненависти были причины. Отец Николая Амфитеатрова, священник, так же, как когда-то и Проханов, с первых же дней революции активно выступил против советской власти. Но Захарий Амфитеатров не обладал эластичностью отца Василия. Фанатизм и слепая ненависть к «антихристам-большевикам» заставила Захария взять в одну руку крест, в другую — оружие и выступить во главе кулацкого восстания. Участников этого восстания за звериную жестокость прозвали в народе «захарьевскими бандитами».

На борьбу с озверевшими кулаками поднялись крестьяне из окрестных деревень.

Их самосуд был страшен. Ни милиция, ни специальные части, выделенные государством для борьбы с бандитами, не успели даже подойти, как все уже было кончено. С отцом Захарием, не успевшим скрыться, жители села Большое Доброво поступили по тем же законам, которые он применял к своим жертвам. При тридцатиградусном морозе его спустили в прорубь.

С тех пор прошло много лет, много воды утекло и давно уже было забыто кулацкое восстание, а в местах, где когда-то действовала шайка, возглавляемая попом, до сих пор еще живут выражения: «лютует, чисто Захарий», «белены захарьевской объелся», «кровь захарьевская в голову ударила».

Но если народ забыл о делах Захария, то не забыли расправы с ним его дети: сын Николай и дочь Галина, или Гильда, как ее теперь называли. В свое время им удалось скрыться за границу. Теперь они возвратились в родные края, чтобы мстить. Николай Амфитеатров стал заместителем бургомистра, а его сестра — переводчицей в немецкой комендатуре.

Николай Амфитеатров, испытывая удовольствие от собственных слов, доложил Проханову, чей он сын и зачем вернулся на эту «пропитанную отцовской кровью землю».

Проханов искренне обрадовался этой встрече. Он сказал, что хорошо помнит отца Захария, но даже и подозревать не мог, что этого «почтенного и уважаемого в духовном мире» человека постигла столь печальная и страшная участь.

Однако «его преосвященство» слукавил. Об участи отца Захария Проханов узнал вскоре после подавления восстания. Он сам был членом той же банды, но вовремя сумел скрыться, а потом запутал свои следы.

Проханов выразил сыну «глубоко уважаемого» им человека самое искреннее соболезнование, а потом долго заверял Амфитеатрова, что сын его друга, погибшего при столь трагических обстоятельствах, с полным правом и основанием унаследует его дружбу.

И только после взаимных уверений в преданности они приступили к делу:

— Для пользы дела решено организовать городскую управу, — сказал Амфитеатров. — Надо избрать бургомистра. — Он подчеркнул последнее слово. — Вы понимаете?

Проханов насторожился.

— Что ж, разумно, на мой взгляд. Только я-то здесь при чем?

— Как раз вы, отец Василий, и необходимы в этом деле. Удобней всего это избрание завершить в церкви.

— Но она еще не работает.

— Беда не велика. Дня через три мы наведем хотя бы относительный порядок. В церкви была мастерская с гнусным моему слуху названием «Победа коммунизма».

— Н-да... Так что же вы хотите, Николай Захарович? Я все же никак не возьму в толк.

— Мероприятие простое, отец Василий. Мы соберем в церкви народ и в присутствии священника предложим избрать нужного нам человека городским бургомистром. А вы, ваше преосвященство,—Амфитеатров выразительно усмехнулся, — благословите избранника и пожелайте ему успехов в работе. Вот и все.

Проханов задумался. Имеет ли он право действовать так открыто? И как еще отнесется ко всему этому советник?

— Нет, я не могу вмешиваться в подобные дела. Дела боговы не есть дела административные.

Лицо Амфитеатрова слегка побледнело, обострилось, а верхняя тонкая губа приподнялась, обнажая мелкие зубы. Казалось, что этот человек зарычит и бросится на собеседника.

— Но... святой отец, с волками жить — по-волчьи выть, — явно сдерживаясь, произнес гость. — И потом, я прошу этого не забывать, мы ведь можем и заставить...

Проханов медленно поднялся.

— Господин Амфитеатров. Если бы вы не были сыном мною уважаемого человека, — а отец ваш воистину свят своей кровью мученика, — достаточно одного моего слова господину советнику — и от вас, почтеннейший, останутся одни воспоминания. Вам понятно, с кем я вою и к какой стае принадлежу?

Амфитеатров отступил к стене. Превращение седобородого старца в грозного воина было столь неожиданным, а слова его столь резкими, что Амфитеатров не сразу нашелся, что ответить.

Проханов пожалел, что поступил неосторожно. «Воистину говорят: век живи, век учись и дураком умрешь», — с неудовольствием подумал он о себе и решил исправить ошибку.

— А знаете, сын мой, я нашел выход. А почему бы и в самом деле не применить ко мне силу? Вы понимаете, о чем я говорю?

— Н-не совсем.

— Все просто. Благословить городского бургомистра я не отказываюсь, но в церковь вы меня приведете под оружием.

— Но вы... вы только что...

— Ах, какой вы непонятливый! Чтоб народ видел: не по своей, дескать, воле идет батюшка на такое дело.

— Во-от оно что! — осенило наконец заместителя бургомистра.

Амфитеатров, как отметил про себя Проханов, не отличался сообразительностью. Но, как ни странно, его хвалили. Еще в областном центре Проханов слышал, что вопросами пропаганды в Петровске ведает человек, имевший определенные заслуги перед «фатерландом».

— Одобряю, ваше преосвященство. От всей души одобряю!—вскричал Амфитеатров.—Все будет сделано.

Приступ горячего излияния чувств, к счастью, был не таким длительным. Амфитеатров щелкнул каблуками, смиренным голосом попросил благословения и, прочувствованно поцеловав священнику руку, удалился.

Хозяин дома не провожал гостя. Нечего баловать, пусть почувствует силу.

С этого дня прошла неделя. Проханов, облачившись в теплую рясу, которую подарил ему перед отъездом в Петровск протоиерей Кутаков, начал выходить из дому. Он заглянул в церковь. Там уже полным ходом шла работа.

От имущества бывшей артели не осталось и следа. Это вполне устраивало священника: за ликвидацию артели никаких претензий к нему лично предъявить не могли.

Благообразный, смиренный вид Проханова, его обходительность, мягкость пришлись по душе людям, пристально за ним наблюдавшим. По городу пошел слух, что приехавший в Петровск священник не очень-то жалует немцев; его, по всему видать, силой заставляют служить. При встречах люди, совершенно не знавшие Проханова, начали почтительно кланяться ему. Но особое расположение он приобрел во время выборов городского бургомистра.

В назначенный день полицейские согнали жителей города к церкви, невнятно прочли какой-то список, где первым значился некто Александр Попов, а потом началось голосование.

— Кто желает избрать бургомистром города господина Попова? — громко, насколько позволили голосовые связки Амфитеатрова, возвестил заместитель бургомистра; он взобрался на специально сооруженное для этой цели возвышение, походившее на трибуну, и представлял собой весьма комическое зрелище в своем опереточном одеянии. — Выборы у нас свободные. Прошу граждан изъявить свою волю поднятием руки.

Сразу после этого выступления Амфитеатрова в толпе стали шнырять полицейские и подталкивать винтовками и автоматами тех, кто не хотел поднять руки

«Выборы» проходили под наблюдением немецких солдат. Правда, в данном случае они были просто свидетелями. Кое-кто из них шутки ради пощелкивал затвором винтовок. Эти звуки отчетливо раздавались в морозном воздухе.

Так был избран городским главой какой-то Попов, о котором никто раньше не слышал и в глаза его не видел.

Заместитель бургомистра изобразил на лице улыбку и объявил:

— Господа! Я не вижу необходимости в дальнейшем голосовании, поскольку каждый из вас уже отдал свой голос за господина Попова. Он единогласно избран главою города Петровска. А сейчас, господа, по традиции, которая принята и уважаема нашими дедами, ваш приходский священник отец Василий примет присягу и благословит избранного вами бургомистра города Петровска господина Александра Семеновича Попова.

Амфитеатров сделал знак рукою, и полицейские распахнули двери церкви. Оттуда в полном облачении вышел Проханов, но с непокрытой головой, а позади него шли полицейские с автоматами наперевес. Поодаль от них и тоже с автоматами, шествовали два солдата.

В толпе зашелестели женские голоса.

— Смотри, что делают, изверги. Батюшку под ружьем!

— Видно, не хотел благословлять-то...

— Тише вы, бабы, вишь как ощерился мартышка в ремнях. Ему что — махнуть ручкой, и нас поминай как звали...

Амфитеатров не ожидал, что появление Проханова под ружьем произведет на жителей города такое тягостное впечатление.

«Перестарались, дурачье!» — подумал он, но, встретившись взглядом с Прохановым, понял: тот очень доволен представлением.

Амфитеатров, когда узнал, кто стоит за спиной Проханова, стал избегать его.

...Богослужение, присяга и довольно сложная церемония, завершившая выборы, прошли в общем-то благополучно, если не считать, что какая-то женщина во время службы вдруг разрыдалась и начала выкрикивать проклятия. К ней подскочили полицейские, вытащили ее из толпы и куда-то немедленно увели.

Глава четвертая

ГЛАЗА ИНЖЕНЕРА НИКИФОРОВА

Проханов хорошо понимал: его личное благополучие зависит от того, каким авторитетом и уважением он будет пользоваться у прихожан. Далеко не глупые люди создали поговорку: «Каков поп, таков и приход». Трезво оценивая свое первое появление среди паствы, он понял: задуманное удалось на славу.

В тот же вечер он первый раз появился и среди избранных мира сего. Городской бургомистр Попов устроил банкет. Но прежде чем появиться на этом званом вечере, Проханов потребовал у Амфитеатрова список приглашенных.

Список высоких гостей был доставлен «его преосвященству» немедленно.

Гости вполне устраивали Проханова — почти одни немцы. Новый бургомистр наживал политический капитал в основном у завоевателей, а из земляков пригласил лишь Чаповского, Королькова и Амфитеатрова.

Проханов мало пил и больше приглядывался к гостям. Говорили в основном на немецком языке. Проханов довольно хорошо понимал язык завоевателей, но делал вид, что не знает ни одного слова. Выгоду этого своего поведения он оценил уже давно.

В качестве переводчика пригласили сестру Амфитеатрова, разбитную тридцатишестилетнюю даму, которая, не в пример брату, производила эффектное впечатление. Ростом Гильда была невысока и отлично сложена. Она прекрасно знала цену своей грациозной талии и широких бедер. Одета Гильда была в платье из какого-то необыкновенно красивого черного шуршащего материала, усыпанного блестками, как ночное небо звездами. Оно великолепно сочеталось с ее пепельными волосами. Правда, местных дам несколько шокировало откровенное декольте Гильды, зато мужчины были довольны туалетом очаровательной переводчицы.

Гильда в избранном обществе пользовалась завидным успехом. С ней танцевали, ей улыбались, возле нее был настоящий рой мужчин, что взбесило остальных дам. Когда Гильда стала отлучаться то с одним, то с другим кавалером в соседние комнаты, дамы обнародо-

вали, разумеется, совершенно по секрету, весьма примечательную деталь биографии сестры заместителя бургомистра.

Гильда, не выдержав мытарств эмигрантской жизни, довольно долго находилась в публичном доме. В нее будто бы влюбился немецкий офицер и женился на ней, за что едва не распростился с офицерским званием. Некоторое время она жила во Франции, где находилось подразделение ее мужа. Потом его послали на восточный фронт. За мужем последовала и Гильда. Муж погиб в бою с партизанами Украины.

Гильда не уехала из России. Она хотела мстить. И мстила. Но в антрактах от службы, как это утверждалось довольно осведомленными дамами, она вернулась к своей бывшей профессии, что оказалось весьма доходным делом. У нее будто бы уже скопился круглый капиталец.

Проханов наблюдал за этой смазливой разбитной женщиной, которая, кажется, находила особое удовольствие в том, чтобы бесить раскрашенных дам, открыто флиртуя с их мужьями. Он смотрел на нее и думал:

«Гильда царствует, а ведь труп уже... Любой капитал промотает и снова окажется в публичном доме. Правильно я сделал, когда отказался ехать за границу. Как мне ни плохо было, а все ж своя земля всегда милее.— И с торжеством, ликуя, сказал себе, будто грозя кому-то: — Дай срок — мы наведем свои порядки. Уж тогда поживем! И не Гильды будут утешать нас — настоящие красотки!»

За этими греховными мыслями и застал Проханова пристальный взгляд коменданта. Майор фон Грудбах изучал его со всей осторожностью, стараясь не упустить ни одного движения или взгляда священника. А когда комендант понял, что его наблюдение не стало секретом для Проханова, он тут же встал и удалился в соседнюю комнату.

Вскоре к «его преосвященству» незаметно подсел адъютант фон Грудбаха и в изысканных выражениях передал просьбу господина майора уделить ему некоторое внимание для конфиденциальной беседы.

Проханов удовлетворил просьбу фон Грудбаха.

Священника и коменданта не было около часа. Возвратились они по отдельности. Проханов приличия ради

посидел еще некоторое время, а когда веселье разгорелось и гости вместе с Гильдой потеряли контроль над собой, Проханов удалился.

В прихожей он столкнулся с тем самым старичком, который однажды приходил к нему на дом по поручению Чаповского; сейчас он, видимо, дожидался бургомистра, не смея появиться в гостиной.

Старичок почтительно поздоровался со священником, но тот даже не обратил на него внимания и на приветствие не ответил. Проханов был очень взволнован беседой с майором фон Грудбахом, передавшим настоятельную просьбу господина советника — слово «настоятельную» комендант почеркнул довольно выразительно — помочь немецким властям в борьбе с партизанами, которые особенно активизировались именно в их районе.

— Надо срочно выяснить, где расположены их основные силы. Конечно, господин советник предупреждал меня, чтобы вы, ваше преосвященство, действовали согласно той инструкции, которую получили от него лично. Осторожность прежде всего. Провал основного задания не может быть ничем оправдан. — Майор фон Грудбах выпрямился.—Разведывательная операция, ваше преосвященство, поручена лично вам... Поймите меня правильно, я выполняю приказ!

Для Проханова настала горячая пора. Ремонт церкви на второй же день после банкета у городского бургомистра пошел таким ходом, что не оставалось сомнения: через неделю, в крайнем случае полторы, церковь начнет службу. На строительную площадку, как и было условлено с господином фон Грудбахом («Услуга за услугу!»—доверительно улыбнулся тогда комендант.), прибывала партия за партией ремонтных рабочих. Ими командовали полицейские, которые сами находились под бдительным оком солдат.

Как-то в разгар работы к батюшке подошли две монахини и предложили иконы. Проханов, не торгуясь, тут же купил все, что у них было, и наказал, чтобы они привозили еще, сколько найдут.

Эти слова, предназначенные будто бы только для монахинь, относились к тем, кто слушал их разговор.

Во время конфиденциальной беседы с комендантом фон Грудбахом было условлено, что, по указанию господина советника, Проханову, в знак особого к нему расположения, немецкие власти передадут редчайшей ценности древние иконы. Но и об этом не следовало широко распространяться. Будет даже лучше, если он «купит» иконы при свидетелях.

Так появились в Петровской церкви эти монахини. Одной из них, что помоложе — ей по виду было немногим больше тридцати, — Проханов поручил доставить иконы к нему на дом. Она явилась именно в тот час, который ей был назначен, и провела в доме Проханова всю ночь. А наутро она уселась на подводу, уверенно приняла в руки вожжи, переданные Прохановым, и лихо выехала из ворот поповского дома.

Появилась она снова только на четвертую ночь, но уже не одна, а с двумя незнакомыми женщинами и двумя немецкими солдатами. Воз был почти доверху гружен иконами.

Женщины остались жить в доме Проханова и взяли на себя все домашние хлопоты. Две приезжие спали в передней и только молодая удостоилась чести почивать в покоях священника. Робость ее через неделю-другую исчезла. Она стала покрикивать на своих же сверстниц.

А когда на улице зазвенела капель, во дворе Проханова появилась корова. Вслед за нею были доставлены поросята, куры, утки. Потом он приобрел лошадь с полной упряжью и нанял конюха, того самого старичка, который исполнял когда-то поручения Чаповского. Лошадь сначала содержалась в том же помещении, что и корова, а когда около церкви построили новые подсобные сооружения, лошадь и транспортные принадлежности перевели в эти хозяйственные пристройки. Там же в сторожке поселился и старик-конюх.

Церковь давно уже начала службу. На ее открытие собралось довольно мало народу и притом одни лишь старушки. Но уже на второй день посетителей прибавилось. А вскоре приход стал увеличиваться на глазах. Особенно он вырос и окреп, когда Проханов, используя полицейских, рабочие команды и верующих, доставил на немецких машинах набор колоколов.

Целая неделя ушла на их установку. Для подъема самого большого колокола по распоряжению комендан-

та майора фон Грудбаха прислали специальный кран. Правда, Проханов громко ругал нехристей-солдат и даже плюнул им вслед при всем народе, когда они нахально топали по церкви.

Об этом стало известно на другой же день. Уважение к священнику возрастало.

Когда колокола наконец были установлены и основательно закреплены, Проханов сам полез проверять работу. Он внимательно осмотрел все вокруг, оглянулся настороженным оком, а когда убедился, что за ним никто не наблюдает, отвел душу:

— Господи, буду молить тебя, чтоб эти колокола сохранились навечно, как навечно должна быть и власть, их установившая. — Он подумал и сказал с горечью: — До чего дожил. Я—русский, а победы желаю немцам. — И снова помолчал. — Да, я русский, но пусть будут прокляты те, кто отнял у меня кусок хлеба. Смутили народ, смешали мысли, заразили вольнодумством, погибели на них нет...

Он обернулся назад и долго неподвижным, невидящим взглядом смотрел на восток. Там то замолкал, то усиливался гром пушек. До линии фронта каких-нибудь сто километров. И вот уже несколько месяцев не двигался фронт ни вперед, ни назад.

Неужто и в самом деле на их стороне сила? Да, зря он выступил в первые годы революции против новой власти. Ведь все равно не верил ни в бога, ни в черта. Так себя загрязнить! Ах дурак, дурак!

Но и сейчас он делает что-то не так. Чует его сердце, плохое творится. Помогай им узнавать о партизанах. А разве перехитришь этого проклятого Федосякина? Засел в лесах, вот он, рукой подать, а ни бомбами его, ни пушками не вышибешь оттуда. Выскочит из лесу, пустит под откос эшелон-другой, покалечит колонну — и опять в лес.

Да, видно, неважные дела у немцев. Оттого-то они стали заигрывать с местными жителями. Организуют в городе театр. И название какое-то пустозвонное — национальный театр имени Войнобойникова. Кто такой этот Войнобойников и что он такое сделал? Уж лучше бы честно назвали — имени Гейне или там Шиллера, или уж, если национальный, так имени Пушкина... Такое всякий поймет. А то Войнобойников...

Ох, осторожно надо действовать. Очень осторожно. Что ему обещанный сан епископа, коль головы на плечах не будет.

Проханову было известно, что в отряде Федосякина о нем знают и знают, что люди охотнее идут к нему, чем в театр имени Войнобойникова

Впрочем, в этот смехотворный театр никто не ходит, потому что боятся комендантского часа. Если опоздаешь хотя бы на полчаса, могут если не расстрелять, то тюрьма обеспечена наверняка.

Невеселы были его мысли. Однако это не мешало дать строгий приказ звонарю утром и вечером звонить во все колокола, взывая к прихожанам, чтобы слышали все: «Пожалуйте к нам, люди добрые. Помолимся богу, восславим господа во имя грядущих побед».

Чьих побед, обычно не уточнялось: понимай как знаешь.

Приходилось крутиться. И все-таки, как бы там ни было, о животе своем Проханов не забывал. Зиму он провел безбедно, прихожане оказались на редкость щедрыми.

Правда, вокруг нового священника увивалось много женщин. Но тут же отходчивые прихожане решили: по хозяйству помогают. Все-таки мужчина, а за мужчиной, как известно, нужен глаз да глаз. А ежели кого и пригреет ночью, так что за беда: у отца Василия семеро по лавкам не бегают. Мужчина он в силе, пусть себе устраивается как хочет.

Не забывали о священнике и немцы. Нет-нет да и подбрасывали ему кое-что из припасов: то муки подвезут, то крупы, то овечку подкинут, а другой раз и канистру со шнапсом сбросят.

Был случай, когда Проханов получил чистый спирт, больше тридцати литров. Как выяснилось, его послал лично советник за письмо, которое переправил ему Проханов со своим человеком.

В том письме содержались довольно важные сведения. Важные для немецких властей, а ему, Проханову, они ничего не стоили — никакого риска. Он случайно подслушал разговор своего конюха с неизвестным человеком.

Конюх неосторожно проболтался, будто собственными глазами видел, как три подводы, нагруженные

всякими продуктами, отправлялись в балку, что находилась примерно в пятнадцати километрах от города.

Сведения оказались точными. Правда, не так уж много было партизан, но все там полегли. В плен сдаваться никому не хотелось. Да и правильно, конечно. Уж лучше себе пулю в лоб, чем испытать мучения в тюрьме. А что такое петровская тюрьма, Проханов хорошо знал.

Вскоре после конфиденциальной беседы с комендантом на банкете у вновь избранного бургомистра Проханов получил спешное предписание фон Грудбаха. Посланный от майора явился в полночь.

— Не мог дождаться утра, орясина немецкая, — раздраженно сказал Проханов, но тут же улыбнулся, вспомнив водителя, который доставил его сюда. — Пожалуй, правильно сделал, что ночью послал записку — к чему привлекать внимание?

Комендант просил срочно исповедать смертника и, если отцу Василию удастся узнать что-либо ценное, тут же сообщить ему лично.

Первым побуждением Проханова было отказаться, даже пожаловаться на коменданта господину советнику. После письма Проханова с господином фон Брамелем-Штубе установились очень теплые, дружелюбные отношения, заслужить которые от сановника, приближенного лично к Гитлеру, считалось не такой уж малой честью. Проханов не мог, да и не имел права во имя более сложных целей, рисковать и заниматься выуживанием всяких сведений, которые требовались гестапо. Но любопытство взяло верх. Интересно все-таки знать, что же представляют собой партизаны, которые наводят такой ужас на немцев при одном только упоминании о них.

Во втором часу ночи Проханов вышел из дому и тихонько побрел по улице, настороженно оглядываясь — нет ли за ним слежки. В глухом переулке он сел в машину, предусмотрительно посланную за ним комендантом. Высадить себя он приказал не перед тюрьмой, а в ее дворе и ждать здесь же, чтобы не выходить на улицу, где его могли опознать.

В тюрьме священника встретил начальник полиции Корольков.

Только недавно Проханов узнал, что за птица этот

«министр». Корольков оказался сыном крупного дворянина. Еще до революции он имел чин подполковника, а в белой армии командовал карательным подразделением.

После разгрома армии ему удалось пробраться за границу. Эмиграция многому научила Королькова. Борьба за свою идею не принесла ему ни рубля, зато сейчас глава районной полиции не терял времени даром. По слухам, Корольков грабил направо и налево. Все это имущество вагонами отправлял куда-то на юг, а оттуда за границу. Как утверждали, у него появился довольно крупный счет в иностранном банке.

Жадность Королькова становилась притчей во языцех. Районный бургомистр Чаповский предупредил своего «министра», что будет вынужден применить к нему определенные санкции, ежели он не найдет средств унять свою «откровенность». Но Корольков плюнул на эти предупреждения и стал еще хлеще интриговать против бургомистра. Глава районной полиции спал и во сне видел, когда сам останется полновластным хозяином не только в районе, но и в области.

...В камере смертника был полумрак. Проханов с трудом рассмотрел бледного, заросшего густой щетиной заключенного, который с изумлением смотрел на человека в рясе и с крестом в руках.

Узник назвался Никифоровым. История его оказалась весьма драматичной.

Никифоров на фронте был тяжело ранен и попал в плен. Немцы узнали, что он по образованию инженер и служил в частях РС—реактивные снаряды. Это оружие, получившее ласковое название «катюша», наводило ужас на немецких солдат.

Никифорова положили в петровскую больницу, добросовестно лечили и наконец поставили на ноги. Но он вовремя смекнул, что его хотят использовать как информатора. Выход был единственный — побег. Своими планами он поделился с соседом и договорился бежать вместе с ним.

Сосед же оказался провокатором.

В ночь, назначенную для побега, Никифорова из больницы перевели в тюрьму. Начались бесконечные

допросы. Его били, подвергали пыткам, но он молчал. Когда стало ясно, что Никифоров тайны не выдаст, пошли на хитрость. В его камеру снова подослали провокатора.

На этот раз инженер сумел разоблачить его. Он задушил предателя, а когда утром часовой открыл дверь, Никифоров бросился на штык винтовки, рассчитывая на мгновенную смерть. Самоубийство, однако, не удалось.

Его приговорили к смертной казни и дали двадцать четыре часа на размышления.

Именно в такой момент и попал в камеру смертника Проханов.

Он с первого взгляда определил, что с таким человеком хитрить и ловчить не стоило. Поэтому заявил открыто, что послан немцами с заданием выведать от него все возможное и сообщить им.

— Ну и как же поступите? — насмешливо спросил Никифоров, хотя говорить ему было очень трудно: он тяжело и со свистом дышал, а порой задыхался.

— Очень просто. Заявлю, что исповедь—тайна, которую открывать можно только богу.

— Э, бросьте, святой отец... Я — материалист. В бога не верил и не верю... Прошу вас... Если вы действительно порядочный человек, не изображайте из себя героя. Уж из вас-то... из вас они тайну вышибут Прошу мне верить, — и, болезненно морщась, он сдернул халат с ног.—Смотрите! — Там, где полагалось быть ногам, осталось кровавое месиво.—В тисках побывал...Так что не надо намекать ни на какую тайну, если не хотите испытать то же самое.

Проханов побледнел и долго не мог оторвать взгляда от искалеченных ног арестанта.

— Нет, сын мой... Я все-таки скажу, что тайна священна...

Никифоров помолчал, не то набираясь сил, не то раздумывая над словами священника.

— Что ж... Я вас понимаю... Тем, кто вас послал сюда, нужны не только сведения, которыми я располагаю как инженер. Им нужно сломить меня... Как советского инженера и советского офицера... Они хотят сломить мою волю... Это ведь тоже победа... А вы им принесете полпобеды.

— Я вас не понимаю, сын мой.

— Бросьте притворяться. «Не понимаю». Всё вы... Вы отлично... — Никифоров стал задыхаться, но, сделав над собой огромное усилие, стал дышать ровнее. — Я говорю — всё вы, святой отец, понимаете...

— Но клянусь вам!..

— Не надо! — Никифоров протестующе шевельнул рукою. — Вы скажете... палачам этим: «Тайна исповеди священна», а они... порадуются — все-таки сказал этот русский.

Проханов молчал, сраженный этой неистовой волей человека, жить которому осталось считанные часы. Невольно пришла в голову мысль: а он бы выдал тайну под такими же вот пытками?

Спросил и ужаснулся мысли, которая пришла ему в голову. Он бы даже до пыток не допустил. Все сказал, да еще заручился бы гарантиями, что об этом никто не узнает. Живем-то один раз! Жизнь у него одна-единственная. Нет никаких загробных жизней. Здесь она протекает, на земле, и в земле кончается. Нет ни рая, ни ада. Нет и быть не может. И было бы непростительной глупостью так вот расстаться с нею, как этот фанатичный офицер.

К чему его тайна, если он не будет жить?

И неужто так принципиален этот инженер? Все люди одинаковы. Есть получше, есть похуже, но когда дело доходит до жизни — все равны перед смертью.

— Скажите, сын мой, вы коммунист?

Никифоров слабо усмехнулся.

— Нет. Не член я партии. Не удостоен этой чести, о чем искренне сожалею.

Проханов ничего не понимал. Инженер говорил правду. Но что же его заставляет молчать?

— Так что же вы? Почему молчали? Во имя чего?

Никифоров смотрел на отца Василия долгим, пристальным взглядом.

— Вы, конечно, знаете историю, святой отец... У вас же отличный учитель. Петр Мысловский, тоже священник.

— Кто он? Я не слышал о нем, — ответил Проханов настораживаясь.

— Ну как же так! — оживился инженер. При декабристах было... Сам Николай Первый его в камеры посылал! К декабристам. Выпытывал на исповеди...

Проханов откачнулся от смертника. Гнев стал заливать ему глаза. Но он молчал.

— А царь за это ему чин протоиерея и орден святой Анны... Вы слышите? Святой орден святому отцу... А потом даже академиком сделал.

— С-сукин ты сын! — Проханов задыхался. — Я к тебе, мерзавцу, с молитвой...

Никифоров рассмеялся.

— Вот это уже другой разговор. Давай, святой отец, в том же духе... Может, Гитлер и вам подкинет орденок...

— Замолчи, красная сволочь!

Проханов весь дрожал от бешенства.

— Вот где вы открылись! Но мне плевать с самой высокой колокольни на таких двурушников. Передайте еще раз, что я, беспартийный инженер, остаюсь до конца советским человеком. Поймите вы это! Вы, жалкий приспособленец! Я же умру советским. Интересы Родины для меня... Э, да что говорить! Разве такие, как вы, поймут... Уходите, иначе я вас придавлю, как придавил уже одного такого же провокатора.

Помутилось в глазах Проханова, все смешалось в его сознании. Он, помнится, левой рукой нанес страшный удар Никифорову в глаза, которые словно прожигали его насквозь.

Что-то хрустнуло под его рукой. Проханов ударил второй раз и озверел. Он бил, бил, бил... А смертник даже не сопротивлялся. Обливаясь кровью, он хрипло повторял:

— Гад! Инквизитор! Предатель! Сколько ваша церковь обманывала людей?.. А меня не удалось... Не удалось, а? Бей, святой отец!.. Это сподручней... Найди живое место... В сердце! В сердце! Чего там, круши лежачего... Вспоминай Христа...

Хрипел Никифоров до тех пор, пока голова его не упала на доски нар. Проханов последний раз, обеими руками, сцепленными в пальцах, ударил узника в живот.

Редко кто выживал после этого удара, но Никифоров все-таки очнулся, когда Проханова уже не было в камере. Инженера не повесили, а расстреляли ровно через час. Такова была воля Проханова. Он даже и сам не знал, почему потребовал у Королькова именно расстрела.

— Только по глазам... по глазам стреляйте!

Будто обезумевший, он повторял:

— Вы слышите? По глазам, по глазам, по глазам!..

В то же утро была расстреляна женщина, случайно столкнувшаяся в тюремном коридоре со священником. Она узнала его, бросилась ему в ноги, умоляя заступиться за нее.

— Помогите, святой отец. Век буду бога молить...

Проханов смотрел на нее с ужасом: завтра всему городу будет известно, что он по ночам тюрьму посещает.

— Успокойся, дочь моя, — он властно кивнул полицейскому, который сопровождал женщину в камеру, чтобы ее поскорее увели, но та, вцепившись в ноги священника, застыла в конвульсиях.

— Стойте здесь, — приказал он полицейскому. — Не сметь вести в камеру! Держите ее здесь. Я пришлю Королькова.

Оторопевший полицейский навалился на женщину и придавил ее к цементному полу. А Проханов тем временем устремился на поиски начальника полиции, с которым только что расстался.

Корольков даже испугался, когда увидел побелевшее лицо Проханова.

— Немедленно! Слышите? Немедленно расстреляйте и бабу. Она там, в коридоре. Узнала меня. По всему городу пойдет.

Даже Корольков не знал, как поступить. Он созвонился с майором фон Грудбахом. Требование «его преосвященства» комендант нашел вполне разумным и приказал немедленно выполнить его.

Глава пятая

У ПРОТОИЕРЕЯ

Проханова пригласил к себе протоиерей Кутаков. Не вызвал, как полновластный хозяин епархии, а именно пригласил, употребляя в письме самые почтительные эпитеты. Нарочный передал это письмо из рук в руки.

Проханов тут же отправился в путь.

Ехал он, как и в прошлый раз, на грузовике, хотя майор фон Грудбах предложил ему закрытую машину и конвой. Однако отец Василий предпочитал другой способ

передвижения, который соответствует сану простого православного священника. Вряд ли партизаны будут нападать на одинокую пустую машину, в которой сидит человек, ничем себя не запятнавший в их глазах. У Проханова были сведения, что Федосякин сказал о нем:

— Этот человек очень может нам пригодиться.

Слова эти были переданы агентом, который состоял на службе у Королькова, но сбежал из отряда, боясь разоблачения. Он пришел в церковь, попросил исповеди и рассказал, что говорили о настоятеле в партизанском лагере.

Проханов накричал тогда на корольковского агента. Как он смеет распространять о нем такие нелепые слухи?

Агент перепугался, но клялся, что говорит правду. Проханов заставил его повторить все на библии и потребовал молчания. Агент поклялся и просил Проханова не выдавать его.

— Ладно, сын мой. Иди с миром, — сказал тогда Проханов.

Разумеется, он не стал распространять сведений, которые он получил. Но при удобном случае намекнул Королькову, что господин советник недоволен организацией агентурной разведки.

Корольков потемнел лицом. Расспрашивать и уточнять, что говорил господин советник, он не стал, но меры принял решительные. Как потом выяснилось, он вызвал к себе агента, сбежавшего от партизан, допросил его с пристрастием.

— А знаете ли вы, почтенный, — вкрадчиво заговорил Корольков, —что полагается за такие действия?

У агента запрыгали губы, но он молчал.

— Молчите? Так я скажу. — Корольков медленно поднялся, грозный и непоколебимый. — Расстрел за это полагается. И вы будете расстреляны как предатель, ежели немедленно не возвратитесь к партизанам. Вы меня слышите?

— Да, господин начальник...

— И не вздумай скрываться, поганая твоя рожа! — жестко сказал Корольков, с силой потрясая пальцем перед носом агента. — Из-под земли достану!..

— Есть!

Агент выполнил приказ: жить ему хотелось. Но жизнь его оказалась короткой.

При первой возможности Проханов сделал так, что конюх «случайно» подслушал его рассказ о том, что к Федосякину послан агент Королькова, назвал его фамилию. При этом Проханов не забыл, конечно, обругать того человека последними словами. Он даже плюнул и обозвал его христопродавцем.

Как и предполагал Проханов, конюх передал эти сведения в лагерь партизан. Провокатора разоблачили и уничтожили. О его гибели проговорился сам Корольков.

Проханов был на этот счет спокоен: никто его не мог уличить в двойной игре. Он правильно сделал, предприняв с самого начала самые строгие меры предосторожности...

Пусть любой из петровских главарей попробует отправиться в город вот так, как он, без единого человека охраны. И десяти километров не проедет, как взлетит на воздух или получит пулю в затылок. А его пока еще бог миловал.

Шофер, который вез священника, получил основательную инструкцию. Дорога опасная, надо глядеть в оба.

А Проханов тем временем дремал; дорога пролегала далеко от леса, где обитал отряд Федосякина. Водитель из местной полиции, переодетый в крестьянскую дубленую шубу, ехал на небольшой скорости, опасаясь гололеда.

Впереди показалась повозка с сеном.

Повозка примерно за километр от них остановилась. Трое мужчин в ватниках захлопотали около нее.

Шофер вдруг встревожился и хотел дать газ.

— Ни в коем случае! — приказал Проханов, тоже заподозривший неладное.

И чутье его не обмануло. Когда они подъехали к повозке совсем близко, все трое выхватили из сена немецкие автоматы.

— Стой!

Проханов скорее понял властный жест одного из встречных, чем услышал его голос.

— Остановись, болван! — крикнул Проханов, заметив, что водитель суетливо включает третью скорость. Но перетрусивший шофер или не услышал, или не придал значения окрику пассажира и все-таки нажал на газ. Проханов левой рукой выключил зажигание, правой ударил водителя по лицу.

— Тормози, трус несчастный! Пулю захотел?

Водитель опомнился и резко нажал на тормоза. Машина пошла юзом и мягко скатилась в кювет. Но священник успел уже выскочить из кабины. Он обошел кузов, вышел на середину дороги и спокойно остановился в нескольких шагах от вооруженных людей.

— Смотри-ка, поп! — услышал он удивленный возглас одного из партизан. — Не этого ли отбивали от конвоя?

— Замолчи ты! Язык, что помело.

Окрик подействовал. Все замолчали. Водитель, вцепившись в баранку, пучил глаза на троих мужчин с автоматами и мелко дрожал.

— Выходи сюда, — крикнул ему Проханов, первым нарушая молчание. — Что ты как паршивый заяц дрожишь!

Шофер метнул на него испуганный взгляд, но тут же подчинился.

— Оружие есть? — хмуро осведомился один из встречных.

— Нет, сын мой, — спокойно ответил Проханов и мягко улыбнулся. — Никогда в своей жизни не держал в руках оружия. Мое оружие — слово божье. Другого не имею.

— А ну, обыщи-ка! — приказал тот же человек молодому своему товарищу.

Он был очень молод, этот партизан. Проханов видел, что он смущен поручением, обыскивал неловко, небрежно; он лишь слабо провел руками по бокам и бедрам отца Василия.

Между тем оружие у Проханова было. Маленький браунинг — подарок ватиканского гостя — был заткнут за широкий пояс, стягивающий объемистый живот священника.

...Обыск оказался безрезультатным: оружия не нашли ни у святого отца, ни у шофера, ни в машине.

— Куда следуете?

— К протоиерею Кутакову, сын мой. Если угодно, могу показать предписание.

— А кто вы? Откуда направляетесь?

Священник мягко улыбнулся, давая понять этой улыбкой, что его не обижают эти вопросы и, более того, он понимает их закономерность.

— Фамилия моя Проханов, зовут Василием Григорьевичем. Я — настоятель Петровского собора. И постоянно проживаю в том же городе Петровске. Вот... Пожалуйте документ. — Он неторопливо достал из внутреннего кармана справку, подписанную Кутаковым. Заметив, как дрогнула рука юноши, который его обыскивал, как поднялось дуло его автомата и уперлось почти ему в бок, Проханов чуть улыбнулся и мягко кивнул головой, чем заставил вспыхнуть и смешаться молодого партизана.

— Я не убегу, сын мой. Не чувствую за собой вины, да и незачем бегать от своих же православных.

— Ладно тебе, Костя, — сказал старший, покосившись на порозовевшего юношу. — Опусти свою пушку. Некуда им бежать.

Костя повеселел, подмигнул зачем-то водителю и вскинул автомат на ремень.

А в то время старший внимательно читал бумагу Проханова. Прочел и показал ее третьему.

— Кажется, тот самый, — тихо сказал старший.

Третий молча кивнул и сделал знак глазами: «Отойдем-ка в сторонку». Они удалились. Юноша, которого называли Костей, остался охранять священника.

Проханов почувствовал, как что-то в груди его дрогнуло и защемило тоскливо, тревожно. Было ясно: там, за повозкой, решается его судьба. Сам того не сознавая, он весь превратился в слух. Как ни странно, он услышал шепот тех двоих. Или морозный воздух помог, или уж действительно таков был обостренный слух в момент опасности, а может и то, и другое, вместе взятое, но как бы там ни было, разговор он слышал довольно отчетливо.

— Поп из Петровска... Наверно, он?

— Да, отец Василий,—твердо сказал третий, молчаливый. — Но что-то я второго с ним где-то видел. Полицай, кажется? — Голос и спрашивал и в то же время утверждал.

— Черт с ним! Бучу, по-моему, не стоит поднимать из-за одной сволочи. Дед, помнишь, приказал? Объясняйся потом. Но как быть с машиной?

— Реквизировать неловко. Пешком далеко им, а тащить с собой рискованно. Слух пойдет.

Юноша или понял по настороженному выражению лиц обоих задержанных, что они прислушиваются к разговору его товарищей, укрывшихся за возом, или сам

услышал их громкий шепот. Хитровато прищурившись, он громко прокашлялся, а потом еще громче стал постукивать каблуками сапог.

Наконец те двое вышли из-за воза. Тот, кого Проханов принял за старшего, заговорил снова:

— Служить фашистам, отец Василий, позорно...

Проханов мягко поднял руку.

— Позволю себе заметить, сын мой. Я служил и впредь буду служить народу своему, верующим. Я — священник, лицо духовного звания и служу православной церкви.

Он прямо и очень серьезно посмотрел в глаза сначала говорившему, потом по очереди перевел взгляд на остальных двоих. Взгляд этот был тверд и спокоен.

—И, кроме того,—я должен это сказать вам—не всегда выбираешь занятия, которые тебе по душе. Не забывайте время, в которое мы живем. Мне почти пятьдесят... Все вы в сыновья мне годитесь, а я вот думаю, что буду еще полезен людям. — И заключил, разводя руками: — Всяк по-своему живет и свои пути выбирает.

Трое помолчали, раздумывая над словами священника.

И слова, и тон его, и, главное, прямой открытый взгляд — все внушало уважение и выглядело солидно.

— Да... — нарушил молчание третий, обладавший, оказывается, густым баритоном. — Мы все понимаем, гражданин Проханов. Только и вы должны понять нас. Борьба идет не на живот, а на смерть. Потому и приходится поступать вот так, — он кивнул на свой автомат.— А служить людям действительно можно по-разному. Поезжайте с миром, отец Василий. И служите людям, как совесть велит.

— Спасибо, сын мой. Век буду бога молить.

Потом все трое помогли вытащить машину из кювета.

— Вот как надо околпачивать врагов своих! — с торжеством сказал Проханов, когда они отъехали от повозки на солидное расстояние. — А ты хотел удрать, дурень. Сейчас бы голова твоя с дыркой была.

— Вы святой человек, отец Василий. Спасибо вам, — сказал шофер. — Я очень испугался.

— Тоже мне мужчина! — рассердился Проханов. — Только смотри! Никому ни слова, если жизнь дорога... Понял?

Протоперей поразил гостя своей растерянностью и каким-то душевным надломом. Причиной вызова Проханова к Кутакову послужил случай, который вызвал много толков в городе и за его пределами.

Однажды фон Брамелю-Штубе донесли из района, что бывший священник Иосиф Десятков не только не явился на вызов бургомистра, но и послал ему весьма дерзкий ответ.

Бургомистр взбеленился и приказал доставить священника в районную управу силой.

Бывший священник смеялся, глядя на взбешенного бургомистра, и протянул ему руки, скованные наручниками.

— Вот она, западная свобода совести и вероисповедания! Я не пойму, господин бургомистр, — продолжал Десятков, — вы кем хотите меня сделать: православным или католическим священником?

— Конечно, православным.

— Очень хорошо. Православным. Но я не должен забывать, что у Гитлера есть соглашение с папой римским. Я забыл, как оно называется...

— Конкордат, — подсказал бургомистр, не понимая, к чему клонит собеседник.

— Вот-вот. Конкордат. А как вы полагаете: мне, конечно, не следует забывать о существовании Брестской унии?

Бургомистр насторожился.

— Что вам сдалась та уния?

— А как же? Конкордат у папы с Гитлером заключен?

— Ну и что?

— А папа, насколько я понимаю, католик?

— Ну? Чего тянешь-то?

— А что тянуть! Я не верю, что мы останемся в православной вере. Нас подомнут в той унии. Подомнут, это уж как пить дать. Ватикан знает, на что идет. Я немало прожил лет и разбираюсь кое в чем.

— Что в том плохого? — бургомистр попытался улыбнуться. — Брестская уния существует три с половиной века. И ничего. Люди живут себе и бога благодарят.

— Вот как? Значит, на службе у папы состоите? Может, не Гитлер, а Ватикан вам платит золото?

Бургомистр стукнул кулаком по столу.

— Довольно! Вы просто безумец, хоть и дожили до седых волос. Да. Я служу и Гитлеру, и Ватикану. И тем счастлив.

Бургомистр не мог уже говорить. Он плюнул себе под ноги, осенил себя крестом и, даже не взглянув на отца Иосифа, приказал отправить его в тюрьму.

Кутаков, выполняя пожелание советника фон Брамеля-Штубе, лично повидал этого обезумевшего священника, когда его доставили в областную тюрьму. Когда тюремный надзиратель по знаку удалился, арестованный устало спросил:

— Ну, зачем пожаловали, ваше преподобие? — и взглянул на Кутакова откровенно тоскующими глазами.

Кутаков попытался уговорить его смириться и принять сан.

И тут отец Иосиф взорвался.

— Не желаю я с Гитлером сотрудничать, с пиявкой папой римским. Не же-ла-ю!— по слогам выкрикивал он.

Кутаков замахал на него руками.

— Тише! На всю тюрьму слышно. Ей-ей, веревку захотел...

Но Десятков не унимался.

— Продался врагам земли русской. И не стыдно?

Кутаков опешил и не мог слова сказать в ответ.

— Давненько о тебе не слышал, — продолжал Десятков. — Забился, как червь, после Сибири-матушки. За границами катал, а теперь выполз, гадишь потихоньку? Эх ты, жалкий приспособленец!

Самое страшное для Кутакова было то, что слова этого человека не оскорбили его. Десятков откуда-то знал его по двадцатым годам, в которые Кутаков пережил страшную драму, за что и понес кару. Сейчас, на склоне лет, когда жизнь его угасала, он понял, что она была нелепостью.

— Все мы приспособленцы, — грустно ответил Кутаков.

— Это кто же — все?

— Я говорю о нас, священнослужителях.

Десятков некоторое время молчал, внимательно рассматривая Кутакова, и сосредоточенно о чем-то думал.

После долгой паузы он, снизив голос почти до шепота, произнес:

— Дошло все-таки. И то хорошо, хоть на старости уразумели правду-матушку.

Потом они снова надолго замолчали. И вдруг Десяткова опять будто прорвало. Захлебываясь, он стал рассказывать о подлости однорясников. Правда, многое, о чем Кутаков услышал в тот день, он уже знал.

Десятков с гневом и болью говорил о Поликарпе Сикорском, владимиро-волынском епископе, который объявил себя главою православной церкви на подмятой и растоптанной врагом земле Украины.

Кутаков слушал молча, качал головой и лишь изредка постанывал. А когда Десятков напомнил о том, как митрополит Литовский Сергий Воскресенский вместе с несколькими прибалтийскими архиереями послал телеграмму Гитлеру с целью унизить и осквернить национальную честь их всех, Кутаков не выдержал, схватился за голову и заплакал.

— Боже мой! Боже мой! Что делается? Да неужто это конец земле русской?

Все это Кутаков рассказывал глухим, будто загробным голосом.

— Отец Александр! Зачем вы мне все это поведали? — спросил Проханов, подозрительно всматриваясь в осунувшееся и обострившееся лицо протоиерея.

— Чтоб знал, сын мой, какое наследство примешь.

— Наследство?! — притворно удивился Проханов.— Какое наследство?

— Ах, да оставьте, батюшка мой! Иль я не знаю, что готовится? Мне не по силам сия ноша, любезнейший отец Василий. Вы уже епископ. Я знаю.

— Но зато я ничего не знаю. Мне ведь никто слова не сказал.

— Я вот говорю.

— Не мы с вами решаем о чинах.—Проханов развел руками и круто изменил тему разговора. — А что вы еще слышали, преподобный отец?

Кутаков помолчал, пошамкал морщинистым своим ртом, в котором не было ни одного зуба, и почти шепотом сказал:

— Плохи дела наши на фронте... Вот что я слышал.— Кутаков бросил на него косой и, как показалось Проханову, мстительный взгляд. — Очень плохи, отец мой. Полный разгром под Москвой. Готовится наступление и на нашем участке.

Проханов вздрогнул. Он еще раз переспросил протоиерея: не ошибается ли он? Но Кутаков говорил уверенно, даже с каким-то внутренним удовлетворением.

«Ах ты, старая галоша! — думал отец Василий. — Обрадовался! Решил передать мне разбитую коламыгу...»

Вслух же Проханов спросил:

— А как же с тем безумцем?

Кутаков сокрушенно всплеснул сухими старческими руками.

— Ах ты боже мой! Совсем с памятью плохо стало... Ведь бежал, бежал отец Иосиф!.. Повезли его к господину советнику... Сам его пригласил. Любит он отчаянных людей, это вам, почтенный мой, известно. По дороге в резиденцию господина фон Брамеля-Штубе на охрану напали партизаны.

— Когда?! Ночью?

— Зачем ночью! Средь бела дня. При всем честном народе. С легковой машиной. Схватили отца Иосифа — и в машину. Вместе с ним тюремного надзирателя — я его сам, своими глазами видел, того надзирателя...

— Видели, как похищали надзирателя?

Да нет же! Видел в тюрьме, когда был у отца Иосифа. Сговорились они будто бы. Надзиратель все и подготовил. Отбили их, всю охрану перестреляли и скрылись.

— Вот так история! — обескураженно проговорил Проханов.

— Это еще не все. В тюрьме нашли записку отца Иосифа. Под матрацем спрятал. «Бойтесь, трусы, не гнева божьего, а гнева людского. Ждите в гости. Вот-вот нагрянем. До скорой встречи». И подписался. Я не знаю точно, но смысл той записки верный.

— Ах ты боже мой! Что делается, что делается! Ну, а фон Брамель-Штубе?

— Рвет и мечет. Что ж еще? Ожидаю вот и я кары советника.

— А вас-то за что?

Любопытство не укрылось от Кутакова.

— Мало ли... И устал я... Нет моих сил... Нет у меня больше сил, почтеннейший отец Василий. Да и к чему эти силы? К чему их приложить? Пусто... Кругом пустота...

Глава шестая

ПОСЛАНИЕ «ПАРТИЗАНСКОМУ БОГУ»

Зима прошла в суете. Приходилось заново изобретать формы богослужения. Раньше Проханов славил батюшку царя и российское отечество. А кого славить сейчас? Вся его паства открыто и откровенно уповала на «своих», на Советскую Армию. Прихожане думали, что те же помыслы и у него, потому что внешне все поступки его, все его действия, совершаемые на глазах у прихожан, были близки сердцу простого человека.

Сложное положение было у Проханова. С одной стороны — паства, с другой — советник фон Брамель-Штубе, комендант фон Грудбах, Чаповский, Амфитеатров и все те, кто за ними стоял. Можно бы, конечно, плюнуть на прихожан и служить открыто, но от паствы Проханов прежде всего зависел материально и, второе, — а это, пожалуй, поважнее, — фронтовой барометр для немцев стремительно падал.

И дело не только в разговоре с протоиереем Кутаковым, хотя его откровение не выходило из головы Проханова. Все приметы говорили, что дела у немцев скверные. Правда, ничего точного и вполне определенного Проханов не знал, кроме того, что он услышал непосредственно от Кутакова. «Петровская газета» в каждом номере утверждала, что «доблестная армия фюрера одерживает победу за победой». А вот слухи... Слухи были таковы, что от них мороз по коже продирал.

С Москвой у немцев действительно лопнуло. Как ни скрывали завоеватели этих горьких для них фактов, но шила в мешке не утаишь.

Скверно для немцев обернулся и Санкт-Петербург, как официально именовался Ленинград; русские оказались сильны.

В памяти Проханова ожила встреча со смертником.

Долго ему снился этот инженер Никифоров. Глаза его сверлили душу. Они возникали где-то далеко-далеко. Острые, горящие ненавистью, презрением, они мчались

на него, будто два кинжально острых копья, и вонзались в него сонного, мокрого от пота.

Проханов кричал во сне страшным голосом, пугая спавшую рядом монашку Гринькову или тех, кто занимал ее место после того, как она получила отставку. Но приживалки слишком были ничтожны в его глазах.

Гринькову он хотел выбросить вон, потому что она стала вести себя в доме как полновластная матушка и даже посмела ему указывать, когда в доме стали появляться женщины помоложе ее.

Но Проханов не растерялся, когда приживалка пригрозила уйти.

— Скатертью дорога! — Он толкнул ногой дверь. — Или помочь?

— Не надо. Сама уйду,—и Гринькова спокойно стала собирать свои пожитки.

Это спокойствие несколько встревожило Проханова. Вот чертова баба! Еще устроит скандал, начнет трезвонить. Она слишком много знала. Пришлось пристроить ее при церкви и утвердить в качестве казначея. И, кажется, не ошибся — толковой и разворотливой оказалась коммерсанткой: умела не только блюсти копейку, но и выгоду приносить. Правда, и себя не обижала, но что за беда — в воде, да не замочиться.

К тому же нашлась для Гриньковой и утеха. Около нового казначея занял прочные позиции регент Кохарев. Словом, все обошлось как нельзя лучше.

Но это были «дела лирические», как именовал их Проханов. Беспокоило другое: как выполнять инструкции ватиканца и советника господина фон Брамеля-Штубе? Если бы Проханов имел дело только с ватиканским агентом, который катал где-то по городам и весям, то особенно и не стоило себя утруждать, потому что ватиканец не ждал от него немедленных действий. Ватиканцу, наверное, надо было сначала поставить надежных людей, через которых потом, когда победа будет окончательной, действовать смело и наверняка.

Насколько знал Проханов, папа не любил поспешных действий. Методичность, упорство, тонкость тактических приемов, широта действий и беспощадность в достижении целей, где позволительны все средства, — так Проханов понимал стратегию Ватикана...

Но вот господин советник... Тут все сложнее и куда опаснее. Фон Брамель-Штубе требовал точной информации. Его интересовало настроение людей, их думы, чаяния. Проханов на первых порах пытался приукрасить их, или, как он говорил, обернуть радугой. Он заверил, что в городе и селах люди благодарны армии фюрера за освобождение от ига большевизма, что народ верит в близкую победу германской армии и ее союзников.

Советник при второй встрече с ним довольно легко уличил его во лжи. Если народ только и печется об армии фюрера, то кто же поддерживает партизан, которых возглавляет бывший секретарь Петровского райкома партии Федосякин? Кто их кормит и поит? Почему вырастают отряды? Откуда этот резерв?

— Мне нужна только правда. Голая правда, — требовал он.

Что ж, пришлось сообщать ему правду.

А потом советник стал требовать информации о деятельности всех руководителей, от бургомистра и до мало-мальски значительных полицейских чинов. Ему была нужна трезвая оценка их работы, деловая характеристика.

Задачи Проханова с каждым днем усложнялись. Дошло и до конкретных заданий, касающихся действий партизанских отрядов. Выполнял он и эти требования — другого выхода не оставалось.

За быстрое восстановление храма и привлечение к церкви большого числа верующих Проханов получил благодарность лично от фон Брамеля-Штубе и крупное денежное вознаграждение.

Для вручения этого вознаграждения его пригласили к протоиерею. Кутаков, как только появился Проханов, немедленно куда-то позвонил. Тут же подошла комфортабельная машина.

Оказывается, Проханова вызывал к себе советник фон Брамель-Штубе. Он дружелюбно улыбался и как-то по-особому пристально вглядывался в священника. Никогда еще Проханов не чувствовал, что его так внимательно изучают.

— Вам сколько лет, отец Василий? — поинтересовался фон Брамель-Штубе.

— Сорок семь, господин советник.

— Отлично... Да вы садите, прошу вас.

Он помолчал, потом подошел к двери — нет ли кого-нибудь за нею — и, возвратившись к столу, сказал:

— Вознаграждение, ваше преосвященство, вы получите в долларах. Ровно десять тысяч.

— Десять тысяч долларов? — удивился Проханов.— Но почему в долларах?

— Вопросов прошу не задавать. Узнаете, когда будет нужно.

— Но я должен знать, кто меня награждает. И за что?

— Я вас награждаю. Лично я. Вы знаете только меня и впредь будете знать опять меня же. Я для вас и бог, и царь, и воинский начальник. Я правильно привожу поговорку?

— Точно так, господин советник.

— Ну и отлично. Должен вас предупредить: лишних вопросов не задавать. Есть вещи, о которых нельзя говорить нигде. — Фон Брамель-Штубе снял пенсне, медленно, с задумчивым видом вытер его и продолжал: — Послушайтесь моего совета. Эту сумму и все, что вам следует за услуги — об этом я распоряжусь дополнительно, — на мой взгляд, лучше положить в банк. Ну... скажем, в Швейцарии.

Проханов не находил слов от удивления: час от часу не легче.

— Вы, конечно, опять ничего не поняли, но вам и не нужно что-либо понимать сейчас. Всему свое время. Можете мне довериться. Об открытии счета я побеспокоюсь лично. Вы не возражаете?

Проханов развел руками: он не знал, что ответить.

— Впрочем, возражений не приму Я действую в ваших интересах. Вы нам нужны не только сейчас, но и впредь. Наша с вами связь не должна прекращаться и после того, когда войны не станет.

— А вы полагаете — войне скоро конец?

— Мы полагаем, а бог располагает. Все в руках бога. — Фон Брамель-Штубе ушел от ответа и круто изменил разговор. — Вам причитается... Одну минуту. — Он открыл несгораемый шкаф, вытащил блокнот. — Довольно круглая сумма. Восемнадцать плюс марки... Да, около двадцати тысяч долларов. Это уже состояние, ваше преосвященство. И еще набежит, если будете умны. А за ваш ум и политическую ориентацию я, кажется, могу поручиться.

Фон Брамель-Штубе помолчал, порылся в бумагах и дал подписать расписку, в которой значилось: «За особые услуги господину Проханову Василию Григорьевичу уплачено 19 137 (девятнадцать тысяч сто тридцать семь) долларов».

— Подпишитесь вот здесь. Так. Число прошу... Отлично. Одну минуту. Прошу большой палец. Сначала сюда, на краску, теперь на расписку. Вот так. Теперь совсем отлично. — Фон Брамель-Штубе с облегчением вздохнул. — Уведомление об открытии счета получите особо. Пошлю нарочного. О нашем разговоре никому ни слова. За малейшее нарушение этого моего приказа — смерть. И смерть немедленная.

— Я понял, господин фон Брамель-Штубе.

— Хорошо. Запомните и свыкнитесь с мыслью: наша с вами связь на годы.

Проханов молча наклонил голову.

— Все, ваше преосвященство. Можете идти. Я извещу вас, когда будете нужны.

Ничего не мог понять Проханов. Ему платят долларами. Было над чем призадуматься.

Но приказ есть приказ. Проханов постепенно собирал вокруг себя верных людей.

Единственное, к чему он боялся приступить, — это к активной агитации в пользу германских властей. Фон Брамель-Штубе советовал соблюдать большую осторожность; он даже намекнул, что не следует делать этого лично: надо действовать через верных людей.

Впрочем, Проханова не стоило учить или уговаривать — он понимал, чем рискует. Вообще, работой Проханова советник был доволен; у них установился деловой контакт, скрепленный пониманием и общностью целей. Счет его рос, что подтверждалось документами, которые вручались ему, как правило, специальными людьми, лично от фон Брамеля-Штубе.

Хоть и тревожное было время и потому не очень спокойно было на душе, но Проханов жил безбедно. Материальное его благополучие все больше укреплялось. От живности во дворе негде было повернуться. В доме постоянно работали четыре женщины. Они едва-едва справлялись с коровами, овцами, курами, а тут еще

Проханов выгодно приобрел пятьдесят ульев. Летом пришлось вывозить их за город, в поле. Надо бы в лес, но боязно — партизанские отряды росли, будто грибы после дождя. К ульям пришлось ставить человека и платить ему из церковной кассы.

Впрочем, между личной и церковной кассой разницы Проханов не видел: в церкви он был единоначальник, против которого никто не смел голоса поднять. Правда, кто-то из его приближенных пытался указать батюшке, где его, а где церковное.

— Что вы говорите, сын мой? — удивился Проханов. — Я подумаю, разберусь.

И разобрался. С той поры этого человека больше никто не видел, он будто сквозь землю провалился. Уже потом пошел слух, что этот человек вздумал перейти линию фронта, перебраться к сыну, но не дошел — подстрелили.

— Царствие ему небесное, добрый был человек, — с искренней жалостью говорил Проханов и долго крестился, что-то шепча про себя, чем вызвал умиление у старушек. Какой все-таки добрейший человек у них батюшка! Для всех у него сердце открыто, всех бы он пригрел...

Последнее время на глаза Проханову стала все чаще попадаться секретарь мирового судьи Маргарита Гунцева. Видная была женщина. Большие глаза, собою статная, довольно молода и, главное, очень набожна. Они часто виделись в церкви, а ближе познакомились в суде.

Случай был во всех отношениях выдающийся. Проханов лично явился в суд, чтобы спасти от казни человека, укравшего у немцев два мешка крупы. Проханов выступил с такой речью как свидетель, что над провинившимся все явственно увидели крылья ангела. Так, во всяком случае, передавалось потом из уст в уста. Никто из этих людей не знал, конечно, о свидании Проханова с майором фон Грудбахом и о том наставлении, которое получил мировой судья от коменданта.

Арестованного простили, сжалились над его детьми: у него их было шестеро, мал-мала меньше, и они умирали с голоду. В приговоре подчеркивалось, что германские власти понимают нужды народные и потому прощают

преступнику, но, однако, предупреждают всех, кто посягнет на их имущество, что будут карать за это по законам военного времени.

— Какое же это германское имущество?—воскликнул кто-то. — Наше добро! Вы его отняли у нас.

— Было ваше, стало наше. Какая разница? — раздался насмешливый голос из публики.

Однако никто не засмеялся. Полицейские бросились на поиски оскорбителей суда, но люди притихли, и найти возмутителя не удалось.

Как бы там ни было, но с той поры имя священника было у всех на устах.

На том же процессе Проханов приобрел и большеглазую набожную почитательницу, секретаря суда Маргариту Гунцеву. В ее глазах Проханов увидел настоящие слезы восторга, когда он проникновенным голосом призывал судей пожалеть детей и милостиво отнестись к проступку человека, который хотел накормить страждущих детей своих.

Маргарита довольно скоро заняла прочное место в доме Проханова.

Она горячо взялась за укрепление хозяйства и подала мысль: почему бы не построить прямо во дворе хорошую баню? Не пристало батюшке мыться в городской со всяким «сбродом».

— Ты, матушка моя, не выражайся столь опрометчиво, — наставительно заметил ей Проханов. — Этот сброд кормит нас, и, как видишь, довольно сытно кормит. Богу не угодны такие слова. Заруби эти слова где захочешь.

Маргарита пренебрежительно фыркнула.

— Стану я мыться со всякой швалью. — Она подбоченилась. — Нет уж, если желаешь, чтоб я была с тобой рядом, строй баню. Не хочешь — не надо, мы с тобой веревочкой не связаны. Я могу и адью сказать...

— Ай да баба! — воскликнул он.

Баню соорудили царскую. Мылись сначала с Маргаритой, а после них — вся домашняя челядь, число которой с каждым месяцем прибавлялось. Да и как иначе! Надо ухаживать за коровами, за птицей, овцами, свиньями, поросятами, смотреть за огородом, пчелами, лошадью.

Но были, однако, заботы и поважней. Волей-неволей приходилось в проповедях желать победы «ратному воинству нашему».

Туманные были проповеди, но ценили их куда больше открытого прославления немецкого оружия. Проханов получил от своих покровителей ценный дар — серебряный столовый набор и золотые часы.

Были, конечно, в работе отца Василия и неудачи. Исповеди давали мало нужного материала. Каялись все в каких-то пустяках: то с мужем чужим прелюбодействовала, то что-то взяла, ей не принадлежавшее, то кого-то обидела, то ругалась нехорошими словами. И хоть бы одна из этих набожных прихожанок словечко сказала о партизанах. Между тем он намекал довольно прозрачно, наводил разговор на эту тему, но все тщетно.

Вскоре вообще пришлось прекратить эти расспросы. На него начали коситься, и сразу же сократилось число желающих облегчить свою душу исповедью.

Вот тогда-то и пришлось отцу Василию выступить в мировом суде за человека, о вине которого он узнал лишь случайно.

Между тем сила партизанская росла с каждым месяцем. Летели под откос эшелоны, пылали цистерны, машины, склады, исчезали, будто сквозь землю проваливались, ценные работники немецкой армии, представители жандармерии, исчез даже как-то работник гестапо, который вез в Петровск важные документы.

Стоило Проханову услышать о Федосякине, как перед глазами сразу же возникал Никифоров. Никак он не мог представить Федосякина другим.

Действия Федосякина вынудили немецкое командование пойти на чрезвычайные меры. Из областного центра пришло указание организовать специальные карательные отряды. В Петровске был создан батальон, во главе которого встал Корольков. Он как-то пожаловался Проханову, что ему, дворянину и офицеру русской армии, приходится иметь дело с бандой бывших уголовников, пьяниц, воров и прочим сбродом.

— Из тысячи человек нет ни одного достойного, — жаловался начальник полиции. — Никакого понятия об идее, ни у одного нет возвышенной цели. Только самогон, бабы да забота о кармане...

У Проханова дрогнули крылья хищного тонкого носа.

— Да и вы, герр министр, не забываете о себе.

— Конечно, не забываю, — огрызнулся Корольков. — У меня, святой отец, нет высоких покровителей. Печься о себе самому приходится.

— Зачем же бога гневить и возводить хулу на других? Грешно так поступать. Грешно, сын мой, и неразумно.

Начальник полиции со смирением склонил голову перед этими сильными доводами.

«Черт меня дернул за язык, — выругал себя Корольков. — Еще донесет, святоша. Умаслить надо, пока не поздно».

В тот же день Корольков послал «его преосвященству» хороший дар: много спиртного, шерстяной отрез, но самым ценным оказались украшения из золота.

Проханов хорошо понял, чем заслужил такое внимание со стороны Королькова: боится.

«Глупец! — думал он. — Стану я связываться со всякой дрянью».

Но связаться, однако, пришлось.

Корольковский батальон, состоявший действительно из сброда, влился в карательный полк, громко названный «СС-мертвая голова». Корольков рассчитывал, что во главе этого соединения поставят его, во всяком случае ему обещано было повышение, но Чаповский убедил фон Грудбаха не давать согласия на это назначение, ссылаясь на то, что начальник полиции думает лишь о собственной наживе. Комендант доложил об этом по инстанции. В результате командиром карательного полка «СС-мертвая голова» был назначен некто Романов, также имевший чин полковника в царской армии.

Корольков каким-то образом прослышал о кознях «интеллигентишки с крашеными ногтями», как он презрительно именовал Чаповского, и решил в долгу не остаться.

В то время, когда создавался карательный полк, не дремали и партизаны, отлично осведомленные обо всех делах и приготовлениях в петровском лагере. Кроме отряда, которым командовал Андрей Дмитриевич Федосякин, действовали несколько других партизанских отрядов в соседних районах.

Когда стало известно о создании карательного полка «СС-мертвая голова», партизаны решили объединить свои отряды. Вскоре была создана партизанская бригада, которую возглавил боевой командир Патченко, а комиссаром стал Федосякин. Пользуясь тем, что и немецкая раз-

ведка, и гестапо не знали об этом объединении, бригада перешла в наступление и наголову разбила карательный полк «СС-мертвая голова».

Разгром такого крупного соединения вызвал панику у гитлеровского командования. Развернуло работу гестапо, но виновников долго отыскать не могли.

Между тем бригада действовала все активнее.

Через Петровский район шли эшелон за эшелоном с живой силой и техникой на Волгу, где в это время начались жестокие бои.

Однажды петровские партизаны совершили дерзкую операцию. Сравнительно небольшой отряд среди белого дня в самом центре расположения остатков частей разгромленного карательного полка пустил под откос сразу несколько эшелонов с отборными немецкими войсками.

Страшное месиво вызвало ужас в Петровске. Трупы хоронили несколько дней, произносились угрожающие речи, готовились ответные операции.

Всем этим шумом и воспользовался Корольков. Он убедил Чаповского начать переговоры с грозой лесов Федосякиным. Чаповскому эта идея понравилась. Он пригласил Попова и нескольких человек из районной управы, и они сочинили бумагу на имя Федосякина, в которой предлагали ему «мировую». «Ты» выходи из лесов, а «мы» тебя прощаем и до конца твоей жизни обеспечиваем безбедное существование.

Послание к грозному Федосякину отправили с полицаем, который якобы добровольно пошел сдаваться партизанам. И, как ни странно, оно дошло до комиссара партизанской бригады.

История, к сожалению, не сохранила ответа Федосякина, но слух о нем взбудоражил весь Петровск. Написан он был, наверное, в том же духе, что и ответ запорожцев турецкому султану, потому что смеялась вся округа. Как стало известно населению об этом ответе — Королькову дознаться не удалось.

Еще до получения ответа от Федосякина Корольков настрочил донос на Чаповского. На имя Проханова поступил с нарочным запрос: какого мнения он обо всей этой истории? Проханов немедленно ответил советнику, что и Чаповский и Корольков бездарны как организаторы; они глупы и, главное, мелко пашут. Это какая-то мышиная возня, а не работа.

С партизанами бороться нужно, имея на плечах холодную и расчетливую голову. До тех пор, пока с Федосякиным не будет покончено решительным образом, он должен постоянно огорчать своими ответами и господина советника, а также их общего знакомого из Львова. Оттуда идут грозные письма, предупреждения и указы, но эти указы не перельешь в оружие для борьбы с партизанами.

В отношении Чаповского и Королькова Проханов ничего конкретного не предлагал, но весь дух послания советнику содержал прозрачный намек: надо как можно скорее убрать этих деятелей из Петровска.

У Проханова на этот счет были свои соображения. Он их не высказал советнику, но ими-то он и руководствовался: Чаповский, Корольков, Попов слишком много знали о нем. Рано или поздно они могли оказаться в партизанской бригаде с кляпом во рту и выдать его с головой.

Усилия Проханова не оказались напрасными. С Чаповским, Корольковым и всей компанией, имевшей отношение к письму Федосякину, поступили довольно оригинально. Проханов знал, что советник умен, изворотлив, но гитлеровский наместник превзошел все его ожидания. Фон Брамель-Штубе не стал пачкать руки о «провинившихся» петровских деятелей. Он лишь сообщил о них в так называемый Оклокотский округ, во главе которого стоял некто Каминский, и потребовал тщательного расследования инцидента.

Создание этого будто бы самоуправляемого округа вызвало недоумение даже у Проханова. По замыслу гитлеровского командования, в крупном селении Оклокоть формировалось будущее «правительство», которое должен возглавить Каминский (кто он такой и откуда его выкопали «завоеватели», Проханов не знал). Но так как доблестные войска фюрера потерпели серьезное фиаско под Москвой, «правительство» сидело в бездействии.

Умный человек господин фон Брамель-Штубе, но зачем он создавал «правительство» под главенством никому не известного Каминского, было совершенно непонятно. Да и с расследованием была какая-то жалкая комедия. Проханов мог лишь догадываться, что господин советник просто-напросто подкинул работу «правительству», которому ровным счетом нечего было делать.

Но как бы там ни было, Каминский проявил усердие. Он организовал суд над Чаповским и его соратниками, в том числе и над доносчиком Корольковым. За «унижение перед бандитом партизаном Федосякиным» суд приговорил всех виновных к расстрелу.

Приговор оклокотских судей послали на утверждение фон Брамелю-Штубе, который проявил свои блестящие дипломатические способности. С целью расположить к себе народ, заставить его поверить в добропорядочность «завоевателей» он распорядился помиловать «преступников», которые именовались представителями народа. После строгого содержания в тюрьме всех осужденных отпустили с миром.

Корольков ползал на коленях перед советником. Он плакал навзрыд и клялся верой и правдой служить «доблестным освободителям». Советник, растрогавшись, распорядился послать бывшего дворянина и царского офицера начальником полиции в город Зевск.

Что стало с другими петровскими управителями, Проханов так и не узнал.

Наступали грозные времена.

Глава седьмая

ТРАУРНЫЙ МАРШ

Однажды Проханов возвратился домой довольно рано. Маргариты не было дома, куда-то разбежалась и домашняя челядь. Хоромы охраняла совершенно незнакомая старушка. Откуда эту развалину выкопали его домоуправители, он ума не мог приложить.

— Кого это хоронят, батюшка мой? — прошамкала беззубым ртом старушка.

— Хоронят? Где хоронят? Ты что-то путаешь.

— Ан нет, батюшка. Не путаю. А ну-ка послушай! — и приложила ладонь к уху.

Проханов прислушался. Из другой комнаты доносилась заунывная траурная мелодия. Кто-то включил радиоприемник и забыл выключить. Проханов поспешил в гостиную. Звуки траурного марша, печальные, раздирающие душу, будто толкнули его к стене. Он, не зная еще, что случилось, со страхом и каким-то нехорошим предчувствием стал ждать голоса диктора. Минут пять еще

из роскошного приемника, подаренного майором фон Грудбахом, лилась глухая скорбь. Но вот заговорил диктор.

И все стало ясно.

То, чего опасался Проханов, свершилось. На Волге разгромлена армия Паулюса. Это если не конец, то уж определенно начало конца.

Вот оно, возмездие! Но как же он, старый дурень, не мог предвидеть этого раньше? Так погрязнуть в политике...

Правда, Проханов тут же устыдился этих мыслей. Церковь никогда еще за всю историю своего существования не стояла в стороне от политики. Да и сам он?

Поразмыслив, он понял, что если бы свою жизнь он, Василий Григорьевич Проханов, начал сначала, то все равно не мог бы пойти по другой дороге. Нет у него другого пути. Он ненавидел коммунистов. Их мир, их идеалы и цели были абсолютно несовместимы с его личными. Никогда их дороги не пойдут рядом.

Но раз это так — выходит, нужно бороться с коммунистами. Логика — вещь жестокая, неумолимая. А если сразиться с ними, то гибель его и таких, как он, неминуема. Выходит, ему надо погибнуть во имя идеи...

А какова у него идея?

И в самом деле: во имя чего он борется? Во имя бога? Нет. В бога он давно не верит. Но что делать? Нет у него никакой профессии. Нельзя же ему возвратиться мойщиком в баню или санитаром в больницу...

Словом, вся его идея сводится к простому куску хлеба. Впрочем, не к хлебу, а к обеспеченной, роскошной жизни. Коммунисты правы, что бытие определяет сознание. Он, помнится, еще «в местах не столь отдаленных» спорил с одним из них, посаженным, как он догадывался, ни за что ни про что. Тот ему убежденно сказал: «Мы—за красивое, обеспеченное бытие всего народа, вы же — за бытие собственное».

Конечно, за собственное. А как же еще? Неужто ему, Проханову, пристало заботиться, чтобы его конюх едал с золотого блюда?

Но где же выход? Бороться с коммунистами — бессмысленно, но и жить с ними в мире нельзя.

А, собственно, почему нельзя? Служил же он в церкви и при советской власти. Если бы не связался с патри-

архом Тихоном — будь он трижды проклят! — никто его и пальцем бы не тронул.

Если другие служат — почему не может служить он? Если при Советах могли приспособиться его братья во Христе — почему он не может сделать то же самое?

И ответил твердо: может, если очень того захочет. Но поймут ли, поверят ли ему те, кто идет сюда и придет неминуемо?

Мысли в голове Проханова путались. Он искал в своем прошлом такое, что его может уличить. Искал и нашел. Вспомнив подробности, он застонал. Как он мог допустить такую опрометчивость?

Однажды Проханов узнал, что захвачены в плен двое партизан. В тот день он был сильно навеселе. Именно это состояние опьянения и приглушило столь хорошо развитое в нем чувство осторожности.

Ему вдруг захотелось присутствовать на публичной казни партизан.

Пленные, понимая, что их жизни пришел конец, вели себя настолько мужественно, что даже у пытавших их полицаев и немцев вызвали восхищение.

Особенно стойко держался Яков Болвачев. Когда стало ясно, что пытки не помогут, их решили повесить на одной из центральных площадей города.

Проханов узнал в приговоренных тех, кого он встретил на дороге, когда ехал по вызову протоиерея Кутакова.

Обладателем густого баритона и был Болвачев, второго партизана, которого тогда Проханов принял за старшего, звали Анатолием Гладилиным.

И Болвачев и Гладилин едва держались на ногах. Во время допросов обоих довели до такого состояния, что Проханов едва узнал партизан.

Священник, покачиваясь, стоял у всех на виду. Он пристально взглядывался в лица обреченных на смерть, искал в них страх, смятение, но, кроме усталости, ничего не мог увидеть. Хотя бы слезинка, хотя бы стон! Но нет. Просто равнодушие и усталость.

Да неужто такие уж храбрые эти лесные хозяева?

Во время казни произошел неприятный инцидент: когда выбили стул из-под Болвачева, веревка оборва-

лась как раз посередине. Полицейские бросились разыскивать новую, но ее не оказалось.

Тут же было решено заменить виселицу расстрелом.

Болвачева подвели к тюремной стене и хотели завязать ему глаза. Но он резко качнул головой и что-то гневно крикнул. Когда палач подошел второй раз, Болвачев изо всех сил ударил его пинком в живот. Палач охнул, перегнулся пополам и, шатаясь, скрылся в воротах тюрьмы.

По знаку полицейского чина Строкова на Болвачева налетели шесть вооруженных винтовками полицаев и начали избивать его прикладами.

— Отставить!

Проханов, дрожа всем телом, подошел ближе. На Болвачеве едва держалась разодранная рубаха; в таком же состоянии были и синие штаны в крупную белую полоску. Он стоял босой на снегу, широко расставив ноги, и, сбычившись, исподлобья с ненавистью смотрел на полицейских, державших винтовки наперевес, будто они боялись, что смертник вот-вот сбежит.

Строков отчего-то медлил. Болвачев оторвал взгляд от полицейских и обвел им вокруг себя. Смотрел он поверх голов небольшой кучки насильно согнанных сюда людей, на чистое зимнее небо.

Но вот он глубоко вздохнул, огромным усилием воли сдержал стон и вдруг встретился глазами с Прохановым.

Некоторое время они смотрели друг на друга молча: Болвачев — с недоумением, Проханов — с ненавистью. Наконец смертник понял значение поповского взгляда. Понял и задохнулся.

— Подлец! Как же это мы...

Он вдруг выпрямился и крикнул:

— Люди!

Но в это время раздался залп. Болвачев вздрогнул, но остался стоять. Он еще силился что-то сказать, но не мог. А сказать нужно было во что бы то ни стало, и это держало его на ногах.

Все это понял Проханов и замер в ужасе. Сейчас он крикнет, и люди действительно узнают о нем правду.

«Надо Строкову, Строкову сказать!» — метнулась в голове мысль, но не было голоса, чтоб крикнуть, потребовать от этого мямли: скорее, скорее стреляйте!

Полицейские, увидев, что партизан стоит, растерялись. Удивлен был и Строков, тюремный надзиратель царского времени. На его глазах много совершалось казней, но такое он видел впервые.

Строков закурил папиросу, глубоко затянулся и каким-то неприятным, скрипучим голосом подал команду.

— Заряжай!

Было видно, как прыгали винтовки у полицейских, не сводивших глаз с человека, который неимоверным усилием воли заставлял себя держаться на ногах.

А Болвачев все еще силился крикнуть, но не мог: он захлебывался кровью. Строков в это время равнодушно бросил:

— Пли!

Раздался залп. Но ни одна пуля на этот раз не попала в смертника. Болвачев хотя и вздрогнул всем телом, но опять устоял. Он с ненавистью смотрел на Проханова и ловил, ловил воздух ртом, будто надеялся: вот сейчас он наполнит легкие и крикнет.

— Да стреляйте же вы! — голос Проханова захрипел и сразу погас.

Строков бросился к полицейским.

— Вы что, сами к стенке хотите стать? Огонь, мать вашу...

Новый залп свалил Болвачева, но жизнь не ушла из его тела. Он лежал на боку с открытыми глазами и не отрывал ненавидящего взгляда от священника. Тот увидел улыбку смертника.

Нервы Проханова не выдержали. Он издал какой-то нечленораздельный звук и бросился бежать. Когда выбирался из толпы, он встретился глазами с церковным конюхом. Это был слабый, морщинистый старик, который едва-едва держался на ногах.

В это время раздался последний залп уже в поверженного на землю человека. Проханов споткнулся и едва не упал. Он бежал не помня себя, забыв даже о машине, которая ждала его за углом. От страха он потерял голову. Страх гнал его прочь.

Наутро он не захотел вставать с постели. Утреннюю службу отменили. Прямо в постели он напился и заснул. Его разбудили, он кое-как отслужил. А когда возвратился домой, услышал о разгроме немецких войск на Волге.

Проханов долго стоял в неподвижной позе. Очень долго. Было ощущение, что его прибили к стене гвоздями. Его мутило, ему не хватало воздуха, ему казалось, что он горел жарким пламенем. И все-таки, собрав все силы, он выпрямился, сделал шаг, другой и вдруг в беспамятстве рухнул на мягкий ковер.

Болезнь длилась больше месяца. Он бредил, выкрикивал страшные слова, уговаривал кого-то упасть, причем, то просил его ласково, то вдруг кричал диким голосом. Но еще чаще Проханов повторял фамилию Никифорова.

Многие считали, что священник рехнулся, только церковный конюх уверенно сказал, когда услышал бред больного:

— Поднимется. Такие всегда поднимаются.

Заменить заболевшего приехал сам протоиерей Кутаков. Он аккуратно служил, крестил, отпевал, но делал все как-то механически, совсем не так, как их петровский настоятель,—живо, напористо, то с гневом, то вдруг в печаль ударится.

Не таков был Кутаков. От проповедей он категорически отказался, а от службы по «убиенному германскому воинству» ускользнул. Уехал куда-то.

Когда Проханов поднялся, у них состоялся долгий и откровенный разговор. Оба они плакали. На прощанье Кутаков сказал:

— Прощай, Василий. Не забывай нашего с тобой разговора. Только родная земля исцелит от недуга...

Утром Кутаков уехал к себе, а вскоре до Петровска дошел слух — протоиерей Кутаков скончался.

После всех этих событий Проханова будто подменили. Прежде всего он выгнал из дому всех приживалок, кроме двух бездомных монашек и Маргариты Гунцевой, которая так и не поняла, что с ним произошло.

Но прежде чем решиться оставить ее в своем доме, он долго колебался. Туповатая, скудоумная, морально неприхотливая, она вполне его устраивала. И самое главное, что говорило в пользу Маргариты, — она ничего о нем не знала.

Но каково ее прошлое? Проханов навел справки.

Перед самой войной Маргариту бросил муж из-за

фанатического пристрастия к иконам и молитвам. Она почти ничего не хотела делать, только отбивала поклоны. Муж не только покинул ее, но и через суд отнял сына. Было официально признано, что доверить воспитание ребенка такому фанатику, как она, рискованно.

Когда Гунцева осталась без средств к существованию, вера ее слегка поостыла. Волей-неволей пришлось работать. Она стала приспосабливаться к той среде, в которую попала.

Постепенно Маргарита стала отходить от церкви, но война и встреча с Прохановым, праздность и безделье снова возвратили ее к прежней жизни. Еда, молитвы, самогон и постель — вот и все, чем жила Маргарита Гунцева.

Проханов с трудом немалым пережил зиму 1943 года. Он порвал всякие связи с новым начальством—бургомистром и районными управителями. Сдержанно начал вести себя с комендантом фон Грудбахом и весьма осторожно и дипломатично с советником. Почти все время Проханов был на людях, шел на личные материальные жертвы, ходил по дворам, хлопотал, помогал, ходатайствовал и, что называется, рыл землю, чтобы укрепить доверие прихожан.

Одновременно с этим Проханов стал уничтожать всю свою живность и продавать нажитое.

Сбывать скотину со двора ему помогал сосед Делигов. Они хорошо понимали друг друга, и Проханов разговаривал с ним без обиняков.

— Хочешь остаться живым, когда наши возвратятся? — спросил его однажды Проханов.

— А почему я должен умереть? — скривил губы сосед.

— Потому, что ты дезертир. Рана у тебя была пустяшная. Ты удрал с советского фронта и остался в тылу добровольно. Но об этом знаю только я.

Делигов побледнел.

— Откуда?

— Не имеет значения, — сурово оборвал его Проханов. — Слушай меня внимательно. Если ты не дурак, надо сегодня же ночью пробраться к партизанам и передать им записку Записка от меня

— От вас? — изумился Делигов.

— Не ори ты бога ради. Именно от меня. Но прежде чем дать тебе поручение, запомни одно. У меня достаточно сил, чтобы раздавить тебя как последнего червяка, если вздумаешь продать. Понял?

— П-понял...

— Согласен идти в лес?

— А если нет?

— Пойдешь. У тебя нет другого выхода. Жизнь все-таки дорогая штука.

— А куда идти?

— Я расскажу. Записка будет содержать три слова: Сухая Хотынь и цифру. В случае чего — проглоти бумажку или вообще... Запомни, и все. Понял?

— Ладно.

— Хотя на словах объясни. Расположение их лагеря немцам стало известно недавно от какого-то провокатора. Пусть его ищут в отряде. Операция по окружению отряда назначена ровно через неделю. Пусть предпримут все необходимое. Все это постарайся передать лично Федосякину и непременно скажи; от кого сведения. Ясно?

— Чего ж не понимать...

— И еще совет. Останься в отряде, если хочешь безбедно дожить свою жизнь.

— А если убьют?

— Кто? Ох и дурак же ты! Они тебя примут как лучшего друга.

— А я слышал, расстреливают всех, кто был под немцами.

— Я знаю побольше твоего. Отправляйся ночью. Вот тебе на всякий случай, — Проханов протянул Делигову парабеллум. — Бери, бери. Благодарить потом будешь...

Сосед схватил пистолет и спрятал его за пазухой.

— Лучше в карман положи. Не так заметно.

— Тут у меня кармашек. Удобно выхватывать, коли что...

— Ну, как знаешь. — Проханов поднялся. — Будь человеком, Делигов. Делай как я тебе сказал. И держи язык за зубами. Ляпнешь лишнее — пеняй на себя.

Делигов ушел.

Через неделю прошел слух: каратели, выехавшие на уничтожение партизан, понесли большие потери

Проханов удовлетворенно потирал руки.

«Молодец, Василий Григорьевич. Быть бы тебе министром. А может, и буду? — и подмигнул своему отражению в зеркале. — Мы еще повоюем...»

Фронт приближался. Когда снег стаял и в небе запели жаворонки, от грома пушек трудно было уснуть. Началась эвакуация. Управители города скрылись один за другим, захватив с собой лишь вещи первой необходимости.

Майор фон Грудбах лично пожаловал к священнику и предложил ему машину для эвакуации имущества. Проханов поблагодарил, но отказался. Он довольно прозрачно намекнул, что в отношении его персоны есть особые соображения.

Комендант, почтительно поклонившись, удалился. Проханов знал, что господин фон Грудбах тут же свяжется с советником. И вряд ли тот подтвердит его слова.

Так оно и вышло. Проханов хотел скрыться, но не успел. Автоматчики явились за ним ровно через двадцать минут после того, как удалился комендант фон Грудбах. Проханова усадили в машину и доставили в комендатуру. Когда они ехали, он лихорадочно соображал: как выкрутиться? Нельзя, просто невозможно покидать город; его исчезновение сочтут бегством, и тогда возврата сюда не будет.

Фон Грудбах, не соблюдая обычной для него сдержанности, в категорической форме приказал эвакуироваться в двадцать четыре часа. Но в тоне коменданта чувствовалась какая-то неуверенность.

При разговоре с господином фон Брамелем-Штубе комендант рассказал, что ему кажется подозрительным отказ священника от предоставленной ему возможности уйти с германскими войсками.

Советник слушал, долго молчал и ответил вопросом:

— А стоит ли ему вообще эвакуироваться? Я, право, сам еще не решил. И потом... Не только я заинтересован в этом человеке. Нет, не могу вам сказать твердо, — и положил трубку.

Но ждать, когда позвонит фон Брамель-Штубе, было некогда: события торопили.

Этим и воспользовался Проханов. Он решил рискнуть. Проханов резко обернулся, рявкнул по-немецки на автоматчиков, чтоб они убирались вон. Потом подошел к коменданту и свистящим шепотом сказал на отличном немецком языке:

— Слушайте. Вы просто младенец, майор. Советую забыть меня, если вам дорога жизнь.

Лицо коменданта покрылось красными пятнами.

— О-о, ваше преосвященство... Я понимаю, но... понять не могу.

Проханов досадливо взмахнул рукой.

— И еще совет. Церковь пальцем не смейте трогать

— Хорошо, ваше преосвященство. Все будет сделано.

— Расклейте на ней охранные грамоты. И сейчас же!

— Будет исполнено.

— Не вздумайте подослать ко мне убийцу. Моя голова кое-где дорого ценится.

— Ваше преосвященство!

— Вот все, фон Грудбах. Желаю здравствовать.

— До свидания, почтеннейший... — обескураженный майор запнулся, но так и не смог уточнить для себя, кто же он есть на самом деле?

Наглая напористость выручила Проханова и на этот раз. В этом отношении ему было что вспомнить. Он давно убедился, что наглость, в меру преподнесенная, действует сногсшибательно.

Было у него и другое убеждение. Он считал, что предательство — оружие сильных и что умное предательство — тот же капитал, но тратить его необходимо лишь в крайних случаях. Посылая Делигова к партизанам, он дал себе клятву, что больше из этого капитала не истратит ни одной копейки. Все! Ему почти пятьдесят лет. Жить надо на своей земле, какая бы эта земля ни была. Протоиерей, конечно, прав. Кто-кто, а отец Александр знал, почем фунт лиха, на себе испытал. Царствие ему небесное...

Взрывы следовали один за другим. Взлетели в воздух деревообделочный комбинат, здания госбанка, райисполкома, райкома партии.

А церковь стояла...

Стали учащаться пожары.

Проханов видел сам, как горело здание средней школы. Немецкие солдаты, перед тем как запалить ее, вы-

несли на улицу рояль. Перед ним уселся один из офицеров. Он заиграл марш, солдаты бросились врассыпную. Школа, заранее облитая бензином, вспыхнула как спичка.

А по улице неслись то робкие и нежные, то грозные, налитые силой звуки из творений неведомого ему композитора.

Проханову стало жутко. Зачем они жгут-то все? Это бессмысленно. Это не нужно.

Шатаясь как пьяный, он ушел. И давно уже скрылась улица с пылающей школой, а звуки рояля все звенели и звенели в ушах. И не было сил заглушить их.

— Что делается! Что делается!

Школа горела. А церковь стояла нетронутой. Руины остались от служебных зданий города. А церковь стояла...

...В разгар лета 1943 года Советская Армия с боем взяла город Петровск. Как только танковая колонна ворвалась на окраину города, раздались торжественные звуки набата. Но вскоре он сменился веселым перезвоном.

Церковные колокола не смолкали четыре часа подряд.

Бой еще на западной окраине не затих, а роты тесными колоннами шли по улице.

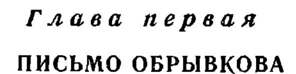
Навстречу им двигалась толпа с иконами в руках. Во главе процессии шествовал седой как лунь священник с непокрытой головой.

Проханов поднял руку, и танк, который двигался впереди колонны, остановился. Долго Проханов что-то силился сказать, но вдруг разрыдался и рухнул в пыль перед танком на колени.

К священнику бросились со всех сторон. Его подняли, стали обнимать, целовать, а потом долго фотографировали.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ, ВРАГИ...



Глава первая

ПИСЬМО ОБРЫВКОВА

Первое время после освобождения города Проханов жил в смятении и страхе, хотя был уверен — никто ничего не знал наверняка; он боялся случайностей, ибо знал, что от случайности можно больше пострадать, чем от предвиденного и ожидаемого. Есть же мудрая народная поговорка: «Знал бы где упасть — соломки подостлал...»

По натуре Проханов не был трусом, но теперь он боялся. И как он ни храбрился, с каждым днем росло нетерпение: хоть бы скорее началось — знал бы, с кем и против чего бороться.

И вот она, первая ласточка...

Не выдержав постоянного напряжения и мучительного ожидания, Проханов решил покинуть город. В рекламном окне он повесил объявление: «Продается дом». Через несколько дней об этой продаже стало известно в райисполкоме.

— На каком основании? — удивились там. — Дом принадлежит городскому хозяйству

— Почему? — возражал Проханов. — Я его купил у частного лица. У меня имеются все документы.

Священник доказал довольно легко, что дом—его собственность. Сохранилась и купчая, оформленная районной управой.

В райисполкоме сначала не хотели признавать этих документов, но Проханов с потрясенным видом стал доказывать: не он же придумал войну; он простой человек, всю жизнь скитался по чужим углам, копил по грошу, отрывая от себя, и все, что у него тогда было, истратил на дом... Хозяин ободрал его как липку; но чего греха таить — дом все-таки стоил куда больше той суммы, которую он заплатил. Ему, конечно, повезло. Как же без угла на склоне лет? Ведь он не мальчик, взгляните на его седую голову...

И пусть скажут, чем лично он, Проханов, провинился перед советской властью?

Когда решался вопрос о его доме, Проханов, будто между прочим, показал фронтовую газету с фотографией, где его обнимал советский офицер.

— Э, да пусть его живет, — последовало наконец разрешение. — Не обедняем...

Что касается церкви, то многие дивились, за какие такие заслуги она удостоилась внимания немецкого коменданта, лично подписавшего охранную грамоту? Однако толком ничего узнать не удалось, а лично на священника Проханова никаких компрометирующих материалов не поступало.

Правда, за антисоветскую деятельность во время оккупации был арестован регент хора Михаил Кохарев. Но священник не мог отвечать за поступки кого бы то ни было, в том числе и дирижера церковного хора.

Словом, Василий Григорьевич Проханов, рождения 1895 года, по национальности русский, по роду занятий служитель культа, лицо духовного звания, по всем данным был чист перед советской властью.

В органы госбезопасности поступило коллективное письмо группы партизан, которые перечисляли конкретные факты, когда настоятель Петровского собора Проханов оказывал «неоднократную» помощь партизанским отрядам.

Он помог разоблачить сначала одного провокатора потом второго. Но главная его помощь заключалась

в том, что он в критический момент предупредил об опасности и спас сотни людей от ловушки и неминуемого разгрома.

Стало также известно, что гражданин Проханов совершенно не знал о письме, которое подписала группа бывших партизан. Но возник вопрос: кому нужно защищать и оправдывать священника, если сам Проханов не делал ни малейшей попытки ссылаться на свою связь с партизанами? Все это казалось странным и требовало дополнительной проверки.

И тут выяснилась довольно обычная житейская история.

Под письмом первой стояла подпись Константина Обрывкова. Он участвовал в освобождении города Петровска и, получив серьезное ранение, лежал в госпитале, который был организован в чудом уцелевшей школе.

Константин Обрывков, когда к нему явился следователь, смущаясь и краснея, рассказал, что у него есть знакомая девушка—Нина. Живет она в этом городе, да и сам он коренной петровец. Нина сначала приходила к нему в госпиталь часто, а потом все реже и реже. Костя стал замечать, что глаза у нее были постоянно заплаканы, она чем-то расстроена, но что с ней происходит, она говорить отказывалась. И все-таки он настоял на своем.

Девушка призналась: ее замучила бабка. Эта религиозная женщина твердит, что не нынче-завтра «заарестуют» батюшку, как Мишку Кохарева. Регента, может, и правильно упрятали за решетку, подлый был человек, это всем известно: кто не знает, что он вытворял в ресторане, когда увеселял этих душегубов. А уж «батюшку-то обижают понапрасну». Кому не известно, как он помогал партизанам. Пусть расспросят хотя бы церковного конюха.

Фанатичная бабка запретила внучке встречаться с Костей, если он не вступится за священника.

«Тоже партизан! Если взаправдашний партизан — пусть всенародно скажет, кто такой есть отец Василий».

Костя, выслушав девушку, хлопнул себя по лбу Он же лично знает того попа! Ну как же! Они однажды перехватили его на дороге вместе с Болвачевым

и Гладилиным и отпустили, потому что имели личный приказ Федосякина ни в коем случае не трогать священника, потому что он действительно помогал партизанам.

И, к тому же, он, Костя Обрывков, после гибели Болвачева и Гладилина доставил к Федосякину какого-то человека, которого послал с важным сообщением тот же священник из Петровска. Фамилия того человека Делигов. Он остался с партизанами, воевал, участвовал в боях с карателями, был ранен.

— Ты не волнуйся, — утешал Костя свою подругу.— Мы поможем. Пусть твоя бабка успокоится.

...Так родилось коллективное письмо партизан. Его подписали, кроме Кости Обрывкова, еще семь человек, в том числе и Делигов.

Служба в Петровском соборе продолжалась. Колокола не переставали звонить. Правда, звонили они далеко не так, как прежде; но и очень уж прибедняться Проханову не было резона. В деле о гражданской совести, как представителя православной церкви, он вышел победителем.

Когда Проханов находился под страхом разоблачения, он ни о чем другом, как о спасении собственной головы и свободы, думать не мог. Но вот миновала тревожная пора. Дом остался в полном владении Проханова, доброе имя его в глазах людских было восстановлено, и он внезапно передумал продавать дом; так же внезапно, как и хотел избавиться от него.

Вздохнув свободно, Проханов решил оглянуться вокруг себя. Нельзя оставаться в одиночестве: одиночек бьют.

Епархии еще не было. Шла война. Фронт все быстрее и быстрее откатывался на запад, а вместе с ним все дальше уходили высокопоставленный советник с широкими полномочиями фон Брамель-Штубе, комендант города фон Грудбах, Амфитеатров, Чаповский, Корольков и другие.

Он чувствовал себя волком, отбившимся от своей стаи.

Нет, одному оставаться нельзя.

Так как никаких препятствий Проханов теперь не чувствовал, он решил выехать в Москву. Средства у него были. Но они были вложены в золото и драгоценности и основательно припрятаны. Чтобы отвести от себя

подозрение и не заниматься обменом золота на деньги, Проханов через верных ему людей распространил слух, что он хотел бы поехать в Москву, чтоб поклониться святым местам и побывать у митрополита Сергия, но не может этого сделать, потому что у него нет ни копейки.

Расчет был верный. Среди паствы прошел сбор пожертвований. Через несколько дней Проханову вручили довольно крупную сумму на желанную поездку. Он долго отнекивался, заверял, что «как-нибудь обойдется», но когда все приличия были соблюдены — с поклоном и блеснувшей слезой в глазах принял дар.

...И вот она Москва. Суровая, строгая, настороженная. Документы его были в полном порядке, поэтому Проханову даже не пришлось разыскивать знакомых в столице. В первой же гостинице, куда он обратился, его устроили довольно быстро, хотя и рассматривали не без удивления.

В тот же день он узнал кучу новостей. Оказывается, митрополит Сергий, когда началась война, обратился к верующим с призывом присоединиться к борьбе с иноземным врагом. Проханов разыскал этот документ и с любопытством стал читать его. Особенно многозначительными показались ему слова митрополита: «Ни в удельный период, ни в татарщину, ни в смутное время церковь не предавала своего земного отечества врагам, не пользовалась в своих интересах его бессилием, а, напротив, всячески его поддерживала, собирала и усиливала. Не могла церковь изменить своего отношения к отечеству и после Октябрьской революции...»

— Ого!— усмехнулся Проханов. — Интересно, что думает блаженнейший митрополит Сергий о Поместном соборе русской православной церкви, состоявшемся в начале 1918 года, который в своем постановлении писал, что декрет от 23 января 1918 года об отделении церкви от государства и школы от церкви следует считать как «злостное покушение на весь строй жизни православной церкви и акт открытого против нее гонения».

Проханов отлично помнит эти слова, потому что они овладели тогда всеми его помыслами и толкнули на открытую борьбу с советской властью, чего, собственно, хотел и добивался патриарх Тихон. А сколько православ-

ных священников служило в армиях Деникина, Врангеля, Юденича! Тысячи и тысячи. Сколько было организовано всяких полков Иисуса, полков богородиц!..

А как церковные деятели выступали против коллективизации и усилий советской власти наладить сельское хозяйство! А разве он, Проханов, не помнит, сколько во время революции и после нее эмигрировало за границу церковных князей и рядовых священников? Они объединились там в союзы и общества, чтобы руководить выступлениями против советской власти. Руководить такими, как он, Проханов.

Нет, он бы не стал говорить столь категорично. О таких, как епископ Поликарп Сикорский, митрополит литовский Сергий, прибалтийские архиереи, да и он сам, Проханов, которого господин фон Брамель-Штубе прочил в руководители «Русского православного братства», вряд ли народ забудет. Правда, ему лично удалось выкрутиться, но не все такие счастливчики, как он. Призыв митрополита Сергия задел его за живое...

Почему-то вспомнились слова из завещания патриарха Тихона—«не допускать никаких уступок и компромиссов в области веры...» Конечно, патриарх Тихон тогда перестроился, перекрасился и, если уж говорить откровенно, приспособился к новым условиям и стал призывать таких, как он, Проханов, быть лояльными к советской власти. У патриарха не было другого выхода.

Как это у него сказано в завещании? «Мы должны быть искренними по отношению к советской власти и работать на общее благо, осуждая всякую агитацию— явную и тайную — против нового государственного строя...»

Да, как дипломат он хорош, слов нет, только уж лучше бы сразу, с первых дней революции так поступил. Может быть, и не было бы для них, церковников, такого позора. Сейчас любой человек может им бросить в лицо: «Приспособленцы!». И они правы, как это ни обидно звучит. Но если уж говорить откровенно — самым первым приспособленцем был именно патриарх Тихон.

В тот же вечер Проханов видел салют в честь очередной победы и освобождения какого-то крупного города. Какое это было потрясающее зрелище! В густо-синее небо бросали миллионы драгоценных камней и освещали их снизу. Смотрите, любуйтесь, люди! Это ваше!

Ликование заполнило душу Проханова. Да, у него могучая Родина. И как он мог решиться на измену? «Но такова ли вообще измена? Нет, я тоже приспособился. Как приспосабливаемся все мы, грешные», — подумал он о своих братьях-однорясниках.

Глава вторая

УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ

Первые два года после освобождения Советской Армией Петровска Проханову пришлось работать одному. Это было выгодно, но тяжело. Хотелось найти помощника, второго священника, только желание это не так-то легко было выполнить. Патриархия только-только разворачивала работу по подготовке кадров духовенства.

Но потом не стало времени думать об этом. Прежде всего нужно было ремонтировать церковь. Но как? В райисполкоме и слушать не хотели о том, чтобы выделить строительные материалы. В епархии, где пока находился временный управитель, тоже не могли помочь.

Проханов написал в патриархию. Через несколько дней оттуда приехал специалист по строительным делам. Он осмотрел церковь и заявил:

— Вы просите хоть какую-нибудь долю материалов. Но только официально. Понимаете?

— Нет, отец мой, — признался Проханов.

— Денег мы дадим сколько угодно, есть у нас и строительные материалы, но начни работу — сразу возникнет вопрос: откуда взяли?

И Проханов понял. Назавтра с утра он был в райисполкоме. С председателем состоялся бурный и долгий разговор. Председатель доказывал: в городе плохо с жильем, не до церкви сейчас.

Но Проханов не уходил. Он просил хоть самую малость.

— Хоть бы залатать на первый случай.

— Не могу, гражданин Проханов.

— Но посмотрите, каков храм.

— Знаю. Видел.

Полтора часа длился разговор. Председатель исполкома, измучившись, махнул рукой. Проханов взял его измором.

Отец Василий возвратился к себе с оформленным документом.

Доволен был и приезжий из патриархии.

— Храм блистать должен, сын мой, — внушал он Проханову. — Паства наша похожа на малолетних. Она идет туда, где ярче и звонче.

«Отец» патриарший был моложе Проханова, но настоятель ему только «сын» — таков ритуал.

Проханов ходил в учениках и был лишь исполнителем, когда добывали строительные материалы. Патриарший посланник куда-то звонил, посылал многословные телеграммы, а Проханов заботился о транспорте, чтобы доставить кирпич и лес со станции.

Проханов учился, удивляясь ловкости «отца». По молчаливому уговору оба они не только добывали материалы, но и набивали собственные карманы.

Но патриарший посланник оказался человеком благочестивым. Он долго молился перед отъездом, а потом попросил Проханова отпустить грехи его. Проханов вообразил, что он шутит, но гость и не думал шутить. Пришлось облачиться, идти в церковь и по всей форме отпускать его грехи.

Это было хорошим уроком для Проханова.

После отъезда патриаршего деятеля начался ремонт. Подрядчики нашлись быстро, но работали они не спеша. Проханов, никому не доверяя, следил за ними лично.

«Истину говорят: нечестный человек — самый недоверчивый человек», — укорял себя отец Василий.

Он грешил и каялся. Но все-таки больше грешил.

Однажды произошел эпизод, который надолго остался в памяти прихожан. Как-то так случилось, что в одном из домов, в котором жила семья Галкиных, людей верующих, начала обваливаться крыша. Дом был старый, сильно пострадавший от бомбежек.

Галкин сумел довольно быстро вытащить из комнаты наиболее ценные вещи и бросился к церкви, которая находилась неподалеку от злополучного дома. Он много раз видел богатые запасы строительного леса. Галкину нужно было срочно добыть два бревна, чтобы подпереть балку.

Он прибежал к церкви, но, заметив замок на церковных дверях, громко крикнул:

— Эй, кто здесь?

Ему никто не ответил. Раздумывать было некогда. Он схватил нетолстое бревно и потащил его к своему дому.

И вдруг перед ним будто из-под земли вырос Проханов. Произошел скандал. На шум сбежался народ. Галкин просил, умолял, вытащил деньги, чтобы тут же заплатить, сколько бы ни стоило, но Проханов был непреклонен.

— Пусть за тебя власть думает...

Галкин растерялся:

— То есть как?

— А так. Она тебе дворец построит, а я должен сам о себе заботиться.

— Сам о себе! — обозлился Иван Трофимович. — Сколько я тебе передавал четвертных вот этими руками? — Он показал священнику свои потрескавшиеся ладони. — Эх ты... На словах — любовь к ближнему, а за бревно задушить готов.

Галкин плюнул себе под ноги и ушел. А Проханов, ни слова не сказав в ответ, подхватил бревно и оттащил его за церковную ограду.

Толпа еще долго стояла перед церковью и, всяк на свой лад, обсуждала происшествие.

Через год в церковном мире произошло печальное событие—умер патриарх Московский и всея Руси Сергий.

Вскоре состоялся Поместный собор. Новым патриархом был избран митрополит ленинградский и новгородский Алексий. А вслед за ним произошло еще одно немаловажное событие: была ликвидирована Брестская уния, опора папы римского. На соборе униатского духовенства во Львове было принято решение о ликвидации унии, о выходе из подчинения римскому папе и о возвращении ранее «заблудших братьев» в «лоно» православной церкви, разумеется, с подчинением патриарху Московскому и всея Руси.

Проханов представил себе, какой был вид у ватиканца...

«А что я радуюсь? — одернул себя Проханов. — Мне-то что за дело? Я и при унии мог бы жить безбедно».

Да, ему было действительно совершенно все равно, где служить, лишь бы жилось хорошо. А креститься с правого плеча на левое или с левого на правое — какая в том разница?

Где-то сейчас тот ватиканец? В Африке, в Индии, в Южной Америке?

Впрочем, пусть себе катает по городам и весям, а у него, Проханова, свои заботы.

...Дошла наконец очередь и до решения вопроса о втором священнике. На все просьбы прислать помощника сверху отвечали: «Оных пока не имеется».

Тогда Проханов решил действовать самостоятельно.

Ему повстречался однажды на станции любопытный старичок—Никита Андреевич Афонин. Он недавно вышел на пенсию и жаловался: сил у него полно, и очень ему тоскливо без дела. Из дальнейшей беседы выяснилась любопытная деталь: любил Никита Андреевич в молодости петь в церковном хоре.

За эту деталь его биографии Проханов и ухватился. Он взял слово с Никиты Андреевича, что тот в ближайшее время побывает у него.

Афонин не замедлил с визитом. Проханов по-царски встретил гостя. Они пили, ели, говорили, и чем больше, тем откровенней.

Проханов, почти никогда не хмелевший настолько, чтобы не отдавать себе отчета в своих поступках, заметил, что гость с жадным любопытством рассматривает обстановку в доме, откровенно ею восхищается и, кажется, завидует ему.

А потом Никита Андреевич не выдержал. Вопрос последовал именно тот, какого и ожидал Проханов: неужто все это богатство он нажил на поповской службе?

Проханов не обиделся.

У гостя разгорелись глаза. А хозяин подливал масла в огонь, перечисляя источники доходов: за крестины — сто рублей, за похороны — сто, за исповедь—столько-то и за причастие — столько-то. Пять тысяч в месяц — это самый бедный и скудный его заработок. Он, конечно, не считает и подношений — яички, сало, куры...

А потом гость и хозяин пели псалмы. Гость вспоминал слова, а хозяин подсказывал. Пели с упоением, оба прослезились от воспоминаний о доброй юности, давным-давно минувшей. Выпили по новой чарке и снова стали петь, а когда подошло время службы, вместе отправились в церковь.

Проханов служил и краем глаза наблюдал за Никитой Андреевичем, а вечером не захотел отпустить его

домой. Гость остался ночевать. На следующее утро Афонин пел в церковном хоре.

Так и началась их дружба. С той поры они часто встречались, еще чаще выпивали, а захмелев, откровенничали. Никита Андреевич аккуратно посещал хор, за что Проханов с той же аккуратностью выдавал ему довольно значительные вознаграждения из церковной кассы.

Однажды Проханов будто бы ненароком заметил:

— А вы, почтеннейший Никита Андреевич, вполне достойны занять место со мною рядом.

— Это в каком же смысле, позвольте полюбопытствовать? — спросил Афонин с недоумением.

— Можете стать священником, дорогой мой друг.

У Никиты Андреевича округлились глаза от удивления. Как же это его, необученного, поставят попом?

— А я вас подготовлю. Всему научу, а когда науки пройдете — похлопочу за вас в епархии. Было бы желание — господь бог вразумит.

Желание у Никиты Андреевича нашлось.

С того дня началось обучение искусству священнослужителя. Этим искусством Никита Андреевич овладел очень быстро — с детства неплохо помнил службу, да и взрослым церковь не забывал. Настоятель открыто разрешил ему себе прислуживать, чтобы приучить прихожан к новому для них человеку.

Наконец настала пора, когда Проханов смог отвезти Афонина в епархию.

Архиерей обласкал обоих, пригласил их в гости и угостил отменно.

Вскоре Афонин возвратился в Петровск в звании священника.

Теперь они стали служить вдвоем. Проханов не обманывал своего друга, когда говорил о богатых доходах. Сначала они, правда, не были многотысячными, потому что доходы пришлось делить на двоих, но волка, как известно, кормят ноги.

Проханов рассказал Афонину, как легко и просто увеличить свои доходы. К священникам часто обращаются с просьбой за «святой водой». А ведь ее можно выгодно сбывать: в колодцах запасы неисчерпаемы, а освятить ее — пара пустяков, потом хоть цистернами отгружай.

У Проханова был уже немалый опыт на этот счет. Он показал бутылочки с надписями: «Раба божья Пелагея», «Раба божья Авдотья», «Раба божья Марфа»... Таких «рабынь» оказались десятки. Они лечились у Проханова и, само собой разумеется, не без определенной благодарности.

Афонин осваивал новую науку успешно. За год службы в Петровске он обогнал в получении прибылей даже своего дорогого друга. Проханов добродушно улыбался и покровительственно похлопывал его по плечу.

— Знаете, батюшка мой, пословицу русскую: «Плох тот учитель, которого не обгонит ученик». Выходит, я не такой уж плохой учитель?

Вместе посмеялись шутке, но разошлись с некоторым нехорошим осадком в душе.

И все было бы хорошо, но ученик переусердствовал; он просто-напросто стал подставлять ножку своему наставнику, а порой и оттирать настоятеля от церковных доходов.

Произошло бурное объяснение, которое закончилось ссорой.

Случай этот стал тем снежным комочком, который катился и на глазах вырастал в глыбу. Ссора не забылась. Брань повторялась все чаще.

Жаловаться на своего выкормыша Проханову не пристало: как-никак сам его пригрел. Тогда он поехал к преосвященному и убедил его в том, что Афонина вполне возможно возвысить до настоятеля церкви.

Епископ Никодим согласился с ним и распорядился о переводе Афонина из Петровского собора в Кранскую церковь, но уже не простым священником, а настоятелем.

Дорогие друзья расстались с миром. Они выпили не одну рюмку на прощание, поговорили по душам, хорошо друг друга поняли и разошлись по своим путям-дорогам.

Глава третья

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИВАНИНА

Священник Николай Иванин, посланный епархией вместо Афонина, был еще молод, ему, пожалуй, не было и тридцати пяти. Для солидности он отрастил могучую

иссиня-черную бороду и пышнейшую, слегка вьющуюся шевелюру, на которой чудом держался головной убор.

Знакомство нового священника с настоятелем состоялось при весьма необычных обстоятельствах.

Проханов обсуждал с конюхом проблему, куда девать воз отборных антоновских яблок, по дешевке закупленных в одной из ближайших деревень. Надо их было мочить, но не оказалось свободной посудины: все двенадцать бочек были доверху забиты яблоками, капустой, огурцами, помидорами, грибами, арбузами. Конечно, на зиму хватит с лихвой, но нельзя же добру пропадать.

Как раз в эту минуту на хозяйственном дворе церкви и появился гость. Он ногой распахнул ворота и вошел, неся два огромных чемодана в руках. Подошел ближе, поставил чемоданы на землю и, по-свойски подмигнув конюху, раскатистым басом выпалил в затылок Проханову:

— Разрешите доложить, гражданин настоятель?

Проханов сначала с недоумением взглянул на конюха, у которого даже рот открылся от такого представления, потом медленно обернулся.

Перед ним стоял почти двухметрового роста детина, одетый в черную рясу. Опустив руки по швам, он смотрел веселыми, хитрыми глазами на настоятеля и ждал.

— Господи, прости мя и помилуй! — нахмурился Проханов. — Это что за явление?

— Рядовой священник Николай Иванин прибыл по указу и предписанию преосвященного епископа Никодима в ваше полное и единоначальное распоряжение.

Проханов не выдержал, рассмеялся. Не поп, а служивый. Да бравый какой!

— Много я видывал за свою жизнь, а вот такого не доводилось... Вы, почтеннейший, давно со службы?

— Никак нет, гражданин настоятель. А вообще порядочно.

— Это как же прикажете понимать? Давно или все-таки недавно?

— И давно и недавно. По-разному можно считать.

Проханов нахмурился.

— Давайте, отец Николай, говорить по-человечески и без этих ваших «никак нет». Я в генералах не состою... — настоятель обернулся к конюху: — Вези, бра-

тец, ко мне в дом, посоветуйся с Евдокией. Некогда мне возиться с ними.

Конюх развернулся и, все еще не отрывая взгляда от внушительного лица священника, стал усаживаться в телегу. Иванин скосил глаза на подводу, облюбовал крупное, цыплячьей желтизны яблоко, едва приметным движением руки схватил его и тут же опустил в карман. Проханов ничего не заметил, но конюх все видел. Новый священник подмигнул ему, и тот вдруг издал какие-то кудахтающие звуки, отдаленно напоминающие смех.

Проханов обернулся, но отец Николай уже сменил лукавое выражение лица на постное.

— Конюха вы, кажется, завоевали. Не так ли, отец Николай? — улыбнулся Проханов.

Иванин скромно пожал плечами, но не ответил.

— Присаживайтесь. Вот сюда. Побеседуем сидя, если не возражаете...

— Можно и сидя, — великодушно согласился Иванин. — Я по-всякому привык.

Они уселись на низкую скамейку, оправили рясы, помолчали...

— Ну, что ж... Докладывайте, отец Николай. Я выражаюсь вашим языком, вы уж не обессудьте.

— Пожалуйста. Мне и рассказывать-то нечего. Окончил духовную семинарию и вот... прибыл к вам.

— Этот вопрос ясен. А как вы попали в семинарию? Расскажите мне о жизни вашей, ежели, конечно, вам угодно о ней рассказывать.

— А чего не угодно? Пожалуйста. Я, значит, родился в Одесской области, под Николаевом...

— Позвольте, где же точнее: в Одесской или в Николаевской области?

— Так это же сейчас Николаевская, а тогда Одесская была. Родители у меня крестьяне, сам я работал трактористом в колхозе, а потом меня в армию призвали. Год прослужил, ну и... неприятность случилась.

— Это какая же неприятность? — насторожился отец Василий.

— Ну... видите ли, самоволка; выпили с дружками... Так, знаете, самую малость.

— И что же?

— Так судили меня. Два года, будь здоров, живи богато.

— Отсидели?

— А как же... Сидел как миленький.

— Так, так. А дальше как жили?

— Ну... отпустили, когда срок кончился. Потом я подался в семинарию.

— Так сразу и в семинарию?

— А куда еще? — удивился отец Николай. — В институт бы меня не приняли.

— Весьма логично...

Проханов помолчал, а потом, бросив косой взгляд на младшего своего коллегу, спросил приглушенным голосом:

— Давайте на полную откровенность, отец Николай. Ваша неприятность выглядит весьма невинно. А так ли это?

— Ну, что вы, батюшка! — отец Николай даже руками всплеснул возмущенно. — Как так можно!.. Вот вам крест святой, — и он истово перекрестился, глядя на церковь.

Однако Иванин кривил душой, заверяя, что судим за самовольную отлучку. Он говорил правду только в том отношении, что, действительно, после окончания школы был призван в армию. Служить пришлось в Одессе, но эта служба не нравилась Николаю. Баловень семьи, «сметанник», он привык к постоянному вниманию, а тут он из нарядов не выходил за проступки, не совместимые с воинским уставом. Всем он должен подчиняться, а подчиняться Иванин не любил. Друзей в части он не нашел, зато они нашлись в биндюжных закоулках. Его друзья оказались мастерами на все руки, но особенно виртуозно они проявили себя по части мошенничества. В этом искусстве они достигли почти совершенства.

После окончания службы Николай не уехал в колхоз, а остался в городе, где цветут каштаны, где море синее-синее, хоть оно и зовется Черным, где даже чайки умеют петь под гитару. Николай Иванин рассуждал просто: зачем ему возвращаться в колхоз и «вкалывать» трактористом, когда он тысчонку-другую может приобрести запросто, как говорится, за здорово живешь, тем более , что у него появились такие «братишки», которым море по колено.

Неделю после демобилизации Николай провел у одного из давних своих друзей, с которым познакомился еще солдатом. Звали его Стивой. Николая он привлек усиками, тонкими, как ниточка. Будто кто-то обвел его губы густым черным карандашом. У Стивы было все особенное. Курил он мастерски; сигарета словно приклеивалась к краешкам губ и могла в один момент перелетать из одного края рта в другой.

А плевал Стива как! Метров на десять от себя попадал точно в круг диаметром в каких-то полметра. И пел Стива на манер Козловского, и танцевал он, и гитарист был первоклассный, уж не говоря о том, как разговаривал с девушками.

Правда, Стива нигде не работал, но жил припеваючи. Денег всегда полно у него, насчет выпить в любое время дня и ночи «пожалуйте», и ходил Стива во всем с иголочки.

Николай, конечно, понимал, что деньги с неба не сыплются, их откуда-то достают, и он выразил желание обучиться искусству легкого приобретения «презренного металла», как восхитительно, «с настоящим парижским прононсом» говорил Стива.

Стива по-приятельски хлопнул по плечу Иванина.

— Быть тебе, Николас, первым из первейших при таком учителе.

Первое «дело», на которое самостоятельно вышел Иванин, было, с точки зрения Стивы, сущей пустяковиной.

...У входа в кассовый зал стоит юноша. Он сжимает в потной руке две или три сторублевки и с отчаянием смотрит на закрытые окошки касс. Диктор объявляет о прибытии поезда «Одесса—Москва».

К юноше подходит высокий широкоплечий человек в полувоенной форме, строго смотрит на страдальца и еще строже спрашивает:

— Пач-чему маладой челавек нос повесил?

Спрашивает строго, а большие черные глаза смеются: не робей, малец! Иль не видишь, что шучу?

— Билет не можу достаты.

— Шось теке? Не гарно... А куды хлопче йде?

— Да у Харькив...

— Так и я же в Харькив. Ну, хлопче, пидвезло тоби. Ладно, можу помогнуть. Тилько так. Двадцать карбованцев за подмогу...

Хлопец не верит в удачу. Но двадцать рублей все-таки жалко. Он торгуется. Сошлись на пятнадцати.

Веселый попутчик устремляется в толпу, бежит к своему хорошему знакомому в кассу за билетом, а хлопец в струну вытянулся, ждет. И вдруг попутчик возвращается.

— А гроши, гроши-то!..

Ну, надо же! О деньгах хлопец и забыл. Берите! Только скорее, поезд подходит...

Попутчик идет прямо в святая святых... Хлопец не знает, что сразу за кассами есть проход, через который и выходит Николай. За пять минут — две с половиной сотни.

«Что ж, и это неплохо», — подбадривает он себя.

Двумя часами позже был пир горой по случаю боевого крещения «младенца» Иванина в полноценного мошенника.

Но особенно запомнилась Николаю «классическая» и, кстати сказать, последняя комбинация.

...На углу улиц, недалеко от порта, где низким мощным басом ревет корабль, стоит «иностранец» — Николай Иванин.

По улице идет не старый человек, во все глаза смотрит на море, на заморские корабли и насмотреться не может.

— Мсье! Синьор! Мистер! — умоляюще произносит «иностранец» на сквернейшем русском языке.— Просим, синьор, помогайт...

Выясняется, что «иностранец» попал в весьма затруднительное положение и хотел бы продать перстень. Алмаз, правда, не очень крупный, однако ж...

Прохожий — он был из Киева — ничего не понимает в драгоценностях. Да и зачем ему?

— Хотите десятку, нет—двадцать рублей... — добреет он. — Не надо мне вашего. Ни к чему оно... — и сует две десятки Иванину.

«Иностранец» возмущен...

О, нет! Синьор напрасно принимает его за нищего. Подаяние он не может принять. Он хочет просить политического убежища «в Советах», но ему надо расплатиться с командой и чтоб себе осталось. Нет, пусть синьор его не обижает, он не возьмет ни пессо...

Это «пессо» с шикарным произношением «иностранца» Иванина заставляет киевлянина заколебаться. А тут

еще подходит элегантно одетая молодая женщина, вмешивается в разговор, сочувствует.

— Надо помочь. Как-никак, гость. Есть у меня знакомый ювелир. Пройдемте к нему, он оценит, скажет — сколько. И вообще... Специалист все же.

Владелец перстня остается на месте: ему неудобно, он в чужой стране, пусть его правильно поймут.

Ювелир живет неподалеку. Они встречаются с ним совершенно «случайно» на лестнице. Ювелир спешит на работу после обеденного перерыва. Его ждет такси, они, наверное, заметили у подъезда.

— Давид Самуилыч! Товарищ Маркензон, прошу вас, оцените, — молодая женщина смущенно протягивает перстень. — Вещь случайная, кто его знает...

«Ювелир», и он же по совместительству Стива, смотрит сквозь очки, поднимает их на лоб и даже вскрикивает изумленно, но, спохватившись, сухо говорит:

— Могу купить, если хотите продать...

— Понимаете, нам не совсем удобно. Скажите, сколько... Во что оцениваете?

«Ювелир» мнется. Он бы дал восемь тысяч.

— Восемь тысяч! — женщина, кажется, ушам своим не верит. — Вы можете подождать?

Нет, Давид Самуилович ждать, к сожалению, не имеет времени. Но молодая женщина умоляет: «Пожалуйста!»

Ладно, он подождет, но десять минут, не больше...

Молодая женщина и киевлянин почти бегут. «Иностранец» изображает крайнее волнение. Его спрашивают: согласен ли он уступить за восемь тысяч?

— О, конечно! —руки «иностранца» Иванина чайкой взлетают: за кого они его принимают? Больше того, он берет пять тысяч, а три тысячи им «за услуги». Нет, нет, иначе он не согласен.

«Иностранец» снова остается на углу. Когда его добрые помощники поворачиваются, чтобы уйти, «чужестранец» смущенно говорит: пусть ему дадут что-нибудь взамен, все-таки ценная вещь...

Молодая женщина вспыхивает от смущения. О, пожалуйста! Дама отдает золотые часы, сумочку, а киевлянин хмуро сует бумажник.

— Здесь ровно три тысячи!

Его «доброжелатели» бегут к ювелиру. У мужчины сосет под ложечкой: ох, как бы не влипнуть!

Те же мысли и у дамы. Она останавливается. Все-таки нельзя так легкомысленно доверяться. Она подает киевлянину перстень и говорит, что вернется к «иностранцу»: все-таки береженого бог бережет.

Мужчина вздыхает с облегчением. Хорошо. Пусть она возвратится, а он мигом.

Он вбегает в подъезд, мчится наверх, перескакивая через две ступени, но «ювелира» нет.

Что такое? Неужели прошло больше десяти минут? Ну, конечно. Ровно двенадцать. Досадно.

Он возвращается назад, но «иностранец» и молодая женщина исчезли; их и след простыл.

Долго еще соображает киевлянин, что произошло, пока до него не доходит: провели, обманули, подло сыграли на его добродушии и доверчивости.

И все-таки правда торжествует. Киевлянин развил бурную деятельность. Одесская милиция задержала молодую даму, а через нее добрались и до «иностранца» Иванина с «ювелиром» Стивой.

Два года за такую комбинацию — сущие пустяки. Но они показались Николаю Иванину очень долгими. Было над чем поразмыслить за это время. Теперь уж истинным благом ему казалась работа тракториста. Он часто вспоминал родные места, милую Софиевку, чудесный Буг. А потом память воскрешала картину ночного поля, ровный гул мотора, черное небо с острыми, как иглы, веселыми звездами, наваристый кулеш, печеную картошку, ночевки в стогу сена под тем же небом и Галю, Галочку, Галчонка с горячими, влажными губами...

Да, Николай искренне каялся. Он твердо решил: на «формазонах» — крест, но и к Галочке путь отрезан.

Решил идти в институт. Аттестат у него «мировой», всего три четверки. Остальные — пять, пять, пять. Не шутка! Конечно, биография «не того», но неужели его не поймут?

Однако на экзаменах он не набрал проходного балла. Даже кандидатом его не приняли.

Отчаяние Иванина было столь бурным, что он решил покончить с этим миром, в котором его не поняли. Но не так-то легко лишить себя жизни. Он прыгнул с обрыва в море, забыв, что умеет плавать. Глотать горько-соленую

противную воду ему не понравилось, и он сильными взмахами рук направил свое непокорное тело к берегу.

Жизнь он себе спас, но рана в душе кровоточила. К Галочке поехать не хватило смелости, а трусость привела его в такое место, куда он не думал, не гадал, а все-таки попал.

Денег после заключения было немного, они довольно скоро кончились. Работу найти Николай не мог: с бывшим мошенником никто всерьез даже разговаривать не хотел. Николай несколько дней все туже и туже затягивал живот. К чести его будь сказано, он не украл ни крошки, хотя искушение было велико.

В эти дни и произошла у Николая встреча, которая имела удивительные последствия. Он случайно познакомился со священником, которому неожиданно поведал все.

Священник пригрел, приютил его, а потом дал возможность самостоятельно зарабатывать кусок хлеба. Николай сначала «чернорабочил», а потом ему доверили машину.

Около двух лет он возил «святого отца», жил припеваючи и уже успел забыть Галочку-Галчонка, черное небо, осыпанное блестками звезд, мирный рокот тракторного мотора и запах сена на лугу.

А потом Николай обзавелся женой. Попал он в удивительно набожную семью. Ему стали нашептывать: хорошо бы пойти по духовной линии. Сытная, спокойная жизнь, ни тебе волнений, ни тревог, живи — кум королю, сват министру и сырем в масле катайся. Только молодой супруг отказывался.

А потом Николая нежданно-негаданно захотел видеть сам епископ. Они долго говорили по душам. Преосвященный обласкал молодого мужа и предложил пойти к нему работать.

Николай охотно пересел с «победы» на ЗИМ. Почти вдвое увеличился и оклад.

Разговоры между тем повторялись и становились все более задушевными. Кончились они тем, что Николай Иванин с личной рекомендацией епископа был направлен в Загорск, где и закончил духовную семинарию.

С первого же дня Проханов невзлюбил молодого священника. Фанфарон какой-то! Нет у него прилежания.

Но удивительное дело — он видел, что Иванин довольно быстро завоевывает популярность среди прихожан и особенно прихожанок. И нравилось им как раз то самое фанфаронство. И прозвали его как-то странно: «вороной».

Служил новый священник с лихостью отменной, и, что особенно неприятно поразило Проханова, в дни, когда служил Иванин, собиралось куда больше прихожан, чем у него, настоятеля.

Соразмерно этому возрастали и доходы Иванина. За год он сумел приобрести дом, а на другой год купил машину. Случилось это в отсутствие Проханова.

Иванин проделал какую-то сложную махинацию в церковной кассе, ловко обвел вокруг пальца членов двадцатки, и в результате в его руках оказалась довольно значительная сумма.

На следующий день он набил чемодан деньгами, нырнул в одну сторону, в другую, откуда-то пригнал грузовую машину, прицепил к ней «победу», невесть откуда взявшуюся, и куда-то угнал ее. Ровно через месяц отец Николай получил новенькую машину, блиставшую свежей краской.

«Как это произошло, что он делал и с кем — одному богу известно», — разводили потом руками члены двадцатки.

Когда молодого священника спросили, каким образом удалось ему обзавестись новой «победой», Иванин загадочно ответил:

— Ловкость рук...

Иванин сам водил машину. И вообще устроился молодой священник основательно. Жена его, полная, дебелая, родила ему двоих сыновей.

В доме разворотливого семьянина появилась вполне приличная обстановка: ковры, дорогая мебель, посуда. Особенно много разговоров вызвал роскошный радиоприемник.

На Иванина поступила жалоба, что он живет разгульно, слушает радио, ходит в кино.

Из епархии приехал благочинный, лицо инспектирующее, которому молодой священник заявил, что он совсем не намерен гробить свою молодую жизнь, а если его хотят уволить за штат — он ничуть не опечалится: завтра же станет трактористом или шофером, и, будьбе покойны,

он ничего не потеряет. А вот ежели потом подсчитать убытки церкви после письма в редакцию какой-нибудь из газет, то они кое-кого недосчитаются.

Вообще Иванин не советовал благочинному о чем-нибудь докладывать епископу, потому что лично он, благочинный, вот где у него сидит. Иванин показал довольно увесистый кулак, покрытый густой черной порослью. Молодой священник покрутил им перед ошеломленным гостем, а потом наклонился к нему и что-то прошептал ему на ухо.

Лицо гостя стало медленно бледнеть, а на большом, изрезанном крупными морщинами лбу выступили бисеринки пота.

— Сын... сын мой, не губи! — благочинный приложил руку к груди.

— Упаси меня боже! — У молодого священника округлились глаза. — Ни-ни-ни...

— И не один я поступил так, сын мой.

— Конечно, не один,— миролюбиво согласился Иванин. — Все мы одним миром мазаны...

Благочинный испуганно закрестился, стал озираться вокруг и хотел тут же убраться восвояси, но Иванин возмущенно замахал руками: как можно?

Всю ночь напролет Иванин и благочинный звенели рюмками, клялись в вечной любви и пели псалмы.

Благочинный выехал в епархию только на третьи сутки.

Глава четвертая

«БОГОМАЗ»

Всего этого настоятель Петровского собора не знал. Он был в отъезде. Последнее время стали его одолевать тяжкие думы: никого он не оставит после себя, никто не пойдет по его стопам, не завершит дела, им начатого.

Он твердо решил: надо взять кого-нибудь на попечение и сделать из него человека, по собственному духу своему и разумению на самого отца Василия схожего

Эти мысли овладели Прохановым особенно после одного случая, чрезвычайно его обрадовавшего.

Евдокия, прочно воцарившаяся в доме после Маргариты, однажды рассказала ему, что в районе объявился человек, который скупал старые иконы, реставрировал их, выгодно перепродавал и тем жил.

Что за человек такой?

Проханов бросил на поиски этого иконолюбителя всех членов двадцатки. Искали его по селам и деревням, а он, оказывается, жил почти рядом с домом настоятеля и работал инспектором в райфо.

Но как с этим человеком познакомиться? Настоятелю издали показали Константина Обрывкова — так звали иконолюбителя. Высокий, бледный, худой, глаза ушли куда-то вглубь. Было такое впечатление, что Обрывков смотрит на тебя и тебя совершенно не видит. Очень сосредоточенный, в себя углубленный, будто сам к себе же прислушивается. Обрывков носил длинные волосы. Они делали его похожим на богослова-семинариста давних, но хорошо памятных Проханову времен.

Познакомились они довольно просто: через своего человека Проханов послал инспектору Госстраха записку, в которой настоятельно просил его пожаловать к нему, священнику Проханову, на дом, так как он сам по причине старости прийти к нему не может. Он, Проханов, желает застраховать свою жизнь и убедительно просит не отказать ему в этом его желании.

Обрывков явился точно в назначенное время. Он не спеша вошел в комнату, молча огляделся и невнятно сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуй, здравствуй, сын мой,— двинулся ему навстречу Проханов и вдруг остановился, качнулся и схватился рукой за сердце.

Да неужто тот самый?

А Костя стоял молчаливый, равнодушный, ничем не давая понять, что узнал его.

Еще бы не узнать! Именно из-за него-то все и началось...

Когда Нина рассказала своей бабке о намерениях Кости «заступиться» за Проханова, бабка не осталась в долгу.

Для Кости настала сытная и вольготная жизнь.

Нина приходила в госпиталь теперь каждый день, притом не с пустыми руками. Раньше она приносила только цветы, а теперь в придачу к цветам начали появляться пироги. Бабка работала в пекарне. В голодные

военные годы после оккупации пекарня считалась золотым дном. А бабка не из тех, кто теряется.

Костя поправлялся медленно. Рука его зажила быстро, а с ногой было худо. Два раза хирургам пришлось ломать ее заново...

Скучно лежать было с подвешенной ногой. Костя решил заняться портретом Нины. Как-то так уж случилось, что он вспомнил о давно забытом. Костя хорошо рисовал.

В детские годы Костя отличался редкой для его лет нелюдимостью. Болезненный и слабый физически, он все время дичился своих сверстников. Его дразнили, иногда колотили — мальчишки признают силу и терпеть не могут слабых, несчастных. Поэтому Обрывков еще с детства привык к одиночеству. А потом он пристрастился к чтению.

Но в деревне, в которой вырос Обрывков, не было ни электрического света, ни радио, ни библиотеки. У матери от родителей осталось много религиозных книг. Сама она их не читала, и они долго лежали в чулане среди разной рухляди. Здесь-то их и отыскал Костя.

Читал он все подряд. Библейская фантастика увлекла его, как увлекает ребенка сказочный мир.

А потом у Кости открылась страсть к рисованию. Сначала цветными карандашами, потом акварелью, а позже и маслом.

Первым серьезным рисунком Обрывкова была их деревенская церквушка, служившая в то время складом для зерна.

За этим рисунком последовала целая серия с сюжетами, навеянными библией. Мать потихоньку стала показывать их соседям.

По деревне поплыл слух, что у Обрывковых «Костя-то святой». Так к нему и приросла эта кличка.

Как ни странно, Обрывков не стал верующим, хотя мать его приложила к тому немало усилий. Почему так случилось — не мог объяснить и сам Костя.

В школе заметили способность мальчика к рисованию, но вся беда была в том, что Обрывков хотел создавать картины только на библейские сюжеты. Учителя не сумели сломить его упрямство, заинтересовать другими темами, увлечь его. Действовали они прямо: не смей рисовать то-то, а рисуй вот это. Он, разумеется, «вот это»

рисовал, но кое-как, наспех, зато всю душу вкладывал в «свою» работу во внеурочное время.

И в техникуме Обрывков был одинок. Особенно он замкнулся в себе после того, как его не приняли в комсомол. Костя сам подал заявление, благополучно прошел комитет, а на собрании случился конфуз. Когда очередь дошла до Обрывкова, кто-то из остряков присвистнул от удивления.

— В комсомол такого иисусика?

Хохот глыбой обрушился на Обрывкова. Он вскочил и, как затравленный, стал озираться. Хохот усилился. Не замечая катившихся слез, Костя с трудом выбрался из зала и бросился бежать.

Три дня его не было в техникуме.

Потом Обрывкова вызвал директор, человек сухой и черствый, не понимавший, да и не желавший понимать, что творилось с юношей. Перед Обрывковым был поставлен вопрос прямо: или он бросит «всю эту божественную муть», или его придется исключить как неуспевающего. Обрывков смотрел на директора исподлобья и шумно дышал.

Так и ушел студент из кабинета, не промолвив ни слова.

Через неделю был подписан приказ об исключении Обрывкова из техникума за «срыв учебной программы и упорное нежелание подчиниться требованиям педагогического коллектива».

Исчез Обрывков из техникума, никем не замеченный.

И вдруг война. Через два месяца Костя был уже около линии фронта. Обрывков даже думать не хотел о возвращении домой. Как можно! Такой позор...

Глубоко раненное самолюбие и желание доказать, что и он кое-чего стоит, и привели Костю на фронт.

Получилось так, что немецкие дивизии обошли участок фронта, где воевал Обрывков.

Костя жаждал героических сражений, а попал в какую-то невообразимую кашу, в которой так и не понял, где был фронт, а где тыл. А когда он наконец разобрался, фронт был далеко впереди.

В лесу он встретил бородатого человека с небольшим отрядом хорошо вооруженных людей, одетых в гражданскую форму, и вскоре Костя вместе с вышедшими из окружения красноармейцами превратился в партизана.

Воевал Обрывков, как и его товарищи, храбро. Его наградили медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», а потом и орденом Красной Звезды.

Однажды Костя участвовал в нападении на поезд, в котором отправляли молодежь в Германию. Партизаны уничтожили охрану, освободили заключенных и увели их в лес. В завязавшейся перестрелке была ранена девушка. Костя вперемежку с Болвачевым нес ее на себе.

Нина довольно долго находилась в партизанском отряде, опасаясь возвращения в Петровск, чтобы снова не оказаться насильно угнанной в Германию. Была и другая причина. Она влюбилась в своего спасителя — Костю.

Когда Петровск освободили, Нина вернулась домой.

...Портрет Нины был готов через две недели. Но какой портрет! Девушку он сделал ангелом.

Косте даже в голову не могло прийти, что он оттолкнет от себя Нину этой картиной.

В глазах Нины Костя был героем. Две медали, орден, жизнь в лесах, полная опасностей. И вдруг этот герой — верующий. Точь-в-точь, как ее богомольная бабка. Она не знала, что Костя далек от религии—так же как и она сама.

Она схватила рисунок, торопливо свернула его в трубку и заспешила из палаты. Дома Нина плакала.

И тут она припомнила: вот почему он не вступил в комсомол. Сколько Нина его ни спрашивала, почему он не комсомолец, Костя хмурился, пожимал плечами и отделывался ничего не значащими фразами. Значит он лгал...

С той поры и пошла на убыль любовь Нины.

Теперь бабка, а не внучка ходила в госпиталь. Когда Костя выписался, между ним и Ниной все было кончено.

Из госпиталя он выписался с белым билетом — с ногой у него было скверно. Кость срослась плохо, он хромал. Хромота, правда, небольшая, но для его больного самолюбия это была новая травма.

Мать Обрывкова к тому времени перебралась в Петровск, к своему второму мужу. Но и второй муж прожил недолго. Родственники через суд отобрали у нее домишко, оставив ей небольшую холодную пристройку, в которой было можно жить только летом.

Пришлось кое-как утеплять жилище.

Обрывков специальности не приобрел. За эти годы где он только ни работал: билетер в кинотеатре, счетовод в Заготзерно, рабочий в бензоскладе, плакатист на окладе уборщицы в парке культуры и отдыха, продавец в книготорге и, наконец, инспектор Госстраха,

Глава пятая

ПАДЕНИЕ

— Сын мой! Неужто не узнаешь меня?

Проханов бросился к Обрывкову.

— Что же ты молчишь, дорогой мой? Ну же, вспомни-ка зиму сорок второго.

Проханов почти вплотную подошел к Обрывкову, ласково коснулся его плеча.

— Давно уже узнал, Василий Григорьевич,—спокойно сказал Обрывков.— Да и как не узнать? Вы — известное лицо в городе, притом единственное в своем роде...

Губы Кости тронула едва приметная улыбка, но тут же исчезла.

— Давайте лучше приступим к делу.

Проханов согласился: к делу — так к делу. Обрывков стал работать, а Проханов с любопытством рассматривал его. Вблизи этот молодой человек еще больше походил на тех богословов-семинаристов, с кем Проханову пришлось иметь дело в молодые годы. Больно уж испитое лицо было у Обрывкова. Веки до того тонкие, что удивительно — как они могут защищать глаза? Глаза покраснели, помутнели, а крылья тонкого носа стали дрябловатыми и словно обвисли... И вообще лядащим человеком казался Обрывков. Но чем хуже этот человек казался внешне, тем милей он был сердцу Проханова.

Он намеренно посадил Обрывкова так, чтобы тот невольно обратил внимание на иконостас. Но гость ни разу не поднял взгляда, чтобы осмотреть, увидеть то, что должно, по замыслу хозяина дома, наповал сразить его жертву. И только с последней надписью на полисах глаза их встретились, но тут же они отвели взгляды друг от друга.

И вдруг Обрывков вскочил и сразу же забыл о полисах и деньгах, выложенных Прохановым. Он не обошел, а перешагнул стул, который был у него на пути, и замер

перед иконостасом. Сначала Обрывков смотрел невооруженным глазом, потом вытащил лупу и сантиметр за сантиметром стал изучать рисунок икон. По мере того как он рассматривал их, вдохновение гостя сменялось разочарованием.

Все это не укрылось от глаз хозяина. Он наблюдал за гостем с тревогой, каждую минуту возраставшей.

Что ему не понравилось? Скажи на милость, какая требовательность. И что ему вообще нужно?

Проханов чувствовал себя явно задетым.

С этими иконами была связана целая история, в которой активную роль сыграл советник фон Брамель-Штубе. Это он подарил тогда иконы Проханову. Где-то на Украине был оголен и ограблен древний монастырь, глава которого не угодил фашистским правителям. Все наиболее ценное перешло в собственность «его преосвященства».

Проханов, правда, не знал еще истинной цены подарку, но все-таки гордился вещами, которые, может быть, столетиями находились в древних русских монастырях. Вдруг какие-нибудь Рюриковичи ими любовались! Как знать?! Вполне возможно, что среди этих икон есть и сокровища. Проханов не понимал в иконах, однако ж тешил себя надеждой: а вдруг?

— Подделка! И довольно искусная...— неожиданно высоким, срывающимся голосом заговорил Обрывков.— Но должен сказать вам, Василий Григорьевич, высокие мастера выполняли эту работу.— И он снова повторил:— Высокого, очень высокого класса подделка.

— То есть, как это подделка?— возмутился Проханов.— Вы, молодой человек, сначала узнайте, откуда и как появились эти исторические ценности, а потом играйте в авторитеты.

Обрывков так же неожиданно, как и заговорил, рассмеялся. Смех у него был странный, кудахтающий.

— Исторические ценности, говорите?.. — Обрывков повернулся лицом к хозяину дома и пристально взглянул на него.— Настоящие исторические ценности из украинского монастыря во время войны перекочевали на Запад. Вы думаете, немцы не знали им цены? — он кивнул головой в сторону иконостаса. — Будьте покойны. Знаете, что они сделали? Из оккупированных стран свезли в те монастыри, какие грабили, художников и заставили

их делать копии. И не по одной, по многу. А потом сбывали их за подлинники в Болгарии, Польше, Чехословакии и особенно в Греции. Вам, Василий Григорьевич, тоже достались копии...

Проханов был потрясен этим открытием, и совсем не потому, что иконы не оказались сокровищами, хотя и это имело немалое значение. Важно другое. Советник фон Брамель-Штубе, выходит, подсунул ему подделку, хотя Проханов сам читал: «за особые заслуги перед Великой Германией» ему преподносились в дар эти «драгоценные реликвии русской старины».

Вот она, награда! Над ним потешались. Для этой цели, выходит, и придумали почетное обращение «ваше преосвященство». Ставка была на его тщеславие. Как чтили, так и отплатили.

— Обманули, — в смятении пробормотал он. — Ну, что ж... И это может быть. Все может быть в наше время.

Гость посмотрел на Проханова удивленными глазами, а потом сказал вполголоса:

— А вот эта... сбоку, самая незаметная — ей цены нет...

— Где? Какая? — Проханов устремился к иконостасу.

— Да вот же... — Обрывков показал на крохотную иконку.— Цены ей нет, понимаете?

Проханов взглянул, и сразу же перед ним всплыл эпизод из времен далекой молодости. Был и он когда-то молодым и даже самоотверженным. Как-то гулял он ранней весной по берегу небольшой речушки и вдруг услышал истошный крик: мальчик тонул. Проханов, в то время богослов-семинарист, бросился в воду, вытащил мальчишку и отнес его родителям.

Семья оказалась небогатой. Проханова просто-напросто напоили чаем и заставили раздеться и просушить одежду. А на прощание мать малыша после некоторого колебания подала ему эту крохотную иконку.

— Будьте таким же щедрым в своей жизни, и она вам никогда не станет мачехой. Великодушие и любовь к людям прекрасны. Они всегда окупаются...

Тогда он вел довольно скромную жизнь и в первом порыве едва не нагрубил растроганной матери, которая, вместо солидного вознаграждения, одарила его грошевой иконкой и совсем уж дешевым советом...

А теперь оказалось, что крохотной иконке цены нет, как нет цены и ее словам. Но прав ли Обрывков?

Откуда вы разбираетесь в этом?

— Учился в специальном заведении, а вот художника из меня не вышло.

— Почему?

— Таланта нет, наверное.

— А может быть, еще есть причина?

— И это может быть,— неопределенно ответил Обрывков.

Проханов неожиданно для себя растрогался. Он взял гостя за руки и с мягкой настойчивостью увлек за собой в другую комнату, где уже заранее был накрыт стол. И стол готовился с умыслом — знал кого встретит.

— Сын мой! Мы потом поговорим. А сейчас прошу меня удостоить чести. Не знаю, как звать-величать дорогого гостя?

Обрывков смутился, но старался скрыть это свое чувство.

— Костей зовут... Константином Васильевичем... А этого не нужно,— Обрывков кивнул головой на стол.— Я на работе нахожусь. Вы должны понять меня.

— Нет уж, почтеннейший Константин Васильевич. Как хотите, не отпущу вас.

Препирались они долго, но Обрывкову пришлось сдаться.

Захмелел Обрывков быстро. Языки развязались. Через час Проханов уже знал всю историю жизни ценителя искусства иконописи.

— Но откуда эта любовь? У вас матушка набожная?

— Матушка, действительно, набожная. Только дело не в ней. Тут вообще...— Обрывков задумался, но долго не мог подобрать нужных ему слов.— Родился я в деревне, книг у нас совсем почти не было, только божественные. Я их все перечитал подряд. Любил я читать.

— А что вас, сын мой, привлекло в божественных книгах?

Обрывков оживился.

— Какая фантазия! Какой увлекательный сюжет! Эти легенды...

— Но почему легенды? — Проханов вскочил.— Вы

говорите — легенды. Кто говорит так, тот не верит в существование Иисуса Христа.

— Почему не верит! Мне лично хочется верить. Вполне возможно, что Христос существовал.

— Тогда я не понял вас, сын мой.

У Кости насмешливо блеснули глаза.

— Должен вам сказать: если я говорю, что, может быть, Христос действительно существовал, то на этот счет я-то уж совсем по-иному думаю, чем вы. Допускаю: может, и жил когда-то человек по имени Христос. Честный, справедливый, добрый... Он мог заступаться за бедных. Но тогда была эпоха рабства, страшная пора. Его могли преследовать и казнить. А потом кому-то было выгодно распространить слух, что Христос воскрес.

Проханов внимательно слушал, и было видно, что он совершенно согласен с молодым своим собеседником, Но сказал он другое:

— Богохульны слова ваши... Богохульны.

— Ничего другого я и не думал от вас услышать, Василий Григорьевич. Только думайте обо мне что хотите, а я тверд в своем убеждении... Вокруг имени Христа с годами все больше поднимался шум. И те же рабовладельцы начали использовать легенды в свою пользу. Начали писать книги, придумывать, добавлять, фантазировать... За две тысячи лет чего не сделает человеческая фантазия. Легенду подхватили и понесли из века в век, прибавляя, развивая, возвышая.

— Побойся бога, сын мой. Не кощунствуй.

Но Обрывков, кажется, не обратил внимания на слова хозяина дома и продолжал свое.

— Правда, атеистическая литература даже и того не допускает. Она твердо считает: существование Христа — миф. И доказывает эти свои выводы. И тут очень крупные силы выступали. Я много прочел по этой части. Бруно Бауэр, потом Робертсон, Смит, Древс, Кушу, Немоевский... Они все по косточкам разобрали в евангельском рассказе и доказали, что никакого Христа в реальной жизни не существовало. — Обрывков помолчал, и вдруг тень улыбки осветила его лицо.— Но самое интересное — что все эти люди не были атеистами и даже не светские люди, а богословы...

Проханов с любопытством взглянул на Обрывкова, лицо которого оживилось и даже порозовело. Все то,

о чем он говорил, Проханов давным-давно знал, пережил, переболел этим, смирился и давно нашел свою линию в этой мутной жизни, которой он жил. Но было чертовски интересно увидеть человека, в котором он видел себя в молодости.

— Да-да, Василий Григорьевич. Именно богословы. Они добросовестно стремились спасти из христианства, из учения о Христе хоть что-нибудь. Но концы с концами никак не удавалось свести. А теперь вообще теологи и богословы увиливают от прямого ответа и говорят: зачем, мол, буквально понимать все. Надо расценивать христианское учение как символику. А другие не допускают вообще никакой критики и говорят: надо просто верить, не рассуждая. В общем, запутались и тявкают ваши братья, как трусливые собачонки...

— Ну, сын мой, вы нас скоро в волчью стаю превратите.

Обрывков первый раз за все время очень внимательно посмотрел в глаза Проханову и улыбнулся чистой, подкупающей улыбкой. От этой улыбки Проханову стало не по себе. Что-то дрогнуло в его груди и заныло.

— Василий Григорьевич, не надо так. Вы-то, я думаю, знающий человек и хорошо понимаете, как все это создавалось, как шло и катилось и к чему все это наконец привело.

— К чему же, сын мой?— снова не удержался он от любопытства. Сильный спорщик, ничего не скажешь, но все-таки интересно узнать до конца, что он думает о мире, в котором жил Проханов.

Обрывков развел руками.

— Сами видите. К вырождению, к обнищанию вашей, извините меня, поповской фантазии. Вы сейчас зады повторяете, поэтому вам все меньше и меньше верят. Каждый год из вашей армии уходят десятки и сотни тысяч людей. Вы не живете, а доживаете свой век.

Проханов, по мере того как говорил этот человек, убеждался, как он ошибся в Обрывкове; нет, он не прост и не простоват, каким казался с первого взгляда. Этот молодой человек сложнее, куда сложнее, чем он думал. Водка развязала ему язык, и только.

— Ах, сын мой, сын мой!— Проханов поднялся и стал шагать по комнате. Ковер смягчал шаги, поэтому казалось, что священник крадется.— Что же вы нас обвиняе-

те? Попы, как вы изволите выражаться, в такие поставлены условия сейчас...

— Я совсем не об этом.

— А я именно об этом, сын мой. Именно об этом. Нам невозможно развернуться. Мы связаны по рукам и ногам.

Обрывков рассмеялся своим странным захлебывающимся смехом.

— Вы думаете, Василий Григорьевич, я не знаю условий? Напрасно. Тридцать пять лет, как вам прижали хвост... Вы уж извините... А что значат эти годы по сравнению с двумя тысячами? Я говорю о трехстах годах, понимаете? За эти последние триста лет вы бубните одно и то же.

— Но догмы есть догмы.

— Вот видите! — обрадовался Обрывков. — Эти ваши догмы и подводят вас. Сказано так — стало быть, так. Не смей хотеть свое суждение иметь.

— Я вижу, сын мой, в бога вы не веруете, — с огорчением сказал Проханов, усаживаясь на место.

Он взял бутылку с водкой и стал разливать ее по стаканам.

— А вы, стало быть, решили, что верю?

— Должны верить, сын мой. Должны, — твердо сказал Проханов. — Кто постиг тайны искусства иконописи, не может не верить.

Теперь уж удивился Обрывков.

— Почему вы так считаете? — он пожал плечами и с любопытством уставился на Проханова.

— Потому что надо верить в собою изображаемое. Без веры, сын мой, ералаш получается. Человек без веры кривобоким становится.

На Обрывкова последняя фраза произвела заметное впечатление. Он хоть и промолчал, но Проханов почувствовал, что угодил в цель.

— Давай, сын мой, выпьем за полное понимание друг друга.

— За понимание? — Обрывков поднял стакан и посмотрел сквозь него на свет, прищурив левый глаз. — Можно и за понимание. Только никто меня не захотел еще понять.

Проханов хотел сказать: уж он-то поймет непременно, но сдержался. Все еще впереди!

Он выпил одним духом, вызвав удивление у гостя. Обрывков сделал только два глотка, поморщился с отвращением и поставил стакан обратно. Проханов хотел настоять, но опять, в который уже раз, сдержал себя. Перед ним его цель, его надежда, и нельзя действовать так уж сразу. Всему свое время. Потом наверстает.

Проханов никогда и ничего так не хотел, как приблизить этого человека к себе. Приблизить, а там видно будет...

Он почему-то считал, что если ему удастся задуманное — значит, он не зря прожил свою долгую жизнь.

Постепенно созрел план, как нужно действовать. Прежде всего надо настоять, чтобы Обрывков возобновил свою работу как художник.

Расчет был прост. Обрывков — человек увлекающийся, работа в райфо станет его раздражать, мешать, и он должен выбрать что-либо из двух. И уж, конечно, выбор падет не на райфо. Но этому человеку надо на что-то жить. Он, отец Василий, приобретет за хорошую цену одну из картин Обрывкова. Это даст ему возможность некоторое время существовать безбедно и кормить больную мать, кстати сказать, человека набожного и души не чаявшего в своем единственном сыне.

Когда кончатся средства, Обрывков сам придет, у него не будет выхода. Уж он-то, Проханов, знает этих одержимых: они на все готовы, лишь бы добиться своего. Вот тогда-то и начнется настоящий разговор...

Проханов предугадал события с поразительной точностью. Случилось именно так, как он задумал. Обрывков довольно легко согласился покинуть работу и взяться за кисть. Проханов действительно приобрел, и не без выгоды, по его мнению, отличную картину с библейским сюжетом, которую повесил на самом видном и светлом месте в гостиной.

Сумма была довольно приличная, на полгода, по расчетам Проханова, Обрывкову с матерью вполне хватит.

Но тут неожиданно открылась одна черта богомаза. При первой их встрече Проханов заключил, что к напиткам Обрывков не очень благоволит. А когда они стали встречаться чаще, Проханов убедился, что ошибся: Обрывков не питал отвращения к спиртному.

План Проханова претерпел некоторые изменения. Он стал под всяким предлогом приглашать Обрывкова к се-

бе, а каждая встреча заканчивалась попойкой. Но Обрывков этим не ограничился: через полгода он уже «употреблял» в одиночестве. Деньги, вырученные от продажи картины, таяли не по дням, а по часам.

Но события между тем шли той самой колеей, которую наметил Проханов. Ровно через четыре месяца после продажи своей картины Обрывков явился к нему и смущенным голосом предложил приобрести новую картину. Проханов самым искренним тоном — а это он умел — дал понять, что и рад бы, но никак не может; нет у него средств, чтобы заплатить за картины своего молодого друга именно той ценой, какую они заслуживают.

Обрывков был огорчен до чрезвычайности, чем воспользовался Проханов. Он понимал, что, если подопечный его сопьется, цель достигнута не будет. Надо сломить волю Обрывкова, разрушить ее, а потом уже вылепить человека по своему образу и подобию.

И как раз в тот день, когда Обрывков явился с новой картиной, Проханов решился на крайние меры.

Он предложил Косте поселиться в своем доме вместе с матерью. А чтобы молодой друг не думал, что он в тягость, пусть его мать помогает по дому, и они будут квиты.

После некоторого колебания Обрывков согласился.

Обрывковы заняли в огромном доме одну из комнат. Вскоре в городе распространился слух, что священник «из христианского милосердия» уступил угол какому-то художнику, которого выгнали из учебного заведения за то, что он славил бога.

Вокруг Обрывкова создалось нечто вроде ореола. Ему стали кланяться незнакомые старушки, за его спиной раздавался уважительный шепот.

Все это сначала смущало, а потом стало нравиться. Почтительность и заискивание кружили голову. Такое отношение к себе Обрывков чувствовал впервые. Уважение к себе возрастало, но вместе с этим росла и самонадеянность, что обычно случается с людьми неуравновешенными.

...В доме священника Обрывковы прожили около года, срок вполне достаточный, чтобы в соответствующем духе обработать подопечного. Проханов исподволь стал убеждать своего молодого друга, чтобы тот поехал

учиться в духовную семинарию. После ее окончания совсем не обязательно получать приход и зарабатывать кусок хлеба службой в церкви. Главное — завершить образование. Он будет вращаться именно в той среде, которая ему нужна.

Правда, духовная семинария — это не институт. В ней строгие правила, и слушатели там почти изолированы от жизни. Но разве его молодой друг настолько слаб и малодушен, чтобы, скрепив сердце, не преодолеть во имя большей цели все препятствия и не выйти победителем из трудностей?

Сначала Обрывков наотрез отказался: он не собирался стать святошей.

Хотя слова эти и звучали оскорбительно, но Проханов стерпел. Стерпел и не отступил. Он действовал осторожно, избегал назойливости.

Немалую роль сыграла и мать художника. Лаской, слезами, упреками она добилась своего.

Дело кончилось тем, что Обрывков не выдержал, согласился наконец учиться в семинарии.

Проханов даже виду не подал, насколько был обрадован этим. Он немедленно сообщил обо всем епископу В Петровск прибыл Константин Разин — казначей епархии, чтобы познакомиться с Обрывковым.

Обрывков пришелся по душе и Разину.

— Истинный богослов-семинарист,— сказал он, глядя на длинные, спадавшие клочьями волосы художника. — Готовь, сын мой, документы и рекомендацию.

Из Петровска выехали втроем: Обрывкова сопровождали Проханов и Разин.

Епископ обласкал нового кандидата в семинарию, а вместе с ним и настоятеля Петровского собора. На радостях он наградил Проханова наперсным крестом за старание и верную службу. Прием был царский. Высокое духовное лицо снизошло до троекратного лобзания с будущим семинаристом и лично благословило его на путь вечной благодати.

Обрывков был немало смущен и удивлен всей этой пышной церемонией. Но яд, впущенный в его душу умелой рукой, действовал безотказно. Наблюдая за своим питомцем, Проханов полагал, что Обрывков не свернет с пути, на который его толкнули и, как он надеялся, пойдет по нему до конца.

Глава шестая

«БИТВА С ДЬЯВОЛОМ»

Это было как раз в то время, когда Иванин, воспользовавшись отъездом настоятеля в Москву, куда тот повез «недоноска», как отзывался молодой священник об Обрывкове, развернул бурную деятельность.

— Каждому свое, — ухмылялся он, думая о Проханове, который пекся о долголетии церкви. Иванину же было «наплевать с высокой колокольни», останется ли жить святая церковь после его смерти или она тоже прикажет долго жить. Лишь бы сейчас ему было хорошо, легко и вольготно.

Когда Проханов возвратился из Москвы и узнал, что младший священник приобрел легковую машину на деньги, взятые из церковной кассы, куда до сей поры имел доступ лишь один настоятель, Проханов пришел в ярость.

Иванин едко заметил:

— А мы, гражданин Проханов, живем в советской стране, где равноправие контролируется законом.

— Молокосос! Плевать я хотел на законы. Церковь отделена от государства. У нас свои законы и порядки.

— Кто сильней, тот хапай больше? — улыбнулся Иванин. — Откуда вам вообще известно, что я слабый?

Это был откровенный вызов, и настоятель ответил на него. Левой рукой он неожиданно нанес Иванину удар в солнечное сплетение. Этот предательский удар был давно проверен. Иванин, охнув, как подкошенный повалился на землю. Проханов бросился к противнику. Он ударил его пинком под ребра. Раз, второй, третий, и бил младшего священника до тех пор, пока его не оттащил от бесчувственного тела конюх.

В горячке, правда, и Егору досталось, но конюх не относился к числу обидчивых. Он, правда, не посмел поднять руку на самого настоятеля, но и не допустил убиения «вороного», который пришелся ему по душе.

Иванин лежал в постели около трех недель, не признавшись, кто его так изукрасил, даже жене. Конюху Егору он посоветовал держать язык за зубами до поры до времени, ежели он вообще хороший человек и желает ему добра.

У Иванина был свой план мести. Он его разработал, когда лежал больной.

Иванин чувствовал, что у Проханова прошлое нечисто, он не приемлет и ненавидит все новое, с чем волей-неволей приходится сталкиваться. Но открыто настоятель выступить не смеет. Видно, тертый калач. Наверняка побывал в переделках, научился осторожности и действует так, чтобы комар носа не подточил.

Иванин был уверен, что у такого человека, как Проханов, никогда не будет неприятностей с представителями закона. Он хорошо знает законы.

Нет, голой рукой этого человека не возьмешь. Проханов крепко вцепился в петровскую землю, здесь вся его братия, здесь для него все свои, всех он купил и держит в кулаке. Его, конечно, боятся и связываться с ним опасаются. Надо отколоть этих людей, объединить их против настоятеля, только тогда и можно выбросить его с земли, в которую он давно уже пустил корни.

Иванин вспомнил, как возмущаются прихожане жадностью Проханова, который повысил на каждый обряд цены и придерживался твердого правила: если у верующего не хватит даже рубля — не станет ничего делать. Если прихожанин роптал и выражал недовольство, настоятель равнодушно отвечал:

— Поезжай в другой собор, там дешевле...

А ехать далеко, лишние затраты. Волей-неволей приходилось выскребать карман или же лезть в долги. Некоторые, правда, отказывались от услуг священника, но такие редко встречались: Проханов знал, как с кем поступить, и промахов в этом отношении не делал.

Молодой священник решил, что отныне он резко снизит взимания за услуги, чтобы слух об этом распространился среди мирян. Надо сделать так, чтобы шли к нему, а не к Проханову.

Иванин знал, что настоятель собирает столько яиц, что съесть или сбыть их на рынке нет физической возможности. Тащат ему со всего района.

Проханов нашел довольно практическое применение яйцам и другим продуктам, которые доставляли ему прихожане: кормил ими свиней. Но больше двух-трех свиней держать нельзя, противозаконно. И Проханов нашел выход. Он покупал поросят, отдавал их своим приближенным, снабжал кормом, и те выхаживали для него

скотину. А когда подходило время, он назначал твердую цену, какую ему должны выплатить после продажи. Цена эта была несколько снижена. Расчет простой: что останется — помощник может брать себе.

Проханов отлично понимал, что принцип личной заинтересованности действует, как правило, безотказно. Эта заинтересованность повышает к тому же и уважение к благодетелю, хотя эти люди и без того преданы ему душой и телом. Он и корма скоту выдавал значительно больше известной ему меры, порой наполовину увеличивал рационы, чтобы дать возможность откармливать свою животину и тем, кто служил ему. Эти подачки не стоили отцу Василию ни гроша, зато еще больше привязывали к нему людей.

По подсчетам Иванина, Проханов содержал четыре коровы, пятнадцать-двадцать свиней в год, а кур и овец трудно подсчитать. Откармливались они по деревням.

...План Иванина был продуман со всей тщательностью.

Когда священник поднялся на ноги, он немедленно приступил к выполнению задуманного.

К нему действительно пошли прихожане. Что же касается фининспектора, то сначала ничего не вышло: не удалось доказать, что откармливаемые по селам животные принадлежат Проханову.

После первой неудачи отец Николай послал письмо в финансовые органы. Там наконец обнаружили, что настоятель во много раз уменьшает доходы, чтобы меньше платить налогов. Проханов был наказан штрафом и увеличением налога.

И все было бы хорошо, если бы Иванин сам не просчитался. Он уверился в собственной правоте и силе, поэтому забыл об укреплении тыла. А именно этот тыл и подвел молодого священника.

Как-то он довольно поздно закончил утреннюю службу. Но случилось так, что ушел он не сразу.

Как раз в этот момент вошел настоятель. Молодой священник находился в алтаре и еще издали заметил Проханова, но сделал вид, что не видит его.

Проханов направился в алтарь и прямо с ходу правой рукой вцепился Иванину в волосы сзади. Рванув

к себе его голову, он нанес ребром левой ладони сильный удар по шее.

В глазах у Иванина помутилось, но он все-таки сумел освободиться. Началось побоище... Тяжело дыша, они стали кружить по алтарю, нанося друг другу удар за ударом.

Иванин только сейчас почувствовал, насколько силен и опытен Проханов. Седина и шестидесятилетний возраст оказались такими обманчивыми...

Ударом ноги Проханов сбил с ног Иванина и навалился на него сзади.

Бил он умело, расчетливо, чтобы не оставлять следов. Бил под ребра, в затылок, в живот, а когда Иванин совсем уже ослаб и прекратил сопротивление, Проханов повернул его на спину и стал глумиться.

Иванин начал истошно кричать. Он понял: его сейчас убьют.

В церковь ворвались прихожане. Они обомлели, увидев дерущихся священников. Но все-таки бросились их разнимать. У Иванина пошла горлом кровь.

Когда их разняли, молодой священник побрел домой. Кровь он кое-как остановил, а потом схватил маленький чемоданчик с документами и устремился в милицию.

В райотделе немедленно составили акт, Иванин тут же подписал его. Но дежурному офицеру зачем-то понадобился паспорт. Иванин отдал свой документ и тут же понял, какую глупость допустил.

Дежурный обратил внимание на графу «невоеннообязанный».

Он вытащил лупу, а потом, медленно опустив увеличительное стекло, встал и строго спросил:

— Военный билет с вами?

Отец Николай замешкался и совершенно непроизвольно сделал шаг назад, чтобы уйти.

Офицер приказал задержать священника. Чемоданчик с документами оказался в руках дежурного райотдела милиции. Он насмешливо спросил:

— Разрешите?

Иванин забормотал побелевшими губами:

— Пожалуйста, пожалуйста, гражданин лейтенант.

Эти его слова вызвали и новый пристальный взгляд дежурного. Он спросил:

— Никак еще не отвыкнете?

— Не знаю... Виноват, не отвык.

— М-да,— и офицер извлек военный билет.

Снова в ход пошла лупа.

Картина вскоре прояснилась. Паспорт и военный билет оказались подделанными, и притом грубо, по-мальчишески. Старый груз явно перетянул...

Офицер сухо произнес:

— Ваше, конечно, право действовать через суд в отношении нанесения вам телесных повреждений со стороны настоятеля церкви Проханова, но я, гражданин Иванин, вынужден привлечь вас к ответственности за подделку документов. Вы — гражданин Советского Союза и несете наравне со всеми гражданами уголовную ответственность за совершенные преступления.

Иванин пытался защищаться, но дежурный заметил:

— Во внутренние дела церкви мы не вмешиваемся, хотя, если уж говорить откровенно, нашей советской общественности не мешало бы понаблюдать за вашими делами. Соответствующие меры мы примем, а вас вынужден сначала направить в больницу, а потом задержать до выяснения.

Вскоре его отправили в областной город.

Позже, однако, стало известно, что Иванин не был привлечен к уголовной ответственности.

Но если Проханов не ведал, как удалось выкрутиться Иванину в следственных органах, зато он хорошо знал, что произошло в епархии, когда явился туда отец Николай. Молодой священник встретился с епископом Никодимом и вышел от него ухмыляющимся. Епископ долго бегал по кабинету и ругался... Ругался владыко в бессильной злобе, чем ошеломил даже отца Константина. Такого еще не случалось с преосвященным...

Отец Константин смекнул: у этого пройдохи Иванина, видно, не так уж мало сил. На всякий случай личный секретарь преосвященного почтительно раскланялся с отцом Николаем. С такими людьми лучше не связываться...

Через две недели священник Иванин с семьей выехал в другую епархию. Он получил приход как настоятель. Сильным в епархии почет.

...Вся эта история имела некоторый резонанс и в Петровске. Однажды сюда лично пожаловал епископ. Он долго совещался с Прохановым. Задержался до ночи, а потом заночевал у него.

На второй день среди прихожан стал распространяться упорный слух, что отец Василий бился не с отцом Николаем, а с самим дьяволом, принявшим образ духовного отца.

Кликуши поработали на славу.

Глава седьмая

ДЕСЯТКОВ БОРЕТСЯ

После всех этих бурных событий кончилась для Проханова полоса удач.

Как только отбыл из Петровска Иванин, столь симпатичный церковному конюху и прихожанам священник по прозвищу «вороной», в город прибыл «почтенный старец отец Иосиф». Создавалось впечатление, что отец Иосиф сидел на чемоданах и специально ждал, когда уберется из Петровского собора Иванин.

Священнику Десяткову в то время сравнялось уже семьдесят лет. Был он высок ростом, худ и бел, будто его всю жизнь стирали и выбеливали. Всем он понравился тихой ласковостью и личной неприхотливостью. Веселый балагур и в то же время мягкий, приятный собеседник. Правда, на него порой нападал буйный «стих», но, по словам Марфы Петровны, «время громыхания» длилось у него не слишком долго. В минуты «громыхания» он был шумлив и упрям, но потом внезапно стихал и становился ясен и прозрачен, как его синие глаза, улыбчивые, с мягкой смешинкой и очень к себе располагающие.

Замечены были и странности. Служил новый священник как-то небрежно, будто шутя, и всегда спешил. А потом уж совсем непонятное произошло. Как-то к нему явилась старушка с довольно взрослой внучкой, учившейся не то во втором, не то в третьем классе, и попросила окрестить девочку.

Священник обратил внимание на ее заплаканные глаза.

— Отчего же это мы плачем? — он смахнул слезу с ее бледной щеки. — Так как же? — мягко повторил он свой вопрос.

Девочка, насупившись, молчала.

Старушка злобно дернула за руку внучку.

— Чего молчишь? Отвечай батюшке...

— Не надо, не надо так. Она же дитя, — остановил священник старушку.

— Учить их, нехристей, надо. Сей минут целуй батюшке руку!

Десятков изменился в лице.

— Что вы делаете? Разве можно к этому приучать ребенка?

Старушка опешила.

— А как же, батюшка! Ведь смолоду нас этому учили...

— То вас учили, а сейчас другие времена, — и он снова обратился к девочке: — А ты сама-то хочешь креститься?

У девочки глаза наполнились слезами. Она молча отвернулась от священника.

—Эх, старая, старая!—Десятков вздохнул.—И сколько вас таких на свете?

Старуха совсем ничего не могла в толк взять.

— А ведь она большая, — укоризненным тоном продолжал Десятков.—Умишко-то еще малый у нее, да свой. Ты ее-то спросила?

— А как же, батюшка. Сказала ей, сказала. Только, вишь ты, не желает. Пионерка, говорит, нельзя ей, засмеют ее, дуру...

— Вот оно что! А галстук где? — обратился отец Иосиф к девочке.

Девочка расплакалась.

— У у нее. Она... она сорвала... Сорвала его. Грех, говорит... Дьявольские знаки ношу... А я... я не хочу... Не хочу крест носить. Мальчишки меня дразнят, свистят на меня, за косу-у дергают. Не хочу я!

Она с неожиданной силой выдернула руку из скрюченных пальцев старухи.

— Вот что, старая. Неволить девочку не смей. Наш с тобой век прошел, куда ты ее тянешь? А галстук носи, носи, не бойся. — Он погладил девочку по голове.

С той поры среди паствы пополз слух, что к ним в церковь прислали какого-то странного попа.

О пересудах узнал наконец и настоятель. Он спросил Десяткова:

— Отец Иосиф, правду говорят, что будто вы не стали крестить эту девочку?

Десяткова ничуть не смутил этот вопрос. Было видно: он ожидал этого вопроса и готов ответить на него.

— Правда, отец Василий. И строго-настрого наказал глупой старухе, чтоб не смела неволить ни девочку, ни кого другого. Да и как можно иначе? Кулаком веру не вбивают. Уж не обессудьте, мнение мое твердое на этот счет.

Наступило молчание. Десятков с каким-то детским любопытством смотрел на настоятеля, ожидая, что он скажет в ответ. А тот тяжело дышал, смотрел куда-то в сторону и молчал.

Молчание затянулось. Разговор происходил во дворе, за церковной оградой. Они уютно уместились на скамейке под мощной шапкой тополя и почти касались плечами друг друга. Со стороны — мирно, тихо и ласково ведут беседу два престарелых священника, но ни тишины, ни мира не было в душах этих людей. Тревога и беспокойство прочно завладели обеими этими душами... Мир оставил эти души.

Отец Иосиф хотел уже встать, но чувство деликатности и почтения к старшему удержало его. Пришлось Десяткову терпеливо ждать.

Нарушил молчание Проханов.

— Да, отец Иосиф... Непонятный какой-то случай.

— А что ж его не понимать. Я действую согласно совести своей.

— Помилуйте, отец Иосиф! Сами-то вы в здравом уме?

— А как же. Рассудок мой ясен и здоров, хоть тело и дряхло. Годы, годы, отец Василий, что поделаешь?..

— Ах, оставьте, прошу вас. Как вы не понимаете: если мы будем так действовать и дальше—останемся без прихода. Куска хлеба некому будет подать.

— Ну, отец мой, я так не думаю. На наш с вами век хлеба хватит. И чего уж греха таить, не только ведь хлебом насущным питаемся.

— Жаловаться пока не приходится, живем безбедно, только надолго ли?

— Вот и я о том же думаю. Долго ли будет терпеть нас с вами государство наше?

Проханов резко выпрямился.

— Вы это о чем?

— О нас с вами, отец мой.

— В каком это смысле?

— Да в самом прямом. В самом что ни на есть прямом. Мы с вами стоим поперек пути людского...

Проханов тяжелым, пристальным взглядом окинул суховатую, согбенную фигуру Десяткова.

— Отец Иосиф! Вы верите в дело, которому служите?

Десятков встрепенулся, оживился, но, взглянув на собеседника, как-то сразу потух.

— Позвольте и мне спросить вас, отец Василий. Этот вопрос задан с намерением сообщить мой ответ епископу?

— У меня от владыки секретов нет. Да и как иначе? Вы меня должны понять, почтеннейший отец Иосиф...

— Конечно, конечно, — миролюбиво произнес Десятков. — Вы настоятель. Я тому не судья. А ежели ответить прямо на ваш вопрос, отец мой, то... Нет, не верю. И давно уже не верю.

Проханов драматично схватился за грудь.

— Так какого же вы?!. — он перекрестился. — Прости мою душу грешную.

— Я понимаю, понимаю, отец мой. Вы хотите спросить, зачем же я в церкви? А я отвечу. Уж лучше я, чем какой-нибудь фанатик бездумный.

— Но почему?! Господи боже мой! Вот не думал, не думал вести такой разговор на старости лет.

— От меня вреда людям меньше. Нет-нет и удержу кой-кого от трясины. Направлю на путь истинный...

Проханов снова перекрестился и сурово спросил:

— А что вы называете путем истинным?

— Путей истинных много, отец мой, кому какой посоветуешь. А ежели молодой запутался, так я на школу ему указую перстом. Пусть себе учится, ума набирается. Зачем ему церковь? Она для старушек, пусть они к нам ходят, если нет другой утехи. Так-то вот, полагаю, лучше будет. Блюду человеческую совесть, отец Василий. Блюду и блюсти буду.

Проханов смотрел на Десяткова широко раскрытыми глазами. Никогда еще в своей жизни он не был так изумлен. Да разве о таких вещах говорят? Мало ли что в голову не приходит. Нельзя так откровенничать в его положении.

Десятков вздохнул, потом стряхнул невидимые пылинки со своей рясы.

— Уж вы, голубчик, не сердитесь на меня. И позвольте задать и мне вопрос.

— Я слушаю...

— А вы сами, отец Василий... Верите ли вы во всевышнего?

— Вы шутить изволите?

Проханов попытался улыбнуться, но чистые, будто дождем вымытые глаза отца Иосифа смотрели на него так проницательно и понимающе, что улыбка не получилась.

— Боже меня избавь! — как-то даже испуганно заверил его Десятков. — Как можно! Совсем не хочу шутить на столь важную для нас обоих тему.

— Ну что ж, отвечу. Верю в господа бога нашего, верю в его всемогущество, верю в начало и конец света. Верю, потому и служу.

— Вот как! — Десятков покачал головой. — А я, отец мой, совсем другое слышал от протоиерея Кутакова.

Вот оно! Проханов почувствовал, что задыхается. Он так качнулся, что отец Иосиф, охнув от неожиданности, ухватил его за плечи.

— Батюшка! Отец Василий! Да что, что такое с вами?

Проханов резко освободил плечи от рук Десяткова. Решительно поднялся и, стоя, спросил в упор:

— Откуда вы знаете отца Александра?

— Как откуда, отец мой? Оттуда же, откуда и вы... В лютую годину отец Александр предлагал мне приход, только я отказался.

— Ну и что?

— Все, отец мой. Кутаков много раз говорил со мной, советовался, грозил даже, что немцы расстрелять меня могут. А я согласился: пусть стреляют, только служить им я отказался. Мне терять было нечего, я свое отжил.

— Это меня не касается, — резко оборвал Десяткова Проханов и, потеряв осторожность, со страхом и нетерпением спросил: — Обо мне, обо мне он что рассказывал?..

Десятков смутился. Врать он не умел, а правду сказать не решался. И он уклонился от ответа.

— Ничего особого. Рассказывал о душевных муках ваших.

— Ну, ну? Говорите! Что вы... будто рукав жуете!

— Не надо со мной так разговаривать, отец мой. Я ведь постарше вас...

— Но я хочу знать, что конкретно рассказывал вам отец Александр.

Десятков искренне огорчился; он сожалел уже, что затеял этот разговор.

— Ну, ладно. Скажу. Он был уверен, что вы, отец мой, безбожник Только запутались, закрутились, ошибок наделали. Я, если уж говорить откровенно, надеялся найти в вас единомышленника, а вот поди ж ты... значит, я ошибся.

Огромным усилием воли Проханов заставил себя сесть и горестно склонить на руки свою седую голову. Не так уж глуп и наивен этот старец. Этот человек просто опасен.

Все это вихрем пронеслось в воспаленном мозгу Проханова.

Он мучительно искал выхода из ужасного положения, в котором оказался, и не находил его.

Между тем эту наигранную позу, которую он принял помимо своей воли, подсказал ему не ум, а инстинкт самосохранения.

И как ни странно, эта его поза помогла.

Десятков по простодушию своему принял искусственный жест за настоящее глубокое отчаяние. Ему стало жаль настоятеля, захотелось помочь этому человеку.

— Не убивайтесь, не убивайтесь, отец мой. Никто не огражден от ошибок. Мы их много совершаем, на то мы и люди. Возьмите себя в руки, и все будет хорошо. И я был когда-то в отчаянии. Горько сознавать, что жизнь свою прожил впустую. Я ведь ничего не умею делать. Ничего. Хоть и не верю ни в бога, ни в черта, ни в рай, ни в ад, а вот служу. Надо же чем-то кусок хлеба заработать, себя кормить, супругу свою. Просить пенсии у государства не имею права, ничего хорошего ему не сделал. Идти за штат, хлопотать через епархию... Нет. Не хочется. Решил до конца тянуть, пока не свалюсь. А жить мне осталось недолго. Сердце мое совсем поизносилось, отец мой. Вот так-то.

Десятков мягким отеческим жестом погладил рукой по плечу Проханова и вдруг заметил, как оно задрожало под его сухой старческой ладонью.

Проханов стремительно вскочил и, отворачивая лицо от жалостливого своего собеседника, бросился вон из церковной ограды.

Он задыхался от бессильной злобы, а совсем не от слез.

Но в глубине души Проханов был доволен, что так ловко выкрутился из глупейшего положения, в которое попал по собственной вине. На кой черт надо было лезть с откровенным разговором.

Впрочем, нет худа без добра. Не случись этого разговора, он бы не знал, что рядом с ним живет опаснейший для него человек. Правда, он и не подумает на него доносить, не таков отец Иосиф, но именно в силу своего характера он может проболтаться, невольно выдать его хотя бы через ту же супругу.

Супругу? А может, она давно уже знает все? Ведь такой человек, как Десятков, не станет таиться. Он может облегчить душу и рассказать близкому человеку, что его гнетет и мучит.

Но что же теперь делать? Может быть, Десяткову выхлопотать в епархии пенсию? Сослаться на его здоровье, на слабое сердце, наконец на преклонные лета его.

Это была отличная мысль. С плеч Проханова будто камень тяжкий свалился. Если удастся вырвать для него пенсию — это будет просто великолепно. Пусть уезжает подальше отсюда. У него, кажется, где-то есть собственный дом. Ну да, немцы, как помнится, арестовали его в собственном доме.

Но кто бы мог знать, что тот дерзкий человек, о котором Проханову рассказывали, и этот простодушный старец — одно и то же лицо.

Десятков и раньше среди паствы слыл чудаком, потому что служил в церкви спустя рукава, но после Октябрьской революции Десяткова будто подменили. Он выступал на собраниях, кричал вместе со всеми на митингах «Долой живоглотов!», ратовал за коммунию, с пеной у рта защищал бедноту и вообще «был самый необыкновенный поп из всех попов в мире» — как сказал о нем матрос, которого судьба забросила с Балтики за тысячу километров от моря и сделала предводителем революционной бедноты в уезде.

В Десяткова три раза стреляли из-за угла кулаки, ранили его, два раза горел его дом. От бандитской пули погиб сын Десяткова, один из организаторов коммуны.

Словом, у Десяткова были определенные заслуги перед народом, который строил новую жизнь. Но, как это ни странно, он не прекращал службы в церкви.

Воинственный и живой на людях, отец Иосиф был «смирной овечкой» дома. Полвека прожил он с Марфой Петровной, но не было, пожалуй, более разных людей, чем супруги Десятковы. Решительная, властная, но по-своему добрая, Марфа Петровна почти всегда действовала самостоятельно.

За долгую жизнь с отцом Иосифом Марфа Петровна слишком хорошо изучила мужа, знала его доброту и простодушие, от которых он сам же и страдал. Со своим «слезным», как матушка звала мужа, она натерпелась муки особенно во времена, когда патриарх Тихон не захотел признать советской власти и призывал духовенство активно выступить против «супостатов-большевиков».

Что с ним творилось в те годы! Отец Иосиф, при всем своем добродушии, всерьез вознамерился пробраться к взбунтовавшемуся патриарху и лично уничтожить его. И если бы не болезнь, надолго свалившая отца Иосифа, кто знает, чем бы все это кончилось. Он навзрыд плакал оттого, что был бессилен вмешаться в борьбу. Именно в эту пору Десятков и отошел окончательно от догм православной церкви.

Но вся трагедия была в том, что сама-то Марфа Петровна верила в бога, была всю жизнь очень набожной, а к старости тем более. Она и замуж-то вышла за Десяткова потому, что он был священник. Правда, отец Иосиф происходил из бедной крестьянской семьи и чудом выбился из своей среды. Зато Марфа Петровна вышла из семьи купеческой, состоятельной. И трудно передать, что было с нею, когда она узнала, что ее муж, «слуга господень», сам заявлял, что нет никакого бога на небесах, что все это обман, от которого люди потом будут столетиями ходить красными от стыда и собственной глупости.

Когда началась война, Десятков отправился в военкомат с просьбой послать его на фронт. Работники, ведающие мобилизацией, решительно не знали, что с ним делать, и, наконец, отказали. Десятков стар был, к тому

же у него давно болело сердце, но сейчас это его не останавливало. На его счастье в тот же день он встретился с заместителем председателя райисполкома, который знал его еще по бурному времени двадцатых годов.

Выслушав Десяткова, он сказал:

— Ладно. Оставайтесь здесь, отец. Если понадобитесь, мы вас разыщем. Но никакой самодеятельности, а то я вас знаю... Договорились?

А потом пришли фашисты. Марфа Петровна еще загодя предлагала мужу перебраться к дочери в Казахстан. Но он наотрез отказался уезжать куда бы то ни было.

Некоторое время Десятков не прекращал службы в церкви. Месяца через четыре к нему явились двое гражданских из какого-то церковного союза и предъявили обвинение, что он своими проповедями не прославляет оружие «освободителей».

Разговор был не очень деликатный. С того времени Десятков совсем прекратил службу, ссылаясь на застарелые свои болезни.

С визитом к нему пожаловал Кутаков. Но протоиерей уехал от Десяткова с прыгающими губами и притом слишком уж быстро. Потом он два раза приглашал Десяткова к себе, и все же служить немцам тот отказался. Этот свой отказ он преподнес в таких выражениях, что, если бы не Марфа Петровна, висеть бы ее мужу на первой перекладине.

В Кутакове Марфа Петровна нашла единомышленника. Но человек он оказался надломленный. Почувствовав в ней могучий характер, Кутаков стал с ней советоваться, рассказывать о многих своих трудностях и опасениях. Но даже дружба с протоиереем не спасла Десяткова от крутых мер, которые были применены к нему немецкими властями.

К тому времени отца Иосифа разыскали партизаны, и он стал успешно выполнять задания сначала командира небольшого партизанского отряда, а потом распоряжения стал получать уже лично от Федосякина.

Поручения сначала были небольшие, но потом усложнились. Наконец получил Десятков и ответственное задание: связаться с каким-то «Русским православным братством» и узнать, что это за сборище.

Он честно вознамерился выполнить и последнее задание, но чем же он виноват, если этот подлец бургомистр вызвал его к себе.

Предписание, которое он получил из районной управы, задело и оскорбило священника, поэтому он и ответил дерзко.

К счастью, один из тюремных надзирателей был связным Федосякина. От него-то командир партизанского отряда и узнал об аресте Десяткова.

Иметь своего человека в тюрьме для партизан было огромной удачей. И все-таки пришлось снимать его оттуда, чтобы спасти Десяткова от верной гибели.

Побег должен быть дерзким, притом на глазах у народа.

В распоряжении партизан были три отличных легковых автомобиля немецких марок, которые были захвачены во время операций, но еще ни разу не были в деле. Их-то и решили использовать для освобождения Десяткова.

Тюремный надзиратель сообщил, что получен приказ доставить мятежного священника в резиденцию господина советника фон Брамеля-Штубе.

Операцией руководил Болвачев. Когда тюремная машина, в которой везли Десяткова, замедлив ход, стала поворачивать вправо, навстречу ей, будто бы случайно, двинулся легковой автомобиль, которому нужно сделать левый поворот. Так как в легковых автомашинах ездили офицерские чины и притом немалые, водитель «черного ворона» резко затормозил и тут же свалился на сиденье с простреленной головой. Убит был и офицер, сопровождавший арестованного. Легко справился с двумя охранниками и надзиратель, находившийся внутри тюремной машины. Но когда перед Десятковым распахнулась дверь и ему было приказано бежать к легковому автомобилю, он вдруг заартачился:

— Подождите вы бога ради! — раскричался он на всю улицу. — Дайте мне встретиться с этим Брамелем-Штубе. Я ему покажу, почем сотня гребешков! Вы думаете, я с ним не справлюсь? Разложу под орех! Паук несчастный...

— С ума вы сошли! — тормошил его тюремный надзиратель. — На выстрелы нагрянет патруль. Как цыпленок погибнете.

— А что мне смерть! Зачем жить, когда слова человеческого сказать нельзя. А ведь они, сволочи, бьют себя в грудь: «Мы — христиане».

— Да идите же, идите...

— Но я хочу к советнику.

Надзиратель, схватив в охапку отца Иосифа, потащил его в машину. И как раз вовремя. Выстрелы, наверное, услышала охрана резиденции советника. Из переулка выскочили три мотоцикла с установленными на них пулеметами. Двоих удалось сбить автоматными очередями, а третий мотоциклист успел укрыться за каменной тумбой, на которой обычно клеили объявления. Он успел дать очередь и ранить Десяткова.

Все три машины благополучно достигли лагеря.

...Побег священника вызвал переполох в городе. Это была на редкость дерзкая операция, и произошла она на глазах у горожан, среди белого дня и почти в центре города. Было много шуму, толков, разговоров...

Партизаны спасли священника!.. Это было необычно, удивительно!

«Русское православное братство», с целью привлечь верующих на сторону оккупантов распространявшее слухи, что «коммунисты вешают всех священников», потерпело фиаско... Десятков долго не мог понять, каким образом он стал «важной персоной», а когда до него дошел смысл им содеянного, отец Иосиф мучительно покраснел.

— Попал я в историю, — сокрушенно качал он головой. — Какой же я политик? Просто русский. Люблю матушку-Родину... Нет мне жизни без нее...

Глава восьмая

ВИЗИТ К ЕПИСКОПУ

Весь вечер Проханов не находил себе места. Все его угнетало, все раздражало. А тут, как на грех, когда он шел домой после разговора с Десятковым, навстречу попалась Маргарита. Она не прошла мимо, а проплыла с поднятой головой. Не заметила, не поклонилась, только злобно пробормотала что-то себе под нос.

Вот глупая и скверная баба. Пришлось все-таки порвать с ней; терпеть ее тупость и обжорство было просто

невозможно. Растолстела, опустилась, не женщина, а какое-то животное. Она стала еще более религиозной. Молилась по целым часам. Начинала она со сладостного шепота, а потом все громче, громче и наконец принималась петь. Голос у Маргариты был визглив, слуха, конечно, никакого; псалмы ее, исполняемые фальшивым голосом, да еще с каким-то нездоровым подвыванием, доводили отца Василия до бешенства.

Откупился от нее и выгнал. Вот уже два года Маргарита гадит ему потихоньку, распускает сплетни, скандалит.

Но злобится она не столько на него, сколько на Евдокию, новую его приживалку.

Маргарита дала зарок извести Евдокию. Однажды они даже подрались. Откуда сила взялась у этой тихони Евдокии? Даже с его могучими мускулами Проханов никак не мог разнять своих любовниц — клещами стиснули по рукам и ногам друг друга и только хрипели...

Он выгнал их обеих и проследил, чтобы действительно пошли в разные стороны. И только месяца через два он возвратил Евдокию.

...Мысли о Маргарите на некоторое время отвлекли его от разговора с Десятковым.

И что за время настало? Нет к тебе ни уважения, ни внимания, ни помощи. Совсем не то, что во времена военные. Уж как с ним носились. А сейчас? Каждый, к кому ни обратишься, старается поскорее отделаться от тебя. Даже разговаривать стесняются, кроме, конечно, старушек, которых он ненавидел.

Да, ненавидел. Но не рубить же сук, на котором сидишь. Они кормили его, поили. Проханов понимал, что должен благодарить их; но вместо благодарности — холодное презрение. И не было сил изменить это свое чувство. Особенно оно обострилось последнее время. Его просто мутило, когда он видел слезящиеся глаза, согбенные спины, редкие седые волосенки и, главное, эти изуродованные души, изуродованные такими же, как он, отец Василий.

Что говорить, прав отец Иосиф. Тяжело служить делу, когда не веришь в него. Бубнишь, причитаешь, кривляешься, а на тебя смотрят красными слезящимися глазами и как попугаи повторяют что скажешь. Как их любить, уважать?

Да, нелегко служить делу, в которое не веришь. Тяжело видеть, что служишь отмирающему, уходящему в прошлое. В церковь устремляются только слабые духом. Где-то он читал, кажется у Павлова, что религия только слабым нужна. Истинно так!

Но что же все-таки делать?

Проханов остановился перед столом и вдруг решил: надо немедленно ехать в епархию. Завтра с утра, к владыке. Старик прижимист, просто жаден до нелепости, но все-таки дело с отцом Иосифом нужно завершить, иначе не избежать беды.

Проханов громко позвал Евдокию. Но никто не ответил на его зов.

«Куда ее черти унесли?» — раздраженно подумал он, а потом даже обрадовался: очень хорошо, что ее нет, не нужно объяснять, куда и зачем едет. Евдокия не любила его поездки в областной город, где у него водились «зазнобы».

Захватив с собою легкий саквояж и рассовав по карманам деньги, — деньгами он запасся основательно, без солидного куша к епископу ходить невозможно, — Проханов возвратился в церковь и велел кучеру запрягать лошадь.

Как-то встретит его владыка? Проханов улыбнулся. Сколько лет прошло, но он до сих пор не мог забыть их первой встречи.

...Перед самой денежной реформой Проханов выехал в Москву В патриархии проходил какой-то совет. Его, правда, никто не приглашал, но не таков был Проханов, чтобы «отставать от жизни».

В то время он не носил длинных волос. Во всяком случае, когда он надевал обычный костюм, трудно было угадать в нем священника. Проханов взял билет в плацкартный вагон — он не любил особенно выделяться.

В купе находилось только трое пассажиров. Один из них, обладатель двух объемистых корзин со всякой снедью, как потом выяснилось, бухгалтер, был человек необщительный, неразговорчивый. Он тщательно оберегал свой багаж от посторонних глаз. Когда бухгалтер садился за стол, Проханов и какой-то студент отодвигались от него подальше.

...Поезд покинул станцию поздно вечером, а когда они утром проснулись, в купе было уже не трое, а четверо.

Четвертый их сосед имел окладистую, пожелтевшую от времени седую бороду, носил длинные волосы, говорил нараспев, сильно «окал» и всем решительно не понравился. Может быть, оттого, что был он неряшлив, грязен и весь как-то засален? Или от привычки пристально смотреть на человека долгим, туповатым взглядом? Глаза у него были навыкате, белесые и походили на рачьи. От нового пассажира к тому же дурно пахло, весь он лоснился от жира, слипшиеся его волосы клочьями свисали на плечи.

Желания разговаривать с ним ни у кого не было; да и вообще с его появлением все трое, не сговариваясь, прекратили беседу, только изредка обменивались незначительными фразами.

Так прошло утро, прошло обеденное время, а ближе к вечеру случилось происшествие. На каком-то из разъездов поезд резко затормозил. С верхних полок посыпались узлы, свертки, чемоданы. Чемодан Проханова при падении раскрылся, а у студента вообще рассыпался вправх, потому что он был самодельный, ветхий и замка никогда не знал. Пострадали вещи и счетного работника.

Первый порыв в таких случаях — скорее собрать вещи. Но соседи Проханова, да и сам он, пальцем не шевельнули и глаз не могли оторвать от пола. Вперемешку с вещами на полу валялись деньги. Огромная сумма денег в толстых пачках, грубо перевязанных бечевками. Каких только купюр не было: сотни, пятидесятирублевые, тридцатки. Но больше всего было сотенных.

Все это богатство принадлежало длинноволосому пассажиру. В первую минуту он обомлел, а потом вдруг спрыгнул прямо со второй полки и стал подгребать под себя пачки денег, а заодно и ему не принадлежавшие вещи и кричать тонким голосом:

— Не подходите ко мне! Не подходите ко мне!

На крик сбежались пассажиры из соседних купе. Сначала они изумленно перешептывались, потом шепот перешел в возбужденный говор, и вдруг словно прорвало всех. Поднялся шум.

— Милицию надо. Жулик какой-то.

— А вдруг банк ограбил?

Да нет. На банковских печатные обозначения суммы должны быть. Знаю.

А владелец денег будто разум потерял. Он стоял на коленях, суетливо-судорожными движениями рук бросал пачки денег в простую объемистую корзину, в которой обычно колхозники возят на базар гусей, только изнутри она была обшита клеенкой, и все тем же тонким бабьим голосом восклицал:

— Не подходите ко мне! Не подходите ко мне! О господи! Спаси мя и помилуй.

«Никак, слуга богов, — догадался Проханов. — Но какой же дурак так возит деньги?»

Наконец корзина была полна, а пачек оставалось много. Раньше, наверное, они были сложены аккуратно, а тут их бросали как попало. Оставшиеся деньги пассажир начал засовывать за пазуху.

Потом он поднялся и, сминая ногами вещи, стал пятиться в угол купе, словно на него вот-вот набросятся.

На ближайшей станции кто-то сбегал за милицией. В вагоне появился капитан в сопровождении старшины.

— Гражданин! — строгим голосом сказал капитан.— Предъявите документы.

Герой происшествия долго шарил за пазухой и наконец извлек бумаги, завернутые в носовой платок, пропитанный потом.

Капитан раскрыл паспорт. Молча прочел его. Потом стал внимательно читать бумагу.

— Протоиерей?!

Проханов же сгорал от любопытства — что будет дальше? Пассажиры, плотной стеной окружившие милиционеров, с интересом наблюдали за этой сценой.

— Протоиерей — это наверняка генерал у них... — несмело вмешался один из пассажиров и оглянулся на старшину.

Старшина смешливо прищурился и дернул плечом; жест означал: кто их разберет.

— Нет. Генерал — это многовато. Полковник, поди... — и капитан обратился к протоиерею:

— Откуда у вас столько денег?

Высокочинный однорясник Проханова ответил не сразу. Он по-прежнему сидел в углу купе, с трудом втиснув грузное тело между столиком и стеною, и будто завороженный смотрел на офицера милиции.

Я спрашиваю: откуда у вас столько денег?

— Слуга господень я. Мои то деньги. Мои, трудом заработанные, — ответил наконец протоиерей, налегая на «о».

— Тяжелый, видать, труд у слуги господнего, — саркастически заметил кто-то.

— Прошу без реплик,—строго сказал капитан и снова обратился к пассажиру. — А едете куда?

— К сыну направляюсь. Махонькую дачку построить хотим.

«Махонькая дачка» рассмешила пассажиров. Капитан тоже рассмеялся. Только старшина скупо улыбнулся.

— А кто ваш сын?

— Лицо духовного звания.

Офицер повертел документы в руках, подумал и возвратил их владельцу.

— Можете ехать, гражданин Макаров. Всё, граждане. Прошу разойтись.

...Пассажиры расходились нехотя. Долго еще в вагоне был слышен возбужденный говор.

А протоиерей продолжал сидеть в углу купе, прижимая к себе корзину.

— Всю жизнь работаю, — заговорил вдруг бухгалтер. Он обращался только к Проханову и студенту и даже не взглянул на преподобного отца. — Бухгалтер я, копейку государственную блюду, а за двадцать лет службы, за все двадцать лет мне такие деньги и во сне не снились.

Он помолчал, постукал пальцами по столу и вдруг стал выкладывать на стол содержимое корзин.

— А ну, придвигайтесь поближе. — Он дружелюбно улыбнулся. — Давай, давай, чего мнетесь...

Он подмигнул соседям и, подняв глаза на протоиерея, сказал:

— Кушайте, святой отец. А то ведь умрете, на деньгах сидючи.

Протоиерей поломался для приличия и, перекрестившись, принялся за еду. Ел он торопливо, жадно чавкал и глотал, почти не прожевывая. Он вскидывал свои рачьи глаза на бухгалтера, старался изобразить на своем лоснящемся лице благодарную улыбку и беспрестанно кивал головой, что, наверное, обозначало поклоны.

Смотреть на него было неприятно, но Проханов смотрел глаз не спуская. Кажется, первый раз он так вот критически смотрел на самого себя. Не думал Проханов, что они так вот отвратительны.

Герой дня наконец насытился и всем корпусом отвалился от стола, не забыв изобразить на лице улыбку и поклониться. Перекрестившись, он долго потом ковырялся в зубах. И вдруг протоиерей забеспокоился, стал рыться в карманах и наконец выложил на стол пятьдесят целковых.

— Возьмите. В знак особой моей признательности,— сказал он, обращаясь к хозяину корзины.

Бухгалтер резко выпрямился.

— Благодарю за милость, батюшка. Только денег мы не берем. У нас, у русских, за хлеб-соль чистоганом не платят...

Кончиками пальцев бухгалтер смахнул на колени священника ассигнацию.

Ровно в девять часов утра Проханов уже входил в небольшую приемную епископа. За столом сидел невысокий мужчина лет пятидесяти, в светлой рясе, с холеным круглым лицом и с не менее холеными, пухлыми, но суетливыми пальцами. Он приятно улыбнулся Проханову и поднялся ему навстречу.

Константин Разин — личный секретарь архиерея, его казначей и ближайший доверенный — был значительным лицом в епархии. Он с поклоном принял из рук настоятеля Петровского собора конверт с обычной для такого случая суммой — законная мзда за услугу «чтобы владыко принял».

— Прошу присесть, отец мой, — ласково произнес казначей и величаво, лебединой походкой удалился за массивную дверь, обитую черным дерматином.

Удивительная и, пожалуй, не совсем обычная для священнослужителя была жизнь у Разина. Он был моложе Проханова, но жизнь его прошла не менее бурно. Происходил он из богатой купеческой семьи, но еще в детстве взбунтовался, убежал из дому, колесил по стране, пока его силой не возвратили в отчий дом.

Разин окончил коммерческое училище, но коммерция ему пришлась не по вкусу, и он ушел в армию вольно-

определяющимся. С помощью отцовского кармана получил офицерский чин, воевал на германском фронте, а когда произошла революция — одним из первых вызвался служить новой власти. В гражданскую он командовал эскадроном. Дрался храбро, его даже наградили орденом боевого Красного Знамени.

После окончания гражданской войны Разин просил демобилизовать его по состоянию здоровья: он имел два ранения.

Рапорт удовлетворили, и тут все раскрылось: Разин поступил на пастырско-миссионерские курсы в Одессе.

Поступок бывшего командира ошеломил его друзей. Никто из них даже не подозревал, что человек этот был религиозен. Свои убеждения он скрывал мастерски. И не только скрывал, но и двоедушничал, выступал с погромными речами в адрес тех, кто пошел вслед за патриархом Тихоном.

Но чем дальше в лес, тем больше дров. Вскоре после посвящения в сан священника Разин неожиданно примкнул к обновленческому движению.

Обстановка в то время была сложной. Патриарх Тихон с самого начала возненавидел революцию и молодое советское государство.

Как только правительство опубликовало декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, Тихон выпустил послание, в котором призвал народ не повиноваться советскому правительству и грозил проклятьем всем, кто признает власть коммунистов.

Однако часть духовенства не пошла за Тихоном. За счет ничтожных преобразований она рассчитывала приспособить церковь к новой политической обстановке.

Наиболее видным деятелем этого движения стал митрополит Александр Введенский. Обновленцы стали в оппозицию к патриарху Тихону и к тем, кто за ним следовал, осуждая контрреволюционную их деятельность. Они хотели быть лояльными к советской власти, но это нисколько не изменило их отношения к самой религии. Обновленцы желали лишь несколько упростить церковное управление, изменить быт духовенства: например, разрешить архиереям жениться, а священникам вступать во второй брак.

Обновленцы сыграли некоторую роль в изменении политики патриаршей церкви по отношению к советской

власти. Когда Тихон понял, что может остаться лишь с ничтожной кучкой фанатиков, он круто изменил свою политику.

Обновленческое духовенство стало возвращаться в «лоно святой церкви».

Патриарх Тихон в 1925 году умер. Рядовые священники, такие, как Проханов, которые не раздумывая пошли за патриархом, не сумели быстро перестроиться.

На совести этого деятеля тысячи загубленных человеческих жизней и надломленных, исковерканных душ... И проклято было само имя Тихона в народе, того самого Тихона, которого сейчас пытается обелить православная церковь.

Кто такой Тихон, Василий Проханов понял слишком поздно.

Разин оказался намного ловчее и изворотливее Проханова. Разин напоминал кошку: как ни брось ее, она все падает на ноги.

Приспособленческая деятельность Разина привела к тому, что он стал совершенно беспринципным человеком.

У двурушника два лица, а у этого было столько лиц, сколько требовала обстановка и конъюнктура.

Долгое время Разин выполнял функции благочинного при епископе молдавском. Эта инспектирующая должность приучила его к взятке. В искусстве брать взятки Разин достиг совершенства, и чем больше он их брал, тем больше росли его аппетиты. Если случались неприятности — Разин выставлял напоказ свое прошлое. Прошлое служило ему отличным щитом.

По строгому вызову Разин являлся в скромной одежде, нацепив орден, и любовался ошеломленным видом того, кто должен был решать его судьбу.

В 1937 году Разин вдруг расстался с церковью: обстановка была невыгодная. Он пристроился комендантом в солидном учреждении. На новой работе его довольно скоро повысили в должности: как-никак орденоносец. Разин стал заведовать крупным хозяйством. Материальные ценности были огромные. Он проворовался. Но Разин и здесь, будто кошка, сумел упасть на четыре лапы и уполз, скрылся в кусты. Каким-то образом он оказался на фронте, получил ранение, а ранение послужило ему реабилитацией.

И опять Разин «на коне». Он вернулся к слубже боговой, одним махом перечеркнул свою обновленческо-приспособленческую деятельность и получил приход. Сначала служил рядовым священником, а через некоторое время подставил ножку своему настоятелю и занял его место.

Фортуна улыбалась Разину; он выкупил должность благочинного, приналег, отстранил кое-кого в сторону в епархии, и вот он уже правая рука епископа, его казначей, личный поверенный и гроза епархии. Поговаривали, что архиерею недолго жить при столь энергичном поверенном. Разин спал и видел себя епископом.

Проханов рассматривал портрет епископа над дверью его кабинета. С портрета смотрел моложавый, с румянцем на щеках, в черном головном уборе и с легким сиянием вокруг головы человек.

Проханов улыбнулся: епископ скромностью не страдал.

— Прошу пожаловать, отец Василий, — мягким воркующим голосом прервал размышления Проханова преподобный Разин.

Проханов вошел, склонился в почтительнейшем поклоне, получил благословение епископа и только после этого взглянул на него. Крупная голова, крупные грубые черты, будто топором вырубленные, крупные морщины, которых не было на портрете, отвислый красный нос от явного пристрастия к зеленому змию, о чем было известно многим в епархии. И голос преосвященного был низкий, трубный, дьяконовский. Во внешности ничего не осталось от того облезлого протоиерея, которого Проханов видел в поезде. Сейчас перед ним сидел человек, милость которого не так уж дешево стоила.

— С чем пожаловали, отец Василий? — спросил он после обычного пристального ощупывания глазами посетителя. — Излагай просьбу кратко. — И эта фраза была обычная, но иногда к ней присовокуплялось добавление: «Мы заняты большими и важными делами». В данном случае обошлось без нее, что означало доброе к просителю расположение. И не удивительно: пакет, переданный Разиным специально для епископа, был набит довольно туго.

Проханов изложил свою просьбу. Он ходатайствует о пенсии отцу Иосифу.

— Пенсии? — удивился епископ и перешел на официальное «вы». — Ну нет, почтеннейший. Почему вы, а не отец Иосиф о ней хлопочет?

— Скромность не позволяет отцу Иосифу что-либо предпринять в этом отношении. Он чист и светел. У него язык не повернется, чтобы изложить свою просьбу перед вами, владыко. Но я свидетельствую: отец Иосиф опасно болен. Сердце!

— У меня тоже сердце. А я не прошу. И просить не стану.

— Но, владыко...

— Не гневите меня, отец Василий. Не гневите. Если отец Иосиф опасно болен, пусть здесь вот, перед моими очами и перед ликом господа бога нашего,—епископ истово перекрестился на роскошный иконостас в углу кабинета, — пусть сам мне изложит свою просьбу.

Никодим встал и протянул для поцелуя свою белую большую руку.

— Прощайте, сын мой. Не прогневайтесь, — он широким жестом перекрестил склоненную голову и спокойно уселся в кресло.

...Проханов шатался, когда выходил из кабинета епископа. На нем лица не было. Проханов был уверен в успехе задуманного, потому что сумма его пожертвования была немалая. Теперь же нет и суммы, нет и успеха в задуманном.

Когда он выходил из ворот епархии, перед глазами отца Василия почему-то совершенно отчетливо встал образ жены Десяткова. Сейчас Проханов был уверен: она знала все, что знал о нем муж из рассказов протоиерея.

«Надо к ним домой. Уговорить отца Иосифа. Сам пусть подаст прошение за штат, — думал отец Василий. — А может, нужно через матушку действовать? Попытать ее, знает ли она обо мне? Если знает хоть немного, надо покаяться, честно рассказать о чем возможно, тронуть женщину, а потом уж уговорить ее повлиять на супруга. Это последний шанс...»

С этим намерением отец Василий и возвратился в город, чтобы начать действовать немедленно. А действовать он умел, причем не любил откладывать на завтра того, что можно сделать сегодня.

Глава девятая

«СВЯТОЙ» КОЛОДЕЦ

Подозрения Проханова были основательными. Десяткова действительно знала о нем. И не только от отца Иосифа. Протоиерей Кутаков многое и ей рассказывал, советовался, жаловался. Знала Марфа Петровна и о том, что немцы прочили Проханова в епископы, а может, и куда-нибудь повыше, но сам он будто бы уклонялся от этого назначения.

Когда с ней разговаривал Проханов, Марфа Петровна сначала держала себя настороженно, но вскоре поняла, что отец Василий — свой человек. Он ласково отозвался о Кутакове, чем растрогал ее, и они долго говорили о нем. Настоятель что-то хотел от нее, но чувство осторожности подсказало Марфе Петровне, что с этим человеком, внешне таким ласковым, обходительным, но совсем не таким на самом деле, надо быть поосторожней. И она не стала пускаться в подробности и рассказывать о расположенности к ней отца Александра. О том, что Кутаков ей говорил о Проханове как о будущем ставленнике немецких властей, она сказать побоялась, но зато сообщила о том, что протоиерей подозревал его связи с партизанами.

Проханов загадочно улыбнулся, но ни подтверждать, ни опровергать ее не стал.

Потом разговор пошел о Десяткове. Марфа Петровна ничего не скрывала: она очень боялась за отца Иосифа, ведь у него больное сердце.

Проханов заметил: если матушка не возражает, он лично потолкует с самим епископом, попросит его дать отцу Иосифу хорошую пенсию и отпустить за штат.

Марфа Петровна даже расплакалась от радости и не знала, как благодарить настоятеля.

Через неделю разговор возобновился. Проханов упомянул, что он виделся с самим преосвященным. Епископ не возражал против пенсии, но хотел, чтобы отец Иосиф сам лично изложил ему свою просьбу. Настоятель советовал: пусть батюшка поедет в епархию и закончит это дело. Не надо откладывать в долгий ящик.

Но Десятков и говорить-то серьезно не захотел.

— Пока ноги носят меня по земле, ни о какой пенсии не может быть и речи.

Как ни просила его Марфа Петровна, муж стоял на своем

Обо всем этом Марфа Петровна передала Проханову. Тот огорченно развел руками.

— Бог ему судья, матушка.

Проханов был спокоен внешне, но это дорого ему далось. Нервы его, наверное, долго не выдержат такого напряжения, тем более, что у настоятеля были и другие серьезные неприятности. Они оказались гораздо серьезнее, чем он предполагал.

По району распространился слух о том, что в селе Плоском найдена «святая» икона. Проханов сделал вид, что удивлен, хотя сам был повинен во всей этой истории.

Дело обстояло так. Копаясь как-то в церковном дворе, он обнаружил старую-престарую икону, полузасыпанную землей. Доска отсырела, набухла, но краски хорошо сохранились.

Он хотел уже бросить ее на полку, но раздумал. В голову пришла блестящая идея. Проханов вспомнил, как Авдотья Тераскина, давнишняя его приятельница еще со времен оккупации, как-то рассказывала, что до революции в их селе объявили «святым» колодец, в котором нашли древнюю икону. К нему началось паломничество, священник стал продавать «святую» воду, «исцеляющую» болезни.

Шум достиг губернского города. Оттуда пожаловал сам архиерей со свитой. Дело приняло широкий размах. Продавать стали не только воду, но и свечи, разные сувениры, даже мыло, на обертках которых красовались картинки с видом колодца.

После революции слава «святого» колодца потускнела. Махинацию разоблачили, колодец оказался самым обыкновенным, и шум прекратился.

А почему бы сейчас не воспользоваться этой легендой и не возобновить утраченную славу колодца? Надо немедленно послать за Тераскиной и потолковать с нею, чтобы определила к месту эту икону и дала ход выгодному делу.

На следующий день явилась Авдотья. Они довольно быстро столковались. Авдотья, женщина смекалистая и разворотливая, уже выполняла не одно его щекотливое поручение.

Проханов прямо заявил: в случае успеха она получит половину доходов. Надо организовать дело так, чтобы власти узнали о колодце как можно позже. Они, конечно, узнают и всю лавочку прикроют, но нужно по возможности затянуть это дело. Если организовать все по-умному, верная сотня тысяч чистого дохода обеспечена. По опыту знал, насколько доходны такие предприятия.

Этот разговор был в начале весны. Всю эту кампанию они решили начать, когда установится хорошая погода, то есть месяца через два.

Но, по всему видать, проклятой бабенке не терпелось, она решила распустить слух пораньше.

Как и ожидал Проханов, началась суматоха. Прихожане взволновались. Начали ходить к настоятелю. То один спросит, то другой. В ответ священник только пожимал плечами: он тоже слышал, но как там и что—толком не знает.

И наконец настала пора самому выехать в село Плоское.

Тераскина была расторопная баба. Но то, что он увидел, превзошло все ожидания Проханова.

Авдотья хозяйничала вовсю. Были подготовлены койки для ночлега, продавались свечи, пузырьки для «святой» воды, крестики. Торговля шла бойко, организованно. Икона, будто бы найденная за срубом колодца, стояла на почетном месте в доме Авдотьи. Вход сюда разрешался только с пожертвованием. Была разработана такса: за лицезрение иконы; за то, чтобы прикоснуться к ней; за молитву Егора, сына Авдотьи, которому будто бы открылась «святая» икона; за пузырьки с водой; за крестики. Здесь же открылось лечение «святой» водой от трех до пяти дней.

Оказывается, Авдотья уже больше месяца орудовала возле колодца, но даже не сочла нужным сообщить об этом Проханову.

Произошло довольно бурное объяснение. Авдотья вела себя дерзко. Бешеные деньги, стекавшиеся к ней со всех сторон, вскружили ей голову, и она решила, что не так уж трудно отделаться от компаньона. Глядя ему в глаза, Авдотья нагло заявила, что никакую икону она у него не получала, ее нашел Егор около колодца. Ежели отец Василий желает благословить это угодное богу дело, пусть сразу же и начинает.

— Допустим, дочь моя! — усмехнулся Проханов, предвидевший и такой вариант объяснения с Тераскиной. — Допустим, что не знаешь меня и видишь в первый раз. Я могу удалиться, но должен предупредить, что отсюда я прямой дорогой направлюсь в такое место, где интересуются прошлым людей, которые побывали при Гитлере и кое-что для него сделали. Пусть будет по-твоему.

Проханов поднялся, но уходить пока не спешил.

Авдотья явно опешила от такого оборота дела, но сдаваться не собиралась. К лицу ей бросилась кровь, и она не выдержала.

— Ну и говори. Что они мне сделают?

— Ничего особого. Просто подарят лет десять и на том удовлетворятся.

— А я расскажу на суде, как ты мне подсунул вот эту поганую мазню.

— Ага, стало быть, я ее отдал тебе?

— Все равно твой номер не пройдет. Вот ты где у меня! — и Авдотья показала сжатый кулак

— Да ну?—Проханов даже руками всплеснул.—Действительно страшно. А можешь ты, Авдотья, доказать, что это именно я, как ты выражаешься, «подсунул вот эту поганую мазню»?

— А что доказывать! Все знают, какой ты есть пройдоха.

— А вот за такие слова я просто-напросто привлеку тебя к ответственности. Это раз! Завтра же я пошлю бумагу в епархию, что в Плоском объявилась некая Тераскина и дурачит народу головы. Копию письма перешлю уполномоченному по православной церкви в облисполком, а может быть, и сразу в прокуратуру. Я напишу, что икону я видел, она никак не может быть святой и приведу кое-какие доводы. В том же письмо я потребую твоего, Авдотья, ареста за это вот жульничество. Присовокуплю ко всему прочему и делишки твои при немцах. Словом, я тебя предупредил. А теперь прощай. Больше, матушка моя, я уж тебя видеть не захочу, можешь быть уверена.

Он двинулся к выходу.

По мере того, как лилась плавная речь Проханова, от лица женщины отливала кровь. Потом у нее скривилось лицо и запрыгали губы. Только сейчас Авдотья поняла,

как опасен этот человек. Как она могла решиться на такой поступок? Бес попутал, никак не меньше...

Перепуганная женщина повалилась Проханову в ноги, обняла их и, заливаясь слезами, стала умолять забыть о ее глупости. Он не спешил поднимать Авдотью. Проханов стоял, смотрел на нее и молчал, будто раздумывая — прощать ее или не стоит?

Нет, прощать он, пожалуй, не станет.

Проханов перешагнул через распластавшуюся на полу подлую бабенку и двинулся к выходу.

Авдотья завыла и поползла вслед за ним на четвереньках.

— Господи! Отец Василий, святой человек! Все возьми... Все забери, до одной копеечки. Только прости Христа ради. В слуги твои пойду, до смерти собакой буду служить, только забудь, забудь...

Она вскочила, метнулась куда-то за печку и вытащила объемистую сумку.

— Бери, бери, отец Василий, и будь они прокляты!

— И это все? — удивился Проханов.

— Вот тебе крест святой! — она упала перед иконой на колени и стала креститься.

Проханов рассмеялся.

— Только что называла ее поганой, а теперь клянешься перед ней. Нет, Авдотья, ты не заслуживаешь моего прощения. Неискренняя ты. Полагаешь, я глуп? Тут всего пять-семь тысяч, а ты целый месяц орудуешь! Зачем мне голову морочишь?

Он перешагнул порог. Вслед за ним метнулась Авдотья.

— Не губи, родимый! Все, все отдам,— поднажала на голос Тераскина и загородила телом дверь из сеней.

Проханов вдруг смял ей кофту на груди, рывком притянул к себе и прохрипел:

— Змея подколодная! Я раздавлю тебя, как мокрицу поганую, если ты не выложишь мне все. Все, до единой копейки. И будешь носить каждую неделю. Сама! Поняла? Или я тебя сгною в тюрьме. Все твои тюремные знакомства знаю. Забыла Королькова, потаскуха несчастная? Так я тебе напомню... Иди!

Проханов повернул ее спиной к двери, ведущей в комнату, и с силой толкнул. Авдотья упала на пол, но даже не охнула. Она тут же вскочила и, подняв крышку

подвала, загремела по лестнице. Через минуту она вынырнула из подвала бледная, с глазами, в которых застыл ужас, и сунула Проханову тугой холщевый мешок.

Авдотье было лет сорок — сорок пять, но она еще не успела располнеть и обрюзгнуть. Сейчас, когда вспышка бешенства у Проханова прошла, женщина даже понравилась ему.

«А ягодка-то еще действительно хороша»,— но, поразмыслив, тут же решил: все впереди...

— И это все? — строго спросил он.

— Все, все, батюшка. Все, до единой копеечки.

— Положи мешок и сумку в простую котомку, завяжи бечевкой и дай мне в руки. И помни! Когда вся эта канитель с колодцем закончится — подсчитаем и разделим, как я сказал. Но если, подлая, обманешь — пеняй на себя. Я слов на ветер не бросаю. Пора бы знать.

Авдотья заметалась по комнате, засуетилась, выполняя желание батюшки, но никак не могла найти нужную вещь.

Руки у нее тряслись, и двигалась она как-то боком.

«Ага,— злорадствовал Проханов.— Пусть помучается, подлая, пусть ночей не поспит»

Он приехал вечером и ночью же решил уехать отсюда, чтоб никто не знал о его заинтересованности во всей этой затее.

Через полтора месяца слух о «святой» иконе дошел и до района. В районе стали думать, что предпринять.

А пока думали да гадали — время шло. А между тем в селе Плоском и его окрестностях стало распространяться какое-то странное заболевание. Подозрение падало на «святой» колодец: ведь раньше из него почему-то не брали воду.

Вскоре картина прояснилась. Оказывается, неподалеку находился скотомогильник. Колодец заражен.

Пришлось срочно принимать меры. В Плоское направили авторитетную комиссию из представителей местной власти и врачей-специалистов. Верующим, собравшимся около колодца, продемонстрировали результаты лечения «святой» водой — женщину с землистым цветом лица, которую привезли в карете скорой помощи к самому колодцу и заставили при всем народе рассказать, что за

болезнь приключилась с ней после того, как она выпила кувшин «святой» воды. Пожадничала, старая...

Для большей убедительности нашлись охотники спуститься в противогазе в колодец и выловить оттуда полуразложившийся труп кошки.

Эта кошка подействовала куда убедительнее, чем перечисление врачей, какие микробы обнаружены в колодце. Обманутые люди бросились к дому Тераскиной, но Авдотья, почуяв, чем пахнет дело, уехала вместе с сыном Егором в Петровск.

Колодец немедленно зарыли.

В тот же день прокурор Афинов подписал ордер на арест Тераскиной.

Но Авдотья зря время не теряла. Она успела добраться до Проханова и обо всем рассказать ему.

Проханов на решения был скор. Он довольно быстро достал откуда-то машину, усадил в нее Авдотью и шепнул:

— С богом!..

Она молча кивнула головой и еще крепче прижала к груди тугой узел, в котором была «законная» половина Авдотьи. На несколько лет безбедного существования хватит.

Если Тераскиной удалось ускользнуть, то с трудом отделался от всей этой истории сам Проханов. Его официально вызвали в райисполком и строго спросили: для какой цели он ездил в село Плоское?

Проханов категорически отрицал какую-либо причастность к этому скандальному делу. С оскорбленным видом он потребовал свидетельских показаний. Кто может подтвердить его участие в компании со «святым» колодцем?

Свидетелей не нашлось: райисполком получил много анонимок, но нельзя же их выдвигать как свидетельские показания, хотя было ясно — местный настоятель, несомненно, приложил здесь руку.

Когда Проханов выходил из райисполкома, у него мелкой дрожью тряслись колени, а по спине струился пот.

А в своей обители случилось новое происшествие. Не успел он возвратиться на церковный двор, как подошел Десятков и, смущаясь, отозвал настоятеля в сторону. Он долго мялся, вскидывал на него глаза, и вдруг эту «божью овечку» прорвало.

— Отец мой, батюшка Василий... Не могу не выразить вам своего возмущения. Как вы можете связываться с какими-то подозрительными людьми вроде этой... Авдотьи?

Проханов почувствовал, как медленно стал бледнеть. Слова Десяткова были сами по себе неожиданными, но особый страх у Проханова вызвала уверенность, что за сараем кто-то стоял и слушал их разговор. Проханов видел тень, заметил даже, как тень вздрогнула, когда заговорил Десятков.

Проханов обессилел и не мог ни остановить Десяткова, ни двинуться с места.

— Ежели вы официально не отгородитесь от этой позорящей нас компании, я буду вынужден поступить так, как подсказывает мне моя человеческая совесть. Я хоть и поп, но человек я советский... А вы... вы, почтеннейший отец Василий, никак не можете порвать ваши гнусные связи...

Десятков стал хватать воздух ртом и заваливаться куда-то назад. Но он не падал, а мелко-мелко семенил ногами и шаг за шагом отступал к забору Прислонившись к нему спиной, Десятков медленно начал сползать на землю. Он все хватал ртом воздух и делал какие-то знаки Проханову.

В первую минуту Проханов не знал, как поступить. Знаки Десяткова были понятны: нужно достать лекарство, которое он, наверное, носил с собой. Но тут же мелькнула мысль: никаких лекарств! Такое легкое освобождение от давнишних забот и тревог. Естественная смерть, не выдержало сердце. Все же знали, что отец Иосиф сердечник...

Проханов стал тихонько отступать от Десяткова, забыв в эту минуту, что они не одни. Он сделал шаг, другой, третий, и вдруг кто-то метнулся мимо него к терявшему сознание священнику.

То была Маргарита. Это она стояла за сараем.

«Боже! Чем все это кончится?»

Тем временем Маргарита присела перед отцом Иосифом. Тут же, впрочем, опомнился и настоятель. Вслед за Маргаритой он бросился к Десяткову.

Гунцева проворно расстегнула кармашек на груди белой длинной рубашки-толстовки Десяткова и достала оттуда пузырек вместе с кубиком сахара. Капнув на са-

хар, она ловко вложила его в рот старика и стала настойчиво повторять:

— Сосите, сосите, отец Иосиф... Вы слышите меня?

Но Десятков не подавал признаков жизни. Маргарита, не пугаясь, надавила на челюсть старика. Сахар хрустнул на его искусственных зубах. Отец Иосиф стал медленно приходить в себя. Он с жадностью смотрел на Маргариту, как не смотрит фанатик на икону святого.

Потом Маргарита помогла Десяткову подняться. Даже не взглянув в сторону отца Василия, стоявшего в неподвижной позе неподалеку от них, они медленно пошли со двора. Проханов так и не сказал им ни слова.

У отца Василия было такое ощущение, что все неприятности собрались воедино и двинулись на него лавиной. Судить его будут за мошенничество, за махинации со «святой» водой.

Не успел Проханов опомниться, как на голову его обрушилось новое несчастье. В Петровск прибыл нарочный епископа с личным посланием, которое приказал передать настоятелю Петровского собора из рук в руки. Никодим в конфиденциальной форме сообщал Проханову, что Обрывков в семинарии буйствует. Он не желает подчиняться строгому порядку, не желает соблюдать никаких постов, считает всех иезуитами и даже заявил своему инспектору-наставнику, что о них всех нужно сообщить в газету. Вопрос с Обрывковым пока еще не решен, но преосвященный опасается серьезных неприятностей.

...Воистину говорят: пришла беда — открывай ворота; видно, бог отвернулся от своего слуги на земле.

Глава десятая

«НЕНАВИЖУ!»

Проханов немедленно выехал в Кранск, чтобы на месте выяснить, что стряслось с отцом Никитой и нельзя ли оказать ему какое-то содействие? Не об Афонине забота, который был его учеником,— в данном случае петровский настоятель думал только о себе.

Проханов вспомнил, что в Кранске у него есть знакомые; они помогут ему.

И знакомые не обманули его ожиданий. Вскоре Проханову принесли письмо отца Никиты, адресованное некоему Егору Ивановичу. Афонин с детства дружил с этим человеком, работал с ним на железной дороге, но потом в их отношениях наступил разрыв, так как приятель Афонина не желал иметь дело с «попом-батюшкой», потому что с юных лет не жаловал церковь и до старости лет прожил безбожником.

...Проханов развернул смятый листок, вырванный из школьной тетради, взглянул на неровные, налезавшие друг на друга строчки, разметавшиеся на листке вкривь и вкось. Он поежился, предчувствуя недоброе... Писались эти строки слабеющей рукой, когда смерть, казалось, отнимала последние минуты жизни.

«Егорушко, любимый мой товарищ, умираю. Будешь читать — меня не будет. Умираю опозоренный, разбитый, без веры в душе.

Егорушко, скажу тебе по совести, нет никакого бога. Я обманывал людей. Казню себя, и нет мне утешения. Все надорвалось, перевернулось после суда, меня пожалевшего. Не жалеть меня нужно, а сжечь, как лютую змею.

За что я перечеркнул хорошую мою жизнь трудовую? Эх, Егорушко! Не увидел я тебя, стыдно было. Рассказал бы, что такое преподобные отцы Василии...»

У Проханова перехватило дыхание — это же о нем!

Нет, никогда отец Василий не праздновал труса, но тут руки его задрожали.

«...Если бы ты знал, Егорушко, как я попал в их сети. Да что там «попал». Сам пришел, а меня и скрутили. Будь они прокляты и будь проклят день, с церковью мя породнивший!

Прощай, мой товарищ. Береги от церкви внуков своих и правнуков. Заклинаю тебя. Нет больше моих си...»

Дальше слов разобрать было невозможно...

Проханов опустил письмо и вытер свободной рукой крупные капли пота, выступившие на лбу.

Так вот каков отец Никита! Предал! Предал, чтобы спасти себя. Нет, просто немыслимо! Неужто он, Проханов, перестал разбираться в людях?

Это уже не первый его промах. Сначала Афонин, потом Обрывков, наконец Марьюшка. Сколько он занимался ею, сколько обхаживал! Так нет же!

Ох, Марья, Марья! Всю душу она ему вымотала. Он не знал даже, как исправить положение. Ее надо вернуть, вернуть во что бы то ни стало; она слишком много знает. К тому же история с ее письмами в редакцию слишком уж нашумела. Не дай бог — снова напишет в газету и признается, как родилась та переписка!..

Да, не вышла тогда их с епископом затея. В лужу сели, и так позорно. Но кто же знал, что на письма будет отвечать этот проклятый Осаков? Первый ответ его — еще куда ни шло — мало ли что напишет один человек, пусть даже бывший профессор богословия. А вот со второй статьей, когда он стал приводить выдержки из других писем, да еще так убийственно их комментировать,— тут уж совсем худо.

Правда, они тогда с Марьюшкой состряпали ответ Осакову, но он, Проханов, хорошо понимал, что третий раз редакция вряд ли станет выступать.

Впрочем, ему с самого начала не очень-то пришлась по душе вся эта затея с письмами.

Конечно, ошибки случаются с каждым; с газетным выступлением они, разумеется, дали маху, но зато он, Проханов, не мог не порадоваться, что пополз слушок, будто профессор Осаков не совсем нормален; от бога он будто бы публично отказался во время острого приступа психоза, потому-де бывший богослов и пишет такие ереси. А разве во всем этом не чувствуется рука дьявола, страшная рука нечистого? Определенно, профессор Осаков запродал свою душу за тридцать сребреников...

Слушок этот ядовитой волной полз от города к городу, от села к селу.

Но Проханову было теперь не до профессора. Его слишком остро волновала проблема — как быть с Марьюшкой? Ею целиком завладела эта проклятая Павлина. Эта крохотная женщина верит искренне, даже фанатично, но люто ненавидит его.

Он пытался поладить с ней, послал ей подарки, но она даже видеть их не захотела, когда узнала, от кого эти приношения.

Вот уже месяцев шесть, а то и больше, Павлина совсем не показывается в церкви, не говоря уже о Марьюшке. После смерти сынишки она ходила как потерянная и, кажется, совсем спилась, опустилась, постарела.

А может, он зря тогда довел ее до такого состояния?

Слишком круто взял, чтобы избавиться от ребенка? Впрочем, зачем ему ребенок? Это уж действительно лишнее. И без того много разговоров среди паствы о его приживалках. Ему даже владыко недовольным голосом намекнул, что надо поосторожней быть с прихожанками. Никто ему не запрещает иметь личную жизнь, но нельзя же ставить себя и церковь под удар!

— Сколько вам от рождения, сын мой? — спросил тогда епископ.

— Шестьдесят пять! — тихо ответил Проханов и потупился, как школьник, получивший нагоняй от директора.

— Шестьдесят пять? Ну, не сказал бы. Десяток спокойно можно сбросить, —продолжал он, приглядываясь и будто прицениваясь к нему.—Право же, можно позавидовать такой мужицкой силище... Свят, свят, свят! В грех с тобой попадешь.

Епископ перекрестился и уже строже проговорил:

— Слишком много анонимок пишут на твои проказы, сын мой. И как-то очень некрасиво с этой... как ее? Ну, та, что писала в газету?

— Разуваева. Марья Разуваева.

— Да, да, вспомнил. Поберегись, сын мой. Пораскинь умом, подумай, как половчей уйти от нареканий. И не медли!

После этого разговора отец Василий пришел к мысли: придется все-таки подарить Марьюшке дом. Вначале он намеревался записать его на ее имя, полагая, что наконец-то остановится на ней и спокойно доживет с ней остаток своих дней. Но потом, когда она начала преподносить ему пилюлю за пилюлей, он раздумал одаривать эту строптивую женщину столь дорогим подарком. Слишком жирно для нее.

Но что поделаешь! Обстоятельства в последние дни так складываются, что скупиться, пожалуй, рискованно. Бог с ним, с этим домом. Надо как-то оторвать Марьюшку от этой невозможной женщины Павлины и поселить ее в одиночестве. Авось забудет дорогу к его ненавистнице, если заживет вольготно. Марьюшку, конечно, надо первое время обеспечить, чтоб она ни в чем не нуждалась. Пусть поживет, подумает, оглядится, может, и возьмется за ум? Только вот пьет она... Слишком она в этом активна. Не рассчитал малость. Перестарался.

Но если люди правду говорят — Марьюшку будто бы лечили в клинике от запоя; только слишком слаба она волей, чтобы забыть о спиртном. Вряд ли ей подняться...

Впрочем, отца Василия не так уж и волновало, что станет с Марьюшкой потом.

Только как бы увидеться с ней, как вручить ей дорогой подарок? Надо подумать и с Делиговым посоветоваться.

Вот уж кто крепок на ногах. И верен. Правда, не так дешево стоит эта верность, если учесть стоимость нового дома, который Делигов поставил за его счет.

Впрочем, пусть его, лишь бы избавиться от этой «божьей овечки» Десяткова. Отца Иосифа надо почаще выводить из себя, задевать его, не давать покоя. Он же прогнил весь: тронь его — он и свалится, как трухлявый пень.

Нет, Делигов не подведет. А если что — в любое время можно осадить его, поставить на место, а то и упрятать, коль появится нужда...

Проханов взглянул на смятый листок, который держал в руках, и сам подивился, что письмо вызвало у него столько раздумий и воспоминаний. И все из-за этого глупца, царствие ему небесное...

Эх, Никита, Никита. Не думал, не гадал, что ты окажешься таким размазней.

Проханов разыскал Егора Ивановича, товарища Афонина, и представился ему как пенсионер-общественник, которому собес поручил узнать, что произошло с Афониным.

...Они сидели недалеко от дома Егора Ивановича, на берегу речки. Она извивалась и петляла, будто металась из стороны в сторону. Проханов не был в Кранске несколько лет и теперь с интересом разглядывал окрестности. Он помнил низины, заросшие тальником. Сейчас же тальник будто слизал кто-то; на его месте расстилался мягко зеленеющий луг. По нему стлался низкий, но не сплошной туман. Издали казалось, что луг покрыт огромной сетью с неровными клетками.

— Началось все это, как я думаю, с нашей юности,— рассказывал Егор Иванович. — Никита тогда очень уж любопытствовал: есть бог или нет его? Мать у него больно богомольная была, с детских лет все пичкала сына божественным, водила его по церквам и даже, скажу вам,

взяла его однажды с собой в паломничество к святым местам.

Никита, правда, в церковь ходить не любил, а что касается бога — тут всякие были сомнения...

Конечно, не случись истории со Степаном, оно, может быть, и обошлось бы. Во время войны, скажу вам, произошло такое, чего до сих пор забыть не могу. Нас, железнодорожников, на фронт не брали .Но лиха досталось и на нашу долю. Город-то наш пеклом был. Бомбежка за бомбежкой...

Как сейчас помню, пятнадцатого июля это было. Мы оказались вчетвером — я, Никита, Семен и Степан из соседнего узла. Что творилось! И передать страшно... Ведь как бил, сукин сын: волна за волной шли эти, с черными крестами...

Первая бомба ахнула будто совсем рядом. Никита, помню, закричал не своим голосом, упал на Степана — нас во рву было вповалку — и мелко-мелко начал креститься.

А Степан возьми да обозлись:

— Бога вспомнил, дурак. Поможет он, держи карман шире.

— Опомнись, богохульник! Поразит тебя бог за такие слова,— это Никита в ответ Степану, а сам совсем уже с лица сошел.

Кончилась бомбежка. Начали мы подниматься, пыль отряхивать.

Мы — к Степану, а он уже дух испустил. Как так могло случиться, ума не приложу. Верхнего, Никиту, не зацепило, а Степана наповал...

...Кончилась война. Забылось все, мы строить начали, пути восстанавливать. Работали, словом, кому где положено. Никита до работы охочий, этого у него не отнимешь, только вот изнутри оказался пораженный. Задумчивым стал, разговаривал мало.

Потом словно бы сошло с него. Успокоился, забылся. Ну, думаем, ожил человек, опамятовался. А вот на ж тебе, совсем не опамятовался. Все вернулось, когда на пенсию-то ушел.

Что греха таить, жадноват был мой приятель, хотя я никогда за ним не замечал, чтоб он нечист был на руку. Нет, такого за ним не водилось. А тут вдруг переродился человек, даже страшно сказать, кем он стал...

Назначили Никиту в село Доброе. И вот здесь-то все и произошло.

Однажды пришла к нему старуха, слезами обливается.

— Батюшка,— говорит,— помоги. Корова подыхает.

Ну как откажешься, когда в руках у бабки полная горсть денег?

Пошел он на дом, окропил животину «святой» водой, дал ей попить той же святости. Ожила, будь она неладна. Мы-то понимаем — животина и без всякой святости ожила-бы, но для темной бабы это же чудо!

Чудо и чудо... Слух о нем разнесся по всей округе. На второй или третий день пришла к нему мать больным ребенком.

— Помоги, батюшка, погибает дитя.

Не отказал Никита и матери, окропил дитя и дал мамаше той же самой воды. А ребенка просто-напросто обкормили и так бы выздоровел, но раз уж «сам батюшка» взялся — заслуга его целиком.

Дитя, конечно, выздоровело.

С той поры и пошло. Повалили к нему из разных деревень. Да и сам Никита поверил в свою колдовскую силу.

Потекли святому отцу большие деньги. Сам жил припеваючи и родичам отваливал добрые куски. Семья жила у него в городе: ехать с ним на поповские харчи никто не пожелал. А вот от денег да от вкусных вещей, вроде курочек, уток, гусей, не отказывались. Правда, дочь — фельдшерицей работала — взбунтовалась, но пожалела мать и потому не ушла от них, когда отец в попы подался. Так и жили: он — добытчик, а они потребляли все, что ни пришлет им Никита.

И вдруг Никита сам заболел. Он, конечно, за «святую» воду: раз других лечил, почему себя миновать? Пьет день, другой, а ему все хуже да хуже. Он и вставать перестал.

Дома встревожились. Поехала к нему дочь. Видит, что отец пластом лежит, в жару мечется. Она склянки со святостью в сторону и спрашивает родителя:

— Что, отец, не помогает водичка твоя? Давай-ка за пилюли да за капли примемся, оно дело верней будет.

Попил святой отец варвазол, или как он у них там по-ученому называется, да пилюль десятка два проглотил и на четвертый или пятый день подниматься стал. Дальше-больше совсем окреп и в силу вошел.

С того времени будто что надломилось в душе у Никиты.

Хотел он кинуть свое знахарство, а не тут-то было: люди стали упрашивать, ублажать его.

И опять Никита не нашел в себе сил остановиться. Погряз в своем знахарстве, будто в болоте.

Об этом дознались, конечно, милиция, прокуратура. И грянула гроза!

Первое время Никита изворачивался, от всего отнекивался — дескать, я — не я и хата не моя, но потом все-таки понял: надо говорить правду. И он во всем чистосердечно сознался. И не только сознался, осудил себя самым что ни на есть категорическим образом. Этот-то его поступок и примирил меня с ним, вернул мне товарища.

Бурный был процесс, много разговоров вызвал.

Дали Никите два года условно. Восемьдесят лет человеку! Словом, простили, что там говорить...

Позор свой Никита переживал тяжело.

Никого не хотел видеть. Совсем замкнулся, даже со мной не хотел видеться. Не знаю, о чем он думал, только нетрудно догадаться: не сладкие были эти его думы. Горевал он, тосковал, мучился...

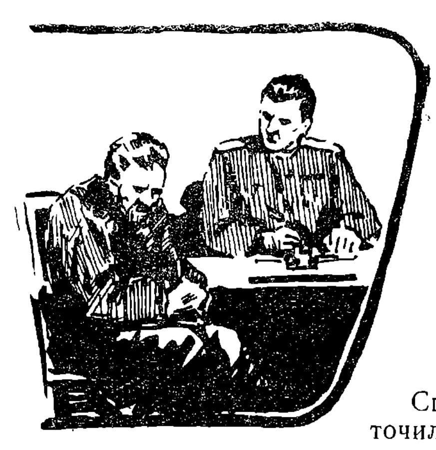
И вот умер Никита. Ушел из жизни мой товарищ опозоренный, оплеванный. Я ни в чем его не оправдываю, но ведь он человек. Виню религию. Это она его смяла, в омут закрутила, и в нем он захлебнулся.

— Ненавижу ее!

Егор Иванович поднялся, поднял над головой сухие, жесткие свои кулаки и в гневе крикнул:

— Ненави-ижу-у!..

ЭПИЛОГ



МИССИЯ ДЕЛИГОВА ЗАКОНЧЕНА

Сведения, которые сосредоточились у Лузнина, были исчерпывающими. Образ жизни Проханова, его характер, его общественное лицо в достаточной степени прояснились. Правда, довольно подробный рассказ Марии Ильиничны Разуваевой о себе многое говорил и о ней самой.

Впрочем, Марии Ильиничне, как понял Павел Иванович, было совершенно безразлично, какой она представлялась людям, которые ее видели и слушали. Именно это обстоятельство и породило сомнение у Лузнина: поняла ли эта женщина, в какую трясину завела ее вера? И так хотелось, чтоб поняла!..

Но не в ней сейчас дело.

Личная жизнь Проханова была грязной. Вот он, список его приживалок. Три монахини: Любовь Гринькова, Катерина, Софья. Потом в доме священника воцарилась Маргарита Гунцева. Потом была Анна, работавшая продавщицей в магазине. Ее сменила Степанида, выполнявшая какую-то работу в церкви, но ее оттеснила родная

сестра Ольга, лет на десять моложе ее. Но Маргарита все еще оставалась.

Мария Ильинична Разуваева вклинилась в жизнь отца Василия как раз в то время, когда Маргарита была вынуждена покинуть дом Проханова, а позиции Ольги были уже непрочными.

Одновременно с Марией Ильиничной Проханова навещала приятельница по имени Полина, жившая в деревне неподалеку от города.

— Она все кур таскала батюшке, — рассказывала Павлина Афанасьевна. — Я ее знаю. Кончила эта Полина совсем плохо. От аборта чуть богу душу не отдала и сбежала от этого супостата. Только Евдокия, что ныне при отце Василии содержится, умнее всех оказалась. Новенький дом достраивает. А поглядеть — совсем тихоня... Ловка баба. И подбирает он таких, что слова перечить ему не могут.

Часы на стене, торопясь и захлебываясь, прозвонили семь раз.

Семь часов! — воскликнул Павел Иванович. — Опять я обманул Олю.

Лузнин стал торопливо собираться домой. Не успел он выйти из-за стола — в дверь резко постучали, и сразу же, не дожидаясь ответа, на пороге появился Соловейкин.

— Разрешите доложить, Павел Иванович? — официальным и суховатым тоном заговорил старший лейтенант.

Лузнин поднял на него удивленный взгляд: что это с ним?

— Слушаю, Виктор Яковлевич.

— Докладываю результаты экспертизы.

— Да-да. Давай.

— Эксперты еще раз подтверждают, что никаких следов избиения не обнаружено. Разрыв сердца. Естественная смерть.

— Так.

— Но... есть тут заковыка. Сердце у Десяткова, как установлено экспертизой и подтверждено историей болезни, болело уже давно. Он мог умереть и раньше, так же, впрочем, как и прожить еще неопределенное время.

— Не понимаю. Что значит «неопределенное время»?

Соловейкин улыбнулся.

— Все просто. Эксперты предполагают, что перед смертью Десятков перенес сильное нервное потрясение.

Где документы?

— Будут завтра утром. Пришлют лично вам.

Соловейкин вышел, громко хлопнув дверью.

В прокуратуре никого уже не осталось. Секретарь — человек педантичный, уходит с работы с точностью секунды, так же, впрочем, как и приходит в прокуратуру. По ней можно часы проверять.

Дома Павла Ивановича уже заждались. Дочери его — старшая, Света, и младшая, Люда, — собрались идти за отцом.

Мотив и у жены и у дочерей был самый внушительный: ужин простыл.

— Хоть бы они провалились, твои нарушители, — проворчала Ольга.

Минут через пятнадцать заново подогретый ужин стоял на столе. Люда доложила, что опять она вела себя очень хорошо, ни одного замечания не получила. Впрочем, это было начало разговора. Лукавое личико младшей дочери и сегодня имело таинственный вид. Она явно осторожничала, боясь получить шлепок от матери, что не раз испытала.

Отец заговорщически подмигнул дочери, что означало: понимаю, давай дождемся, когда останемся вдвоем. Дочь серьезно кивнула головой.

Но держать тайну Люда была не в силах. Когда мать вышла за фруктами—сегодня были груши, желтые, сочные,— Люда громко зашептала:

— Он снова два раза проходил мимо нашего дома.

— Кто это «он»? — не понял отец.

— Ну, тот же... с иголками который.

Павел Иванович насторожился.

— И ничего не спрашивал?

— Не спросил, — огорченно ответила дочь. — Но смотрел вот так... — малышка насупилась, выставила голову вперед и громко, выразительно засопела.

— Понятно. Когда ж ты его видела?

— Когда выбегала тебя смотреть.

— Ага, ясно. Вечером, стало быть?

— Опять у вас секреты?—сурово осведомилась мать, возвратившись с полным блюдом груш. — А ну, хватит вам. Ешьте лучше, тоже мне заговорщики нашлись. Стараешься для них, а им бы секретничать. Ешьте, а то отниму.

...Сразу же после ужина Лузнин ушел. Оля молча проводила его взглядом. Она не спросила, куда он направлялся и скоро ли вернется назад: поняла — что-то очень важное, иначе сам бы сказал.

Какова все-таки истинная картина смерти Десяткова? Сомнений быть не могло: Проханов задумал любыми средствами убрать с дороги Десяткова.

Но со смертью Десяткова опасность разоблачения настоятеля не исчезала: оставалась Марфа Петровна, которая знала не меньше, а, пожалуй, побольше своего мужа, в чем он сам лично убедился.

Все это выглядело странно.

Такого же мнения придерживался и Соловейкин. Он пристальное внимание направил теперь на Маргариту. При первой встрече она заявила Соловейкину, что Десятков — больной человек и умер естественной смертью. А теперь она уходила от ответа, мялась и вообще не желала говорить на эту тему.

Но уж одно это отпирательство говорило о многом. Маргарита что-то скрывает.

— А где она живет? — спросил Лузнин у Соловейкина.

— В том же доме, что и Десятков...

— Как это?

— В другом конце дома. Через стену от Десятковых.

— Та-ак... Любопытно. Значит и с Делиговым они соседи?

— Конечно. Только забор отделяет.

— А ты помнишь, как выглядит комната Десятковых? — спросил Лузнин.

— Помню. Обстановка, прямо сказать, более чем скромная. Стол, покрытый дешевенькой скатертью, старый шкаф, две железные кровати...

— А почему так?

— Так его же грабил Проханов. Десяткову доставались рожки да ножки. Ведь Марфа Петровна так и сказала: «Под себя грабастал, супостат». Я — к ней: о ком говорите, мол, а она молчит и дрожит вся. А потом как заплачет: «Затравили! Затравили!»

— Да, пожалуй, это последний этап, — сказал Лузнин. Вот что, Виктор. Я иду к Делигову

— А чем мне прикажете заняться?

— Оформляй показания.

Лузнин вышел.

Вечер опять выдался тихим, теплым, ласковым. Из репродуктора в городском саду раздавался деловитый голос диктора.

Лузнин направился к дому Делигова.

Припомнились короткие сведения об этом человеке. Преступление свое во время войны он смыл кровью: был ранен в партизанском отряде, где находился до самого освобождения района советскими войсками. Потом воевал в регулярных частях. Снова получил ранение и демобилизовался.

Работать Делигов устроился в лесничестве объездчиком. В то время у него было уже двое детей. Жил там несколько лет, пока не случилось несчастье — пожар, во время которого погибли дети. Жена в это время находилась в соседнем селе, а сам он — на объезде.

Трагедия эта случилась давно, когда Павла Ивановича еще не было в районе.

Жена Делигова после этого страшного несчастья едва не сошла с ума. Примерно через месяц после гибели детей она оставила мужа. А еще через год стало известно, что она умерла.

Делигов в лесничестве жить больше не стал. Он купил небольшой домик в городе, женился второй раз и скоро снова стал отцом. Жили они с новой женой не дружно. Он частенько избивал ее, за что однажды получил пятнадцать суток.

По пятнадцать суток сидел еще два раза: однажды — за то, что будто бы случайно схватил за грудь лесничего, приказавшего ему оставить незаконно нарубленные слежки; другой раз — Делигов бросился с ножом на женщину, которая хотела пристыдить соседа за то, что он распускает своих поросят по чужим огородам.

Таким представлялся Делигов по тем сведениям, которые удалось о нем получить. Характеристика довольно прозрачная, но к делу Десяткова она непосредственного отношения не имела.

При первой встрече Делигов держался так уверенно, что у Павла Ивановича закралось сомнение в причастности его к делу Десяткова. И только позже, когда клубок постепенно распутывался, многое стало ясно.

Лузину не хотелось заранее обдумывать предстоящий разговор с Делиговым. Как вести себя — будет ясно из беседы.

Но что же произошло во время разговора священника с Делиговым? Потрясение могло быть и от слов, оскорбительных, издевательских. Возможно, и от угроз, ругательств. У Десяткова было болезненное самолюбие, он мог очень бурно реагировать на слова собеседника, тем более, когда речь шла о его жене, которую могли просто-напросто убить.

Убить Марфу Петровну... Да неужто он способен на такое злодейство? — Лузин снова представил себе настоятеля собора. — Но ведь Проханову требовалось избавиться от нее.

А ребенок Марии Ильиничны? Убрал же он его с дороги, когда это потребовалось. Убрал, правда, таким путем, что ему и обвинений прямо не поставишь.

Нужно еще раз встретиться и поговорить с Разуваевой.

Когда Лузин, постучавшись, быстро вошел в комнату, хозяин дома, ворошивший в большой шкатулке какие-то бумажки, вскочил так стремительно, что стул с грохотом повалился на пол. Павел Иванович почувствовал, что застал Делигова врасплох, хотя и не знал причины его растерянности.

Он тут же решил: не нужно давать ему опомниться.

Лузин, глядя на Делигова в упор, спросил первое, что пришло на ум.

— Делигов! Давай на полную откровенность. Долго ли тряс старика Десяткова за грудь?

— Ну что вы, товарищ Лузин. Совсем недолго... — и будто споткнулся.

На висках у Делигова мелко-мелко забилась синенькая жилка. Он облизал пересохшие губы и попытался поправить положение.

— Нет, не так, не так все было... Мы беседовали мирно...

Делигов говорил, а сам быстрыми движениями собирал бумажки, выброшенные из шкатулки.

В куче бумажек, с которыми возился Делигов, Лузин вдруг увидел синенький билетик в кино с неоторванным контролем.

И тут Лузин вспомнил.

Рассказ Марии Ильиничны. Это же ее билет. Ну, конечно! Зачеркнуто, перечеркнуто и все же совершенно отчетливо выделялись цифры, написанные красным карандашом: 15 и 8. Пятнадцатый ряд, восьмое место...

Лузнин взял этот билет и поднес его к глазам хозяина дома.

— Отвечайте быстро. Чей билет?

Делигов отшатнулся. Его лицо стало бледным, но он быстро понял, что запираться бесполезно.

Хорошо. Я вам скажу. Это билет Разуваевой. Помните такую женщину?

— Вы, наверное, очень тогда нуждались в деньгах?— задал новый вопрос Лузнин.

Задыхаясь от волнения, Делигов заговорил:

— Я очень, очень нуждался. Просто позарез... Хоть ложись да помирай.

— А сейчас?

— Ну... Легче сейчас...

— Но откуда у вас деньги?

И Делигова снова понесло. Захлебываясь словами, он стал рассказывать, какие трудности испытывает с ремонтом дома. Нигде ничего не достанешь. Прямо беда!

— Все-таки, откуда у вас деньги?

— Ну... Подкопил с годами.

— Странно. Копили годами, а когда в парке стукнули по затылку больного человека — денег у вас почему-то не было.

— Да нет, что вы... Я вам все объясню.

— Не надо заговариваться. Отвечайте кратко: откуда у вас в последнее время появились деньги?

— Так я же говорю — скопил.

— Хорошо. Отвечу я за вас. Деньги у вас от Проханова.

И снова кровь стала отливать от лица Делигова.

— Зачем вы запутываете и меня и, главное, себя? Ведь от вашей чистосердечности сейчас зависит все ваше будущее. Неужели вы этого не понимаете? — Лузнин помолчал и заговорил снова. — Поймите, я вас не вызвал к себе официально, а пришел к вам.

Делигов вскочил и, стоя, вперил взгляд в Лузнина. Напряженный, острый взгляд... Острый взгляд! Ну, конечно, вспомнилась Людочка и ее розовые пальчики у глаз. Разумеется, он...

Лузнин улыбнулся.

А зачем вы, Яков Андреич, кружили вокруг моего дома?

— Ну, ходил... А что с того?

— Вот именно: что с того, что ходил? Никому не возбраняется ходить там, где человеку захочется.

Яков Андреевич согласно закивал головой.

— Правда, в рабочее время бросать без присмотра и хозяйского глаза строительство дома... Вряд ли в этих поступках есть разумные действия.

Делигов вдруг обозлился.

— Мой дом. Хочу строю, хочу гуляю.

— Это уже мужской ответ. — Лузнин поднялся. — Хватит, Делигов. Не поняли вы, не оценили желания помочь вам. Вы запутались, или, скорее всего, вас запутали. А если говорить жестче — вас просто-напросто купили, и купили по дешевой цене. Нам-то картина ясна. И должен вам сказать, что Маргарита была куда откровенней.

— Ах, сволочь какая! — вырвалось у Делигова. — Тварь продажная.

Лузнин поморщился.

— А вы-то сами честнее Гунцевой?

— Сволочь она паршивая! Сводня, потаскуха...

По словам Делигова, Маргарита мстила Проханову. Ей теперь не на что жить.

— Достаточно! — остановил Делигова Павел Иванович. — Завтра, уважаемый Яков Андреевич, придется поставить все на официальную ногу. Прошу с утра пожаловать в прокуратуру. Одновременно еще раз вызовем и Проханова, вашего финансиста и хозяина. И будьте уверены: самым подробным образом уточним, какие он вам давал инструкции и для какой цели!

— И отца Василия? — вскрикнул Делигов. — И этот продал? — Он схватился за голову, но, сообразив, что опять выдает себя, забормотал: — Но я-то при чем? Что я сделал?.. А вообще... Вызывайте кого хотите...

— Разумеется. Надо же знать, кому потребовалось ускорить смерть больного человека. В наше право входит и расследование причин — кому срочно потребовалось запутать следствие, направить его по совершенно ложному следу. Может, подскажете? Или дать время на размышления?

— Я думаю... думаю, — Делигов с трудом подбирал слова. До него, по всей видимости, почти не доходили слова Лузнина. — Я думаю, гражданин прокурор, кто ненавидит церковь и господа бога, тот и...

Лузнин даже вздрогнул от этих слов. Вспомнился телефонный разговор. Те же слова, та же интонация...

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СОВЕСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ»

Рано утром на квартиру к Лузнину прибежала Павлина Афанасьевна.

— Павел Иваныч! Беда! Ох, беда какая!

Павлина Афанасьевна затряслась в беззвучных рыданиях.

— Марья... Марьюшка-то... Ох, батюшки мои!..

— Да что случилось-то? Говорите скорее,—вскричал Лузнин.

— Повесилась... Повесилась, наверно, бедняжка моя!

— Да неужто? Где? Когда?

— Ох, сил моих нет! Ведь этот супостат дом на ее имя перевел. Под самым городом. О господи! Не могу я...

— Когда же это случилось?

— Позавчера я в магазин ушла, а когда вернулась, ее и след простыл...

— Что ж вы ни слова мне не сказали?

— Я-то знала разве? Ох, горюшко мое горькое! Что ж теперь делать-то?

— А как вы узнали?

— Ну, как же? — спохватилась Павлина Афанасьевна. — Письмо пришло от Марьюшки. Вчера вечером получила его. Я прочла — и дух у меня перехватило. Думала, шутит. Бросилась тебя искать. Ни дома нет, ни в прокуратуре. Я — в милицию. К Виктору твоему...

— К Соловейкину, что ли?

— К нему, к нему! Ох, господи боже мой!

— Но где же он сам-то?

— В город уехал.

— А письмо с вами? Где оно?

Павлина Афанасьевна молча сунула в руки Лузнина смятый конверт. Павел Иванович торопливо развернул его и вытащил такой же смятый листок. Уже сам листок этот и его вид о многом говорили.

«Дорогая моя тетя Павлина, — с трудом стал разби-

рать написанные карандашом строчки. — Знаю, что волнуетесь, но я не могла предупредить. Так все неожиданно. Прямо на дороге меня перехватил батюшка. Мы уехали с ним на машине. Я теперь владелица целого дома. Пишу сейчас одна. Батюшка уехал. И вообще я одна, совсем одна. Дом большой, пустой...»

Дальше стояла клякса; строчки, написанные фиолетовым карандашом, расплылись. Разобрать было возможно только следующую строчку.

«...пустота везде. Нет, не вынесу. Все это мне не нужно. Все равно я пропащий человек. Все время глушу тоску водкой. И не могу забыть Сашеньку. Стоит он перед моими глазами.

Писать больше не могу. Тянет выпить, а нечего...

Жить не хочу.

Прощайте, дорогая моя тетя Павлина.

Прощайте. И не ругайте меня... М. И.».

Пока Лузнин читал письмо, Павлина Афанасьевна смотрела на него с надеждой, будто ожидала, что он опровергнет все это страшное...

— Ну что, Паша? — по-детски испуганно спросила Павлина Афанасьевна.

— Милицию! — крикнул Павел Иванович телефонистке. — Прошу вас скорее! Алло! Лузнин говорит. Да. От Соловейкина есть что-нибудь? Даже не звонил? — Лузнин помолчал. — Ладно. Кто у вас свободен? Давайте их сюда. Выписываю ордер на арест Проханова. Да, да. Делигов с минуты на минуту будет здесь. Никуда он не денется. Возьму подписку о невыезде. Посылайте немедленно.

Он бросил трубку и вызвал секретаря.

— Делигов явился?

— Ждет в коридоре.

— Сюда его.

Вошел Делигов. Он мял фуражку и дрожал мелкой трусливой дрожью.

Лузнин поморщился.

— Садитесь. Полагаю, одумались?

— Я... я виноват. Все обдумал, все скажу.

— Я в том нисколько не сомневался. У вас нет другого выхода. От вас требуется одно: какова цель всей этой вашей затеи со звонком в прокуратуру? Звонили, конечно, вы?

Я, я звонил. Вместе с Маргаритой. Дурак я, гражданин прокурор.

— Говорите по существу.

Делигов, торопясь и захлебываясь, стал рассказывать:

— Жил отец Василий хорошо, наживался будто купец. А когда отец Иосиф приехал — вдруг заволновался. Сосед мой, Десятков, человек хороший, чистый, но он что-то знал об этом сивом. — Делигов кивнул головой куда-то назад. — Купил он меня, гражданин прокурор. Купил. Давно подговаривал убрать соседа моего. Но как можно? А потом денег дал. Дом я построил.

Прибежал он как-то ко мне ночью. Говорит, Десятков днем чуть душу богу не отдал. С ним приступ сердечный сделался. Ты, говорит, пугни его ночью-то — и каюк овечке. Подкарауль, когда пойдет из церкви. Вот мы и квиты будем с тобой. Это он мне насчет денег намекает...

Делигов согласился. Долго искал случая, чтобы выполнить задуманное. Подговорил мальчишку, чтоб камнями кидал в Десяткова. Думал: и так кончится. А сынишка вместо Десяткова запустил в Марфу Петровну.

Тогда-то все и случилось. Когда Десятков вскочил к нему во двор и волоком притащил мальчишку с окровавленной рукой, он, Делигов, действительно не стерпел, схватил батюшку за грудки, а потом за бороду, ну и... тряхнул, конечно. Сильно тряхнул. Десятков на глазах его стал задыхаться и тут же убежал.

Он, Делигов, тогда перепугался и бросился из дому. Около дома Десяткова Делигов увидел фельдшерицу с дочерью. Те сказали, что батюшка скончался. Он, Делигов, тут же побежал к Проханову Тот приказал ему позвонить в прокуратуру, а что из этого получилось — гражданин прокурор хорошо сам знает. Он, Делигов, раскаивается в содеянном и просит дать ему возможность искупить свою вину. Пусть власти уберут отсюда этого паука в рясе.

— Вы бросьте прикидываться несчастным, — жестко сказал Лузнин. — Я не оправдываю Проханова, но вы-то отвечаете за свои поступки?

Ответить, однако, Делигов не успел. Раздался стук в дверь, и сразу вошли два сержанта милиции.

— Разрешите доложить?

— Одну минуту. Делигов, побудьте пока в коридоре.

Работники милиции принесли обескураживающую весть: Проханов скрылся. Евдокия рассказала: ночью кто-то прибежал к батюшке. А потом Проханов заметался по комнатам, забрал все деньги, все ценное и уехал.

— Струсил, — сказал Павел Иванович, когда работники милиции кончили доклад. — Нервы сдали. От собственной совести и гнева людского далеко не скроется.— Павел Иванович сел, заполнил какой-то бланк и протянул его одному из сержантов. — Уведите Делигова. Это он предупредил. Одна шайка.

Сержанты удалились. И только тогда Павел Иванович заметил тетю Пашу. Он забыл о ней, увлеченный стремительными событиями. Она сидела в углу, сжавшись в комочек, и чем-то напоминала испуганную птицу. В полумраке Лузнин не сразу разглядел лицо женщины, но, разглядев, содрогнулся.

— Что... что с вами, Павлина Афанасьевна? — бросился к ней Павел Иванович. — Вам плохо?.. Ну, говорите же!

Говорить Павлина Афанасьевна не могла: у нее стучали зубы.

И все-таки она нашла в себе силы, распрямилась, сжала сухонькими своими ладонями подлокотники кресла и наконец поднялась.

— И все это в церкви! Богом прикрывался. А я... Я всю жизнь верила. Кому?! Чему я верила? — Павлина Афанасьевна громко застонала. — Будь ты проклята, церковь! Будьте прокляты все вы, долгогривые! За что же вы меня всю жизнь калечили? Всю жизнь... всю жизнь...—и Павлина Афанасьевна, не договорив, выскочила за дверь.

— Ах, вот оно что! Неужто до нее дошло? Вот если бы до всех так? — Лузнин выдвинул ящик стола, вытащил пухлую папку и красным карандашом написал:

«Преступление против совести».

Написал, подумал и добавил: «человеческой».

Положил карандаш и потянулся к телефону, чтобы заказать разговор с областным прокурором.

Москва—Орел
1960—1962.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Р2 **Першин Алексей Николаевич**
П27 ЧЕЛОВЕК С КРЕСТОМ. Роман. Орел, Кн. изд., 1962.
296 стр.

Р2

Редактор *З. Сидельникова*
Художественный редактор *М. Зверев*
Технический редактор *Н. Кузин*
Корректоры *Ю. Кулюкина, Н. Косенкова*

Сдано в набор 18/IV 1962 г. Подписано к печати 3/X 1962 г.
Формат бумаги 84×108/32 Бум. л. 7,58 П. л. 15,16 Уч.-изд. л. 15,5
ФМ00595 Цена 62 коп. Тираж 40000 экз.

Орел, типография „Труд". Заказ № 3962